Тетради по консерватизму

ISSN 2409-2517

№ 2 2015

Премия «Наследие русской мысли им. Н. А. БЕРДЯЕВА»

Альманах

[Март 2015 г.]

фонд ИСЭПИ
Институт социально-экономических и политических исследований

Премия
«Наследие русской мысли имени Н.А. Бердяева»

За 2014 год

Тетради по консерватизму

[№ 2 2015 г.]

Москва
Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ)
2015

Рекомендовано к печати
Экспертным советом Фонда ИСЭПИ

Редакционный совет
Д.В. Бадовский, А.Ю. Зудин, Б.В. Межуев,
А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов, Л.В. Поляков (председатель),
М.В. Ремизов, А.С. Ципко, А.Л. Чечевишников (гл. редактор)

Тетради по консерватизму: Альманах Фонда ИСЭПИ: № 2. – М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2015. – 208 с.

Альманах «Тетради по консерватизму» публикует в очередном номере фрагменты книг, удостоенных Премии «Наследие русской мысли имени Н.А. Бердяева» за 2014 год.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 59947.

© Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2015

Содержание

Дмитрий Бадовский
К читателю
7

Пролог

Образовательные практики в России XVII–XVIII веков

А.И. Любжин
История русской школы императорской эпохи. В 3 т.
Т. I: Русская школа XVIII столетия
11

Часть первая

Опыт «Отечестволюбия» С.Н. Глинки

Н.Н. Лупарева
«Отечестволюбец»: общественно-политическая деятельность и взгляды Сергея Николаевича Глинки
61

Часть вторая

В поисках самобытности: опыт К.Н. Леонтьева

О.Л. Фетисенко
«Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики
117

Post scriptum

Россия в западном зеркале: отражения и искажения

Русский вопрос в истории политики и мысли. Антология (под ред. А.Ю. Шутова, А.А. Ширинянца)
175

К читателю

Фонд ИСЭПИ представляет первых лауреатов Бердяевской премии.

Премия «Наследие русской мысли имени Н.А. Бердяева» была учреждена в августе 2014 года в целях поддержки и стимулирования научных исследований в области социологии, политических и гуманитарных наук, изучения научного наследия и развития идей русских философов.

Делая этот шаг, мы исходили из понимания недооцененности современного гуманитарного знания в России. Возможно, оно не так универсально и фундаментально, как столетие назад, – сказываются последствия длительного идеологического давления, понижавшего планку. Но и сегодня в России выходят книги, авторы которых, обращаясь к современникам, уже обеспечили себе внимание потомков. Жюри Бердяевской премии намерено и впредь заявлять о таких ученых urbi et orbi.

Этот номер «Тетрадей по консерватизму» открывается фрагментами еще не завершенного труда. В минувшем году увидели свет две книги первого тома «Истории русской школы императорской эпохи». Автор – специалист по римской литературе и латинской поэзии Алексей Игоревич Любжин, доктор филологических наук, заведующий сектором книг Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова. А.И. Любжин – выпускник классического отделения филологического факультета Московского университета. В начале 2000-х годов он перевел с немецкого трехтомник Михаэля фон Альбрехта «История римской литературы». Его собственное трехтомное сочинение открывается томом, повествующим о XVIII веке, и являет собой первую попытку целостного осмысления русского образовательного организма «славного столетия». Автор исходит из концепции пяти образовательных укладов, существовавших в России, – духовного образования, военно-дворянского, общего, домашнего и заграничного. В этом номере «Тетрадей» публикуются фрагменты глав, посвященных русским образовательным достижениям XVII века, послужив-

шим стартовой площадкой для Петра Великого, и образовательным практикам в царствования Екатерины II и Павла I.

Вслед за ними – главы из книги «“Отечестволюбец”: общественно-политическая деятельность и взгляды Сергея Николаевича Глинки». Ее автор – Надежда Николаевна Лупарева – окончила исторический факультет и факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета, одного из ведущих центров исследования российского консерватизма. В 2010 году она защитила в ВГУ кандидатскую диссертацию на одноименную тему. До издания этой книги наша историография не располагала обобщающим исследованием жизни и деятельности человека, стоявшего у истоков патриотической публицистики, одного из создателей и вдохновителей московского ополчения в 1812 году – Сергея Николаевича Глинки. Его мемуары об Отечественной войне стали одним из основных источников при написании Львом Толстым романа «Война и мир». Н.Н. Лупарева прослеживает увлекательную историю двух главных «проектов» С.Н. Глинки – журнала «Русский вестник», издававшегося в Москве в 1808–1820 и 1824 гг., и 14-томной «Русской истории в пользу воспитания» (1817–1819). В этой связи представляется уместным процитировать один из документов, направленных Надеждой Николаевной в адрес жюри Бердяевской премии по запросу последнего: «И выбор факультета, и выбор специализации на кафедре истории России был во многом предопределен характером семейного воспитания. В отечественной истории, в достижениях русской науки, литературы, музыкального и художественного искусства меня приучили видеть питательную почву национального самосознания и источник ценностей, сохраняющих особый русский мир».

Еще один первый лауреат Бердяевской премии – Ольга Леонидовна Фетисенко, доктор филологических наук, текстолог. Бóльшая часть ее публикаций последних лет посвящена наследию писателей консервативного и славянофильского направлений. Вряд ли кто-то другой столь обстоятельно знает наследие Константина Николаевича Леонтьева. Широкий спектр его жизненных и литературных ипостасей располагает к комплексному подходу, сочетающему методы различных гуманитарных дисциплин. Для книги О.Л. Фетисенко «“Гептастилисты”: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики» характерен именно такой подход. Учение Леонтьева о принципах «новой восточной культуры» перекликается с теорией культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, но развивает эту теорию дальше. Четыре основы культурно-исторического типа превратились у Леонтьева в семь «столпов» (принципов, основ), необходимых для построения самобытной культуры. В книге использованы материалы 14 российских архивов, большинство цитируемых источников вводится в научный оборот впервые.

Ольга Леонидовна – выпускница русского отделения филологического факультета Санкт-Петербургского университета, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, заместитель главного редактора академического Полного собрания сочинений и писем К.Н. Леонтьева и соредактор серийного издания «Христианство и русская литература».

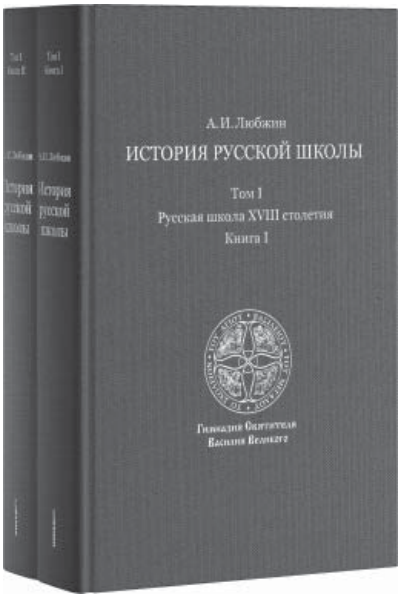
Бердяевской премии удостоены также декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор Андрей Юрьевич Шутов и заведующий кафедрой истории социально-политических учений того же факультета, доктор политических наук, профессор Александр Андреевич Ширинянц. Оба они – выпускники философского факультета МГУ. Профессоры Шутов и Ширинянц сделали то, о чем многие только говорили, – подготовили антологию «Русский вопрос в истории политики и мысли». Содержание книги – существенно шире ее названия. Авторы поставили перед собою цель – проследить формирование негативных стереотипов образа России в политической литературе ряда европейских стран XIX века. Читая антологию, погружаешься в причудливый мир мифов, комплексов и фобий. В чистом, дистиллированном виде предстают идеи, которые впоследствии внедрялись в массовое сознание, формировали и продолжают формировать общественное мнение в десятках стран, прежде всего европейских.

Антологию предваряет обширная аналитическая статья «Русский вопрос и линия русофобии в истории политики и политической мысли Европы XIX века», републикуемая в «Тетрадях по консерватизму».

Завершая представление этого номера читателю, хотелось бы еще раз сказать спасибо и выразить уважение первым лауреатам Бердяевской премии за их научный и просветительский труд.

Образовательные практики в России XVII–XVIII веков

Пролог



Любжин А.И. История русской школы императорской эпохи. Т. I: Русская школа XVIII столетия. Кн. I и II. М.: Никея, 2014. 752 + 656 с.: ил.

Кн. I. Из Главы I. Русский фон. Школа XVII века (с. 7–39, 41–58)

Кн. II. Из Главы VI. От воцарения Екатерины II до смерти Павла I (с. 455–506)

Оглавление

Книга I

Глава I. Русский фон. Школа XVII века
Глава II. Западный фон: педагогическая практика и философская критика
Глава III. Эпоха Петра I
Глава IV. От Петра до Елизаветы

Книга II

Глава V. Правление Елизаветы и Петра III
Глава VI. От воцарения Екатерины II до смерти Павла I

Книга I

Из Главы I. Русский фон. Школа XVII века

Видим бо, яко во многих от вас не имеет премудрость места, идеже главу преклонити, скитается она, якоже Христос, премудрость Божия, в Вифлеемсте вертепе, и несть взыскаяй ея…

Из слова «О взыскании премудрости Божественныя» греческих патриархов (1668 г.)

Семнадцатое столетие – между Смутой и петровскими преобразованиями – представляет собой критическую эпоху в истории не только России, но и русской образованности. Пусть даже крутая ломка сложившегося уклада при Петре увела его далеко в сторону от возможного естественного хода вещей, русские люди, по крайней мере отчасти, осознали свои недостатки и потребности и приступили, – впрочем, без большой энергии – к их исправлению. Кризис старого образовательного идеала – наследие еще допетровской эпохи.

Элементарная школа

Московское царство обладало сетью элементарных школ – возможно, и не слишком уступавшей тогдашнему Западу. Академик Алексей Иванович Соболевский (1856–1929) приходит к выводам, что грамотность в России XV–XVII веков была не ниже, чем в Европе (поголовная – для белого духовенства, не менее 70% – для монахов, чуть ниже для помещиков, около 20% для посадских людей, самая низкая у военных)[1]. Человек, только разбиравший буквы и умевший читать, не считался образованным. Уважение своей эрудицией мог заслужить начетник – тот, кто ознакомился (в переводах, разумеется) с большим количеством литературы – прежде всего духовной[2]. А.И. Соболевский описывает

[1] *Соболевский А.И.* Образованность Московской Руси XV–XVII вв. Речь, читанная на годичном акте Императорского С.-Петербургского университета 8 февр. 1892 г. орд. проф. А.И. Соболевским. СПб., 1892. С. 5 –12.

[2] Иван Васильевич Киреевский впоследствии взял этот идеал под защиту в знаменитой реплике: «Россия не блестела ни художествами, ни учеными изобретениями, не имея времени развиться в этом отношении самобытно, и не принимая чужого развития, основанного на ложном взгляде и потому враждебного ее христианскому духу. Но зато в ней хранилось первое условие развития правильного, требующего только времени и

этот образовательный идеал так: «То количество грамотных, какое было в московском государстве в XV–XVII веках, казалось людям того времени вполне достаточным, и мы совсем не слышим ни от правительства, ни от частных лиц жалоб на недостаток в них. Равным образом мы не слышим ни от кого никому никаких похвал за простую грамотность, не замечаем, чтобы простая грамотность сколько-нибудь высоко ценилась. Напротив того, мы имеем ряд указаний, что одно уменье читать и писать в XVI и XVII веках многих не удовлетворяло. Можно сказать, что в Москве этого времени не высоко ценили даже людей „грамоте гораздых“, таких, которые отлично читали и писали… Значение придавалось тогда лишь людям, вполне изучившим Священное Писание и святоотеческие творения и проникшим в их смысл, а сверх того, свободно владевшим церковно-славянским языком» (с. 12)[1]. «Интересы мысли и знания сводились у древнерусского человека, прошедшего суровую школу воспитания, к интересам понимания книг Божественного Писания. Эти книги надо было добывать самому, иногда самому для себя переписывать и каждую одолевать наедине. Чтение книг являлось единственной возможностью удовлетворить свои стремления к знанию у того, у кого эти стремления пробуждались.<…> Так как вся тогдашняя литература состояла из книг Св. Писания и творений Отцов Церкви, из летописей, вообще книг, говоривших о предметах духовных и божественных, то начетническое уважение к книге вырастало часто в глубокое преклонение перед всем написанным»[2]. Николай Федорович Каптерев следующим образом описывает политику государственной власти, основанную именно на этих представлениях: «Наше правительство на первых порах думало, что указанная потребность в образовании может быть удовлетворена другим путем, почему оно, оставляя ученых иностранцев в Москве, требовало от них не устройства школы, а переводов книг… Самостоятельное чтение книг делало тогдашнего человека

благоприятных обстоятельств; в ней собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам. Все Святые Отцы Греческие, не исключая самых глубоких писателей, были переведены и читаны, и переписываемы, и изучаемы в тишине наших монастырей, этих святых зародышей несбывшихся университетов. Исаак Сирин, глубокомысленнейшее из всех философских писаний, до сих пор еще находится в списках XII и XIII века. И эти монастыри были в живом беспрестанном соприкосновении с народом. Какое просвещение в нашем подлом классе не вправе мы заключить из этого одного факта!». – В ответ А.С. Хомякову. Полное собрание сочинений И.В. Киреевского: в 2 т.: Под редакцией М. Гершензона. Т. I. М.: Типография Императорского Московского университета. 1911. С. 118–119.

[1] Взгляды А.И. Соболевского не являются общепринятыми: см., напр.: *Галкин А.* Академия в Москве в XVII столетии. М., 1913. С. 5. «По мнению большинства исследователей, XV–XVII века представляют собой одну из наиболее темных страниц в истории русской культуры. Даже лица, придерживающиеся оптимистического взгляда на образованность древней Руси, признают, что в то время у нас не было никаких школ; для русского человека того времени не существовало никакой, сколько-нибудь цельной, правильной системы образования». Замечание о выкладках Соболевского в примеч. 1, с. 5–6: «Нам, однако, кажется, что эти статистические данные носят совершенно случайный характер, а потому едва ли соответствуют действительности. Дело в том, что проф. Соболевский, в своих вычислениях, пользовался „рукоприкладствами“ на разного рода документах. Но „рукоприкладства“ могут служить показателем процента грамотности не целого сословия или класса, а лишь той группы лиц, от имени которой составлен документ». С. 7: «В начале XVII века один из справщиков, старец Арсений Глухой, так характеризует этих грамотеев-начетчиков: „Они едва азбуку умеют, а того наверное не знают, какие в азбуке буквы гласные и согласные; а о частях речи, залогах, числах, временах и лицах – то даже им и на разум не всхаживало, священная же философия и в руках не бывала“» (со ссылкой: Александр Васильевич Горский. О духовных училищах в Москве в XVII в. Приб. к творениям Святых Отцов, 1845, III, с. 152).

[2] Очерк истории народного образования в России до эпохи реформ Александра II / Сост. С.А. Князьков и Н.И. Сербов; под ред. проф. С.В. Рождественского. М., 1910. С. 29.

в глазах общества лицом образованным, ученым… о получении образования вне начетничества русский человек не имел представления»[1]. Но именно раскол и показал несостоятельность этого идеала: вожди оппозиции были как раз теми людьми, кто воплощал его в полной мере[2]. В день Рождества Христова 1668 г. в Успенском соборе в присутствии Царя, бояр, архиереев и духовенства было произнесено от имени греческих патриархов слово «О взыскании премудрости Божественныя». Высоко оценив благочестие русских, патриархи нелицеприятно отозвались об уровне их школьной выучки: «Видим бо, яко во многих от вас не имеет премудрость места, идеже главу преклонити, скитается она, якоже Христос, премудрость Божия, в Вифлеемсте вертепе, и несть взыскаяй ея…»[3]. О враждебном отношении общества или по крайней мере его части к серьезным интеллектуальным интересам свидетельствует реплика, приведенная В.О. Ключевским: «Богомерзостен пред Богом всяк, любяй геометрию, – читаем в одном древнерусском поучении, – а се душевнии греси учитися астрономии и еллинским книгам; проклинаю прелесть тех, иже зрят на круг небесный; своему разуму верующий удобь впадает в прелести различныя; люби простыню паче мудрости, высочайшего себе не изыскуй, глубочайшего себе не испытуй, а елико ти предано от Бога готовое учение, то содержи»[4]. С.М. Соловьев – пожалуй, с излишней резкостью – пишет: «Древний русский человек начинал очень рано общественную деятельность недоноском относительно приготовления, образования, с неокрепшими духовными силами»[5].

Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов (конец 60-х или начало 70-х гг. XVII в. – 1731), преподаватель, писатель и переводчик, справщик, а затем директор московского Печатного двора и Синодальной типографии, писал в предисловии к третьему изданию грамматики Мелетия Смотрицкого: «Яко издревле российским детоводцем и учителем обычай бе и есть учити дети малыя вначале азбуце, потом Часословцу и Псалтири[6], таже писати, по сих же нецыи преподаю[т] и чтение Ап[осто]ла. Возрастающих же препровождают ко чтению

[1] *Каптерев Н.* Годичный акт в Московской Духовной академии 1 октября 1889 года. О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия Славяно-Греко-Латинской академии. Речь, произнесенная на публичном акте Московской Духовной академии 1 октября 1889 года экстраординарным профессором Н. Каптеревым. М., 1889. С. 42.

[2] «29. Повелеваем еще к сему, яко да всякий Священник детей своих научает грамоте и страху Божию и всякому церковному благочинию, со всяким прилежанием, яко да будут достойни в восприятие священства, и наследницы по них церкви и церковному месту; а не оставляти им детей своих наследником мамоне, а Церковь Христову корчемствовати, и во священство поставлятися сельским невеждам (иже инии ниже скоты пасти умеют, кольми паче людей); тем убо бывают в церкви Божией мятежи и расколы» // ПСЗ 412. Выписка из деяний Собора бывшего в сем году в Москве. О лицах духовного ведомства, об устройстве судов Патриаршего и Епископских… о благочинии церковном и монастырском… Глава II.

[3] *Каптерев П.Ф.* История русской педагогики. 2-е изд., пересмотренное и дополненное. Пг., 1915. С. 91.

[4] *Ключевский В.О.* Западное влияние в России XVII в. // Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 38. С. 552.

[5] Россия перед эпохою преобразования (История России с древнейших времен, т. 13, гл. 1) // Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. С. 346.

[6] Ср.: *Корзо М.* Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI–XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований. М.: Канон+, 2007. С. 505. «Младые дети первее починать учити по сей составней словенстей азбуце по ряду словом и потом, узнав писмена и слоги и изучив сию малую книжицу – азбуку, начинают часовник и псалтирь и прочая книга» (Азбуковник XVII в. из библиотеки Уфимской семинарии, со ссылкой: [*Маркс Н.А.*] К азбуке конца XVII века из собрания А.И. Успенского, изданной Московским Археологическим институтом. М., 1909. С. 11). Азбуки зачастую издавались в составе часословов.

и с[вя]щенныя Библии и Бесед ев[анге]лских и ап[осто]лских и к разсуждению высокаго во оных книгах лежащаго разумения». «Дети входят в темные сени, которые делят строение на две половины. В одной половине живет дьячок-учитель, в другой – происходит книжное научение. Учебная изба невелика: шагов 8 в одну сторону, немного больше в другую. Стены бревенчатые темные, по стенам – лавки… В переднем углу в полумраке теплится небольшая лампадка. Дрожащим светом она обливает темные лики икон в медных окладах… Это – обычная обстановка жилья, и только пачки книг на длинной полке подле образов, гусиные перья, перочинный нож и чернильница на столе, да висящий на стене пук розог намекают, что здесь происходит ученье. Войдя в избу, каждый крестится, кланяется образам и, отдав поклон товарищам, подходит к старшему ученику. Его выделил учитель из всех, „яко добрейшего и искусного“, и избрал себе в помощь в его нелегкой задаче „блюсти учеников и хранить их яко зеницу ока“»[1]. Так выглядит начало учебного дня в такой школе в исторической реконструкции. Старший следит за порядком, смотрит, чтобы ученики топили печь и подметали избу по очереди, спрашивает урок, заставляет повторять выученное, выдает книги и смотрит, чтобы с ними обращались как должно. Начинающим вручается букварь, старшим – часослов и учебная псалтырь[2]. Тем, кто эту премудрость уже одолел, дают Евангелие и Апостол. Для руководства учителя служат «Грамматика» Мелетия Герасимовича Смотрицкого и азбуковники – энциклопедические словари той эпохи. В таком азбуковнике можно было прочесть, например, следующее: «Каркодил то есть зверь тако именуем иже живет в воде и на сусе, велми же лют, главу имать василискову, а хребет его аки гребень, а хобот змиев имже бьет на ково гневается. А егда иметь человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестанет»; «Кораном наречется книга скверного Моамефа, в ней же писаны скаредные его предания. Ихже злочестивым Агарянном держати предаде» или «Есть звери подобны человеку имут ноги козии и на главах роги, яже инде наричются телорози, а инде наричются сатуры»[3]. Занятия проходят для всех одновременно, деления на классы нет. Дьячок-наставник берет плату либо деньгами, либо натурой.

Курс охватывает чтение, письмо, пение – красота церковной службы очень ценилась – и самые начатки арифметики (ее изучение было затруднено сложной буквенной системой записи чисел). Ученики много раз нараспев повторяют сказанное учителем. Чтение по складам предполагало изучение названий букв и образование из них слогов: буки-аз – ба, веди-аз – ва, буки-есть – бе, и т.д. Далее слоги складываются в слова; от кратких слов ученик переходит к более длинным. Эта технология обучения грамоте коренится еще в античной

[1] *Тарасов Н.Г., Гартвиг А.Ф.* Книжное научение. М.: Издание Т-ва «В.В. Думнов, наследники Бр. Салаевых», 1913. С. 3–4.

[2] Мелетий Смотрицкий так советовал читать Псалтырь: «Зри, внимай, разумей, разсмотряй, памятуй, как Псалтырь говорити. Первое – что говорити; второе, – всяко слово договаривати; третие, – на строках ставитися (делать паузу в конце строки. — *А.Л.*); четвертое, – умом разумети словеса, что говорити; пятое, – пословицы знати, да и памятовати, как которое слово говорити: сверху слово ударити голосом, или прямо молвити. А всякое слово почати духом: ясно, чисто, звонко; кончати духом потомуж, слово чисто, звонко, равным голосом, ни высоко, ни низко, ни слабея словом, ни насилу кричати, ни тихо, ни борзо, а часто отдыхати, и крепко по три или по четыре строки – духом, а равно строкою говорити. А весь сей указ умом, да языком, да гласом, содержится и красится во всяком человеце и во всяких пословицах книжных». Цит. по: *Извеков Д.* Букварная система обучения // Педагогический журнал «Семья и школа», издаваемый под редакциею Юл. Симашко. СПб., 1872. № 5. Май. Книга II. Родителям и воспитателям. С. 730.

[3] См.: Азбуковник XVII в. Рукопись 129 в собрании ОРКиР НБ МГУ. Л. 78 об., 87, 85. Об азбуковниках см.: *Ковтун Людмила Степановна.* Азбуковники XVI–XVII вв. (старшая разновидность). Л.: Наука, 1989.

традиции[1]. «Неотступно следит учитель, чтобы произносились одни буквы „дебело (то есть густо. – *А.Л.*) и тоностно“, другие – „с пригбением уст и с раздвижением, паче же ять с естем разнили“, чтобы не говорили и не писали „вместо пѣние – пение, вместо пѣти – пети, что велми зазорно и укорно“»[2]. После складов учат слова подтительные (то есть те, которые пишутся в сокращенном виде, под титлами) и ударения. Неспешный метод обучения дает ученику на постижение азбуки год, а то и больше. Рассаживаются дети по успеваемости – лучшие сидят ближе к учителю (в XVIII в. эта традиция сохранялась, как мы увидим, и в школах совершенно иного типа, впоследствии пережив их). К малоуспешным ученикам – кроме брани и традиционной лозы – применялась молитва для неудобоучащихся грамоте, служили молебен святым Козьме и Дамиану и пророку Науму. Учитель рассказывал им в утешение и подкрепление, как трудно поначалу давалось ученье святым Сергию Радонежскому и Александру Свирскому[3]. В субботу ученики повторяли выученное за неделю. Тогда же их наказывали за провинности. Интересен буквосочетательный способ обучения грамоте, предложенный в цитируемом без дальнейших объяснений «слове Епифания Славинецкого» в рукописном букваре: «Внятно требствует учити: сице, первое сложи два писмена, гласное с согласным и рцы, буки аз; таже сотвори препятие гласом, или отдохновение, и рцы слог, ба; паки и на два писмена совокупи, сице веди аз, и паки соделай препинание гласа, таже рцы слог: ва; сице и триписменные слоги слагай; слово люди аз, и стани, таже рцы слог: сла; паки слагай, веди люди ю, и отдохнув, рцы слог; влю. По сем глаголи все речение купно, славлю, тако и прочая посему учи»[4]. И далее, предупреждая возможные педагогические ошибки: «Паки учитель да весть, како ученика учити слогом не нераздельно подобает учити (яко обыкоша неискуснии, букиаз-ба, ведиаз-ва, глагольаз-га и прочая; не тако убо подобает слоги учити): но раздельно и учащемуся»[5].

«Школьное благочиние» – произведение XVII в. – представляло взаимоотношения учеников и учителя в виде такого диалога. «*Учитель*. аз ко онем вышеписанным тя направлю книжному разумению прилежно тя наставляю аз в книжном разумении даю тебе смысл дабы ты во блгом учении был быстр аз ко учению вразумляю тя прилежно ты же сих всегда учися неотложно; аз тебе вся книжная любомудрия, указую тебе всем блгим усердно и любезно наказую аз во благое наказание себе вдаси то всегда блгая земли снеси аще в наказании моих пребудеши то везде честен будеши аще в данных тебе уроках облепишися то и ран терпети не постыдишися аще мя подобающею честию почтиша то всегда без боязни поспиша аще хощеши ран избыти всегда надобно учливу быти. аще в написанне которыхъ сих словесех непребудеши вестно буди яко бес побои не пробудеши.

Ученицы. аще благим учением нас наслаждаешии и страх бжии в сердца наша всаждаеши аще страхом своим нам смиренным претиши чстоту дшевную и телесную хранити нам велиши аще наша младоумная где будет истрата твоя милостваго нам учителя буди исправа аще нечто малоумием пред тобою и согрешим но ти со страхом винныя к тебе поспешим аще где и вина наша явится но ты к нам смиренным милосерд покажися аще всегда наказуеши нас во благое молися да не прикоснется нам никогда злое а очесом твое от нас смирен-

[1] *Марру А.-И.* История воспитания в античности (Греция). М., 1998. С. 211–224.

[2] *Тарасов Н.Г., Гартвиг А.Ф.* Книжное научение. С. 11.

[3] Там же. С. 13.

[4] *Извеков Д.И.* Семья и школа. 1872. Май. № 5. С. 740.

[5] Там же. С. 741. Автор статьи даже полагает, что в букваре предвосхищается звуковой прием, подходящий для русского языка, то есть произнесение в соответствии с написанием: «Подобает коеждо писмя глаголати, яко оно глас свой творит, и якоже глас его есть, сице и звати тое, по гласу его».

ных благое попечение всяко и твое в том от ба вечное спасение. аще некогда и биение от тебе терпим но мы тем умы своя крепим аще нны нам и не мнится радость последи же уразумеем в себе дшевную сладость. аще в наказаниих твоих не поидем посреде честных людеи не воидем»[1].

Это была школа начальная, церковная, народная и частная, – она не давала никаких официальных прав и не регулировалась законодательством. Впрочем, в указах Алексея Михайловича можно встретить – в зачаточном и весьма несовершенном виде – идею льгот по образовательному цензу: именной указ от 15 декабря 1659 г. (ПСЗ 288) велит «послать в Переславль Рязанской и в Рязанские пригороды… Стряпчего Назарья Иванова сына Чевкина; а в тех городех и в Рязанском уезде во всех станех указал великий Государь ему Назарью собрать рязанцов, детей боярских недорослей, которые в службу поспели, а Государевы службы не служат, и в чинех ни в каких не записаны, а живут у отцов своих, и у дядьев, и у братьев, и у иных своих родимцев, и поповых и дьячковых детей и племянников и внучат, у которых сына по два, и по три, и по четыре, взять от дву третьего, а от четырех двух; а в которой семье больше, тех по тому ж; а которые грамоте умеют, и тех оставливать с отцами у церквей, чтоб церквам оскуденья не было, а лишних всех имать и писать в службу; а то им сказывать, что напишут их в службу по рассмотренью, кто в какую годится. А собрать ему в тех городех в стрелецкую службу… [1500] стрельцов… да в солдатскую службу 1500 человек» (военных требовалось много, поскольку шла война с Польшей); ср. аналогичный указ (ПСЗ 289) для Владимира: «а у церквей с отцами оставливать тех, которые дети их грамоте умеют, чтоб у церквей без пения не было»[2]. Интересно, что эти указы фактически очерчивают и школьную программу – пение воспринимается как обязательный ее компонент. Для дворян ничего подобного нет, – их смотры и разборы не учитывают образовательного ценза. В случае когда у дворянина велено требовать собственноручно подписанные бумаги, делается оговорка: если тот не знает грамоте, подпись за него может поставить духовный отец или иное пользующееся его доверием лицо.

[1] См.: *Буш В.В.* Памятники старинного русского воспитания (К истории древнерусской письменности и культуры // Записки историко-филологического факультета Петроградского университета. Ч. CXLII. Пг., 1918. С. 88–89. Текст помещен в разделе азбуковников. О школьных азбуковниках – и рукописных источниках – 22 сл. Автор скорее всего был знаком с бытом южнорусских школ (27); такие азбуковники могли использоваться только в школах высшего типа (29): «Для характеристики школ грамоты азбуковники, – весьма ненадежный и шаткий материал». На с. 8 – ценная библиография о древнерусских памятниках педагогической мысли. На с. 33–61 размещено «Гражданство обычаев детских», которое ныне считается первым переводом западного педагогического трактата Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium». Библиография: *Алексеев М.П.* Эразм Роттердамский в русском переводе XVII в. // Славянская филология. Вып. 1. М., 1958; *Кононович С.С.* Епифаний Славинецкий и «Гражданство обычаев детских» // Советская педагогика. 1970. № 10; *ее же*. Ян Амос Коменский и Епифаний Славинецкий // Новые исследования в педагогических науках. 1970. № 1; *Численко Н.Д.,* «Гражданство обычаев детских» и его польский источник // Зарубежные славяне и русская культура. Л., 1978; *Кошелева О.Е.* «Гражданство обычаев детских»: история изучения памятника и его роль в русской культуре XVII в. // Актуальные вопросы историографии и источниковедения истории школы и педагогики. М., 1986 (ротапринт).

[2] Впрочем, указ, адресованный тому же боярину князю Федору Федоровичу Куракину, что и 289, – ПСЗ 291, от 1 февраля 1660 г., – предписывает не брать детей духовенства на службу насильно: «велено было писать в службу детей их, которые не во дьячках, и не в пономарях, и которые грамоте не умеют, живут в гуляках и ходят за неподобными промыслы и за воровством. И Мы, великий Государь, их… пожаловали, детей их в службу писать не велети (sic! – *А.Л.*)… А кто детей их и братьи и племянников и не от церквей, неумеющих грамоте, похотят в Нашу Государеву службу писаться из воли, и они б (родственники. – *А.Л.*) им в том не запрещали». В этом указе можно при желании увидеть осознание того факта, что грамотность положительно сказывается на моральном уровне населения…

Воронежские обычаи

Интересно, что на южной окраине государства на рубеже XVII–XVIII вв. был достигнут неплохой уровень грамотности. Исследователь истории Воронежа пишет об этом так: «Замечательно, что в Воронеже и в XVII же веке, несмотря на отсутствие указаний на существование школ в городе, число грамотных воронежцев было сравнительно весьма велико, и притом вовсе не замечается преимущества в этом отношении для более обеспеченных классов, как княжеского или боярского рода или для лиц духовнаго звания; вовсе нет. То и дело встречаем наравне с дворянами и с детьми боярскими и грамотных купцов и крестьян. Наши местные старинные документы могут убедить каждого в том, что значительная часть населения Воронежа XVII столетия была грамотна, по крайней мере настолько, что могла подписывать акты. И мы в последних то и дело встречаем *собственноручные* подписи; если же и встречаются несобственноручные подписи, то они обыкновенно принадлежат бобылям или женщинам; – эти акты совершались за руками духовных отцов, как лиц, заслуживавших доверия Правительства. Не занималось ли Воронежское духовенство распространением грамотности, а если не оно, то, спрашивается, кто же? И откуда взялась эта масса грамотных, когда в Воронеже, повидимому, еще не существовало ни одной школы?

Хотя прямого указания на существование в XVII ст. школ в Воронеже мы в старинных актах местных архивов до сих пор не встречали, тем не менее, полагаем, что таковые должны были существовать. Говоря так, мы имеем в виду, помимо значительного процента грамотных воронежцев XVII века, еще тот несомненный факт, что в селе Ендовище существовала уже школа в конце XVII столетия. Как видно из отысканнаго нами документа, школу эту посещали дети казаков-черкас; выпускные ученики назывались *выростками*. Учителем в этой школе в 1703 году был дьячек местной церкви, Успенской, Роман Прокофьев. По черкасской своей *обыкности*, учитель-дьячек с своими *выростки*, в определенные дни, ходил по домам ендовищенских граждан „воспевать“. Вероятно, не в одном же селе Ендовище дьячки занимались обучением грамоте, а и в Воронеже. Грамота преподавалась по азбукам, составленным грамотеями. Знатный житель, выдавая дочь замуж, вместе с рядною записью заказывал грамотею написать и азбуку для своих будущих внуков. Так поступил некто Михнев, отдавая свою дочь Анну замуж; при рядной записи приложена азбука, сочиненная Афонкою Лимбровым»[1].

* * *

ПСЗ 2102 (именной указ от 15 апреля 1706 г.), предписывает назначить особого старосту с десятью подьячими при Ивановской Палатке для составления безграмотным людям нужных бумаг. Указ отражает сложившуюся практику участия неграмотных в судопроизводстве (судя по датировке, значительно более старую, нежели он сам). «Впредь сего такие письма писали и руки прикладывали бывшие разных Приказов подьячие, которые за пьянство, а иные и за воровство по наказании от Приказов отставлены, которые написав какое письмо, или крепости, руки не приложа, а и приложа, возмет наперед за работу хотя и малое что, а потом без прибавочных денег не отдаст, а кому дать больше нечего, и те крепости в руках своих портили нарочно, от чего крепости переписывали вторично и от тех задержаний писем и переписывания вторичных крепостей всяких чинов людям, а паче крестьянам чинились убытки и волокиты…».

[1] Город Воронеж, истор. очерк, исслед. Л.Б. Вейнберга // Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия города Воронежа. Т. I. Воронеж, 1886. С. 127–128.

Буквари

XVII век привнес значимое новшество в элементарное обучение: если раньше учебные пособия были рукописными, то в 1634 г. вышел первый печатный букварь[1], приписываемый патриаршему дьяку и справщику Печатного двора Василию Бурцову. Этот букварь – считает Д.И. Извеков – предлагал «довольно обширный курс начального обучения, о котором предшественники и не помышляли»[2]. «В настоящее время, – пишет Маргарита Корзо[3], – исследователям доступно 11 изданий букварей XVII в. (См.: Бурцова: 20.VIII.1634, 8.II.1637; Московского Печатного двора: 1657, 1664, 28.IX.1667, 28.IX.1669; московской верхней типографии XII.1679[4];

[1] *Корзо М.* Украинская и белорусская катехетическая традиция… С. 504: чаще всего элементарные пособия для обучения грамоте именовали «азбуками»; название «букварь» появляется впервые на титульном листе издания виленского православного братства (Евье, 24.VII.1618); со ссылкой: Кніга Беларусі. № 83. С. 89–90. А.А. Круминг называет букварем «пособие для обучения чтению, имеющее форму брошюры или небольшой книги, а азбукой – подобное же пособие, но меньшего объема (не более 4 страниц), напечатанное в виде листовки, таблицы и т.п.», с примеч.: «*Круминг А.А.* Первопечатные славянские буквари. Федоровские чтения: 1983. М., 1987. С. 74». «В ранних печатных изданиях в качестве учебного материала использовались т.н. толковые азбуки, или азбуки-границы (это название появляется не позднее XV в.), а также подборка молитв из Часослова. Такой набор текстов и порядок их освоения отражал давнюю общеславянскую традицию».

[2] *Извеков Д.И.* Семья и школа. 1872. Май. № 5. С. 728.

[3] *Корзо М.* С. 540–541.

[4] Считается, что букварь 1679 г. подготовлен Симеоном Полоцким (*Сетин Ф.И.* Буквари Симеона Полоцкого в ряду древнерусских учебников XVI–XVII вв. // Русская старопечатная литература, XVI – первая четверть XVIII в. М.: Наука, 1982. С. 95). Ф.И. Сетин приписывает Симеону еще два букваря (с. 96 сл.): 1664 г. (Московского печатного двора, в значительной мере повторявший прежний (1657 г.), но с новшествами: расширены азбучная и грамматическая части, сняты некоторые молитвы. Исследователь пишет: «В этом „Букваре“ была предпринята попытка учесть интересы детей. В нем были опубликованы приветствия от детей, адресованные их родителям и благодетелям. Хотя приветствия были написаны на церковно-славянском языке, но в какой-то мере они приспосабливались для детского понимания. Автором этих приветствий, как и предисловия к книге, был Симеон Полоцкий, так как они находятся в составе его рукописей („Книга приветствы“, прим.: ГИМ, Синод. собр., № 299, л. 27, 28, 83, 89, 109, 171, 172, 237–238). Поэтому можно предполагать, что Симеон принял участие и в подготовке книги к изданию». Это предположение по крайней мере вероятно, хотя и требует более развернутой аргументации. Что касается идентичных букварей 1667 и 1669 гг., то они сильно отличаются от других по структуре: почти нет грамматических сведений; сильно сокращена азбучная часть; почти сняты молитвы. Для детского чтения остаются одни приветствия светского назначения. Есть большое предисловие о ценности писания; нет упоминаний Царя и Патриарха. Исследователь объясняет последний факт инициативой частного лица, каковым был, по его мнению, Ф.М. Ртищев. С. 98–99: «Составитель, очевидно, Симеон Полоцкий, стремился создать светскую книгу, насытить ее просветительскими идеями <…>. В 1664 г. царь Алексей Михайлович назначил своего сподвижника Ф.М. Ртищева воспитателем царевича Алексея. В связи с этим, возможно, по его инициативе был подготовлен и издан «Букварь» 1664 г. К подготовке этой книги, вероятно, Ртищев привлек Симеона, которого он часто принимал в своем доме (со ссылкой: *Робинсон А.Н.* Борьба идей в русской литературе XVII века. М., 1974. С. 37–39, 41–42, 45–48, 50). Успешная работа над “Букварем”, очевидно, и побудила в дальнейшем царя назначить Симеона учителем наследника престола и других царских детей». Нагромождение предположений, каждое из которых не слишком правдоподобно само по себе, неубедительно – тем более что букварь Верхней типографии, к которому Симеон имеет прямое отношение, как раз весьма подробный, с молитвами, Символом веры и т.п. Некоторые из тезисов – о «просветительских» идеях, насытивших букварь, в котором почти не осталось его обычных структурных элементов, или о выборе воспитателя для царской семьи по удачно составленному претендентом букварю, настолько саморазоблачительны, что не нуждаются в наших опровержениях.

Кариона Истомина: III.1694 и 4.VI.1696[1]) и 4 издания кирилловской печати начала XVIII в. Фактически опубликованных букварей было значительно больше. По некоторым подсчетам, в 1633–1695 гг. на Московском Печатном дворе напечатали как минимум 28 букварей и азбук-прописей (последние, вплоть до азбуки Кариона Истомина, издавались в виде свитков)[2]». В «Букваре» Бурцева перед грамматической частью помещена гравюра – первое в московском книгопечатании светское изображение – с надписью «Училище»: дети вокруг стола с раскрытыми учебниками и наставник, вразумляющий розгой нерадивого ученика. Подпись гласит: «Виждь чадо сию лозу / яко сотворена тебе на грозу» (л. 13 об.)[3]. В рукописных азбуках распространено следующее поучение – перевод польской колядки из букварей Różcyka[4]:

Розгою Дух Святый детище бити велит,
Розга убо ниже мало здравия вредит.
Розга разум во главу детем вгоняет,
Учит молитве и злых всех встягает.
Розга родителем послушны дети творит,
Розга Божественнаго Писания учит.
Розга аще и биет, но не ломит кости,
А детище оставляет от всякия злости.
Розгою аще отец и мати часто биют детище свое,
Избавляют душу его от всякаго греха.
Розга учит делати вся присно ради хлеба,
Розга дети ведет правым путем до неба.
Розга убо всяким добротам поучает,
Розга и злых детей в преблагия претворяет.
Розгою отец и мати еже детище не биют,
Удаву на выю его скоро увиют.
Вразуми, Боже, матери и учители,
Розгою малых детей быти ранители.
Благослови, Боже, оные леса,
Иже розги добрые родят на долгия времена.
Малым детем розга черемховая двоюлетняя,
Сверстным же березовая к воумлению,
Черемховая же к страхованию учения.
Старым же дубовый жезл к подкреплению.
Млад бо без розги не может ся воумити,
Старый же без жезла не может ходити.
Аще ли же без розги из млада возрастится,
Старости не достиг, удобь скончится.

[1] «…Р. Клеминсон называет также (предположительно московские) издания 1688 г. (Лондон, Библиотека Британского Музея) и 1698 г. (Копенгаген, Королевская Библиотека) (*Cleminson R.* East Slavonic Primers to 1700 // Australian Slavonic and East European Studies. Vol. 2. 1988. № 1. P. 24). Букварь 1698 г. (называя его третьим изданием Бурцовского букваря) упоминали также: *Калайдович К.* Азбука, составленная Василием Федоровичем Бурцевым // Северный архив. Ч. VI. 1823. № 11. С. 323; *Миропольский С.* Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. Вып. 3. СПб., 1895. С. 114». – *Примеч. Маргариты Корзо.*

[2] *Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В.* Московский Печатный двор – факт и фактор русской культуры. 1618–1652 гг.: От восстановления после гибели в Смутное время до патриарха Никона. Исследования и публикации. М., 2001. С. 20–21. – *Примеч. Маргариты Корзо*.

[3] *Корзо М.* С. 545.

[4] Там же.

Д.И. Извеков не обходит вниманием и приписываемый Лихудам рукописный букварь. Эта книга дает любопытный дидактический материал и содержит наставления, обращенные к ученику (Извеков, с. 738):

Юноша не почивай на постланном ложи,
да не удебелиши с плотию и кожи.
И из под главы пуховик на страну отложи,
но вместо же онаго черствше что подложи.
и тя самаго голо на одре повержи.
И так яко либо тело утомиши,
и сладко немечтанно, и бодро поспиши.
Случився же одра, Богу помолися,
и абие за дело любезно имися.
Всегда тако жития препроводи время,
отлагая всякое грехов твоих бремя.
Не хотяй трудолюбно юный учитися,
презелно о том стар сый будет стыдетися.
Благочестиво преходя жизнь сию человек,
присно да размышляет пресуетный сей век.
Никогда забывая последнего конца,
да некако лишится пресветлаго венца.

Приведем предисловие к азбуке, упомянутой, когда речь шла о воронежских обычаях[1]:

Благоволением
Господа Бога
Споспешением
Богоматере Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии, наставлением
Ангела моего Хранителя
Написах сию писменую азбуку
От Бога же помощь имех, что Бог
Изволил, то и написал: человек бо есмь;
Грешен. Вы же, Отцы Святии Господне
И братие! Аще обращете в неи
Кто, смотря ее, или учася
От нея писати, не строино написано,
И вы умилосердитеся надо мною убогим
И многогрешным, молите за меня
Бога, чтоб Господь Бог умилосердился
Надомного многогрешным; избавил бы
Мя шуего стояния; а незаразумие
Мое простите мя, а не клените, якожь
И вы вси во благочестии живущии
Требуете от Бога прощения о согрешении.
А хто возмнится глаголяти велеречивыя
Глаголы на азбуку сию нестроенство
И на меня убогова неразумие –
Весть бо, что всяк человек
Не Ангел подобострастен,
Мне хуливыже, напиши лутчи в такое ж
Время или даждь смотрити писанныя
Азбуки своейи руки. А буками и мудрыми людми
Не отговариваися: вем бо я, что у Господа
Бога святых и премудрых людеи много;

[1] *Вейнберг Л.Б.* Указ. соч. Приложения. С. 266.

Число ж их яко звезд небесных,
Но не ты, похуливыи мою писменую азбуку.
Возслем же вси паки купно благодарения
Господу Богу и Спасителю Нашему Иисусу Христу купне
Святеи Животворящеи и Неразделимеи
Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу
Честь и великолепие и поклонение
Ныне и присно и в безконечныя веки
Веков аминь, аминь, аминь.
Конец, и Богу Слава.

Кроме пособий для изучения грамоты встречаются – пока в рукописном виде – и элементарные пособия по математике. В XVII в. в России вводится и распространяется арабская нумерация – «цифирь»[1]. Арифметику называли «цифирной счетной мудростью». Содержание этих учебников неизменно: нумерация, четыре действия над целыми числами, инструментальный счет, метрология, обыкновенные дроби, тройное и фальшивое правило и развлекательные задачи[2]. Статьи «торговая», «ростовая и добыточная», «торговая книга» посвящены коммерции. В некоторых рукописях представлена и геометрия – сугубо прикладной материал: «о хлебном в житницах измерении», «о земном верстании», «о боченочных мерах». Лишь в конце столетия появляется первая печатная книга по математике – «Считание удобное, которым всякий человек, купующий или продающий, зело удобно взыскати может число всякия вещи» (М., 1682)[3]. «Считание» состояло из 50 таблиц умножения. Оно должно было облегчать расчеты в торговых операциях: «Если меры положить в верхней строке, а цену в посторонней строке, и ты от того числа пойди рядом клеточками и дойди до той клеточки, которая стоит против верхнего числа, которое число меру показывает, и стани: и сколько в той клеточке будет чисел, столько будет за тот товар цены копейками, или алтынами, или гривнами, или рублями»[4]. Второе издание – «Книга считания удобного» – вышло в 1714 г. «Книги сошного письма» (рукописные) и гравюра «Сошное письмо» (1685) Логиона Урусского были задуманы как руководство для сбора поземельного налога «с сохи». В 1699 г. Илья Федорович Копиевский в Амстердаме издает «Краткое и полезное руковедение по аритметыку» по заказу торгующих в Архангельске купцов. Из ее 48 страниц, пишет Р.А. Симонов, лишь треть отведена собственно арифметике, а остальное – нравоучительным сентенциям[5]. У купцов это пособие – скорее учебник, нежели справочник – не вызвало энтузиазма[6]. <…>

[1] *Кузнецова В.С., Симонов Р.А.* «Цифирная счетная мудрость» – первый русский учебник арифметики // Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси (Малоисследованные проблемы и источники): Сб. науч. трудов. М., 1983. С. 94 сл.

[2] Тройное правило – определение по трем числам четвертого с помощью пропорции. Это кульминационная точка средневекового искусства вычисления.

[3] *Симонов Р.А.* Русская учебная математическая литература конца XVII века // Там же. С. 98 сл.

[4] Там же. С. 99–100.

[5] Там же. С. 101.

[6] Об этом сообщает сам И.Ф. Копиевский в челобитной к Петру: «[Прикащики Василий Остафьев и Алексей Остафьев Филатьевы] просили меня, чтоб я написал какую книгу полезную и дал напечатати сколико тысящей, а они обещались поплатить. И я, написав зело полезную книгу цыфирную с притчами, дал напечатать книг 3350. А они меня и в том прельстили и книг не хотели взять, а мне убыток великий соделали. Егда же нарочитии людии здешние начаша обличати их и поносити им, хуля хитростную и лестную их кову, тогда видя, Михайло Иванов, старейший прикащик, хотел взять книги и поплатить, но Ивашка Федоров никакими мерами не хотяше, сказывая, что он к Архангельскому городу не поедет, а в иную землю послан, а к городу и забирался и поехал. И тако, по со-

Первый опыт заграничного обучения

Обратимся к более высоким формам образования – выходящим за рамки элементарного обучения. Еще Царь Борис Федорович Годунов чувствовал и понимал образовательную отсталость страны. Он пошел по тому же пути, на который через столетие вступит Петр I. Его замыслы подтверждает Мартин Бер. «Желая со временем видеть своих подданных образованными, – пишет он, – Борис предложил государственному совету вызвать просвещенных людей из Германии, Италии, Испании, Франции, Англии и для изучения разных языков учредить школы[1]; но попы и монахи противились такому намерению, объявив, что в России, не взирая на обширное пространство ее, доселе господствовало единоверие, единонравие; если же настанет разноязычие, поселится раздор и прежнее согласие исчезнет. Борис оставил свое намерение; однако ж послал в чужие земли, для образования, 18 молодых дворян: 6 в Любек, 6 во Францию и 6 в Англию. Они скоро выучились языкам иностранным; но только один возвратился в Россию»[2]. Из этого отрывка можно сделать вывод, что языковую подготовку Борис ставил во главу угла – несомненно, он (весьма справедливо) считал ее ключевой для сближения с интеллектуальной жизнью Запада. Именно это его стремление и натолкнулось на сопротивление духовенства. Молодые люди должны были ознакомиться с иностранными языками для дальнейшей службы в Посольском приказе. Сообщение Бера грешит неточностью: в Любек отправились пять человек, а в Англию – только четверо (о тех, кто был отправлен во Францию, мы ничего не знаем)[3]. В 1603 г. в Москву прибыло Ганзейское посольство. На обратной дороге – когда до Новгорода оставался день пути – послам было вручено царское письмо со сведениями о пяти молодых дворянах и «с милостивым поручением взять их с собой в Любек, представить городскому совету и поместить в школу для обучения языкам немецкому, латинскому и дру-

вету Ивана Андреева Тессинга и Ивана Иевлева Молодого, послал я книги те к Москве к Логвину Логвинову» // *Пекарский П.П.* Наука и литература в России при Петре Великом. Исследование П. Пекарского. Т. I. СПб., 1862. Введение в историю просвещения России XVIII столетия. С. 526–527.

[1] «Борис намеревался основать не одни только школы, но и университеты, как видно из письма немецкого ученого Товии Лонциуса от 24 января 1601 года. (*Карамзин Н.М.* История Государства Российского. Т. XI, примеч. 125). Что сказать после этого в похвалу Борису? Мысль его привели в исполнение чрез полтораста лет» (Примеч. Н.Г. Устрялова). Это письмо опубликовано у кн. Н.В. Голицына (см. ниже). В частности, мы читаем в нем: «И когда он (Ганс Крамер. – *А.Л.*) всесторонне узнал о моем положении, то стал прилагать много старания и просьб, чтобы побудить меня отправиться в страну вашего величества, так как ваше величество не только требовали одних ученых людей, но и сами имели желание и намерение учредить в своем государстве школы и университеты. При этом он особенно заботился о том, чтобы я исполнил волю и указания вашего величества, – достал здесь разных ученых и опытных людей и художников, потому что я знаю здешние и тамошние места; и он не сомневался насчет того, будет ли мое прибытие угодно вашему величеству. Первым плодом этого достохвального намерения вашего величества без сомнения будет то, что вы в целом свете обессмертите свое имя истинного отца отечества…» (с. 23). Кн. Голицын не считает возможным воспринимать дословно желание завести университет – он воспринимает письмо как доказательство того, что на Западе знали о просветительских планах Бориса и старались им содействовать (с. 23).

[2] *Бер Мартин.* Летопись Московская, с 1584 года по 1612 // В подготовленном Николаем Герасимовичем Устряловым сборнике: Сказания современников о Димитрии Самозванце. 3-е изд., испр. Часть первая. Бер, Паерле, Маржерет и Де-Ту. СПб., 1859. С. 18.

[3] *Князь Н.В. Голицын.* Научно-образовательные сношения России с Западом в начале XVII века. М.: Университетская Типография, Страстной бульвар, 1898. С. 4. В дальнейшем мы основываемся на данной работе. См. также статью А.В. Арсеньева «Первые русские студенты за границей» (Исторический вестник. 1881. Июль. С. 544–555).

гим» (с. 5), а затем отослать обратно в Россию. В письме Царь требовал, чтобы юношам дана была возможность свободно исповедовать свою веру и соблюдать все ее предписания; расходы он брал на себя. Послы обещали в точности исполнить поручение. 30 октября магистраты Любека известили Бориса Годунова о благополучном прибытии студентов. 9 сентября 1609 г. бургомистры и ратманы Любека писали уже новому Царю, Василию Шуйскому: «И мы его царского величества повеление творили, и тех робят давали учити, поили и кормили и одежу давали и чинили им понашему возможению все добро. А оне не послушливы и поучения не слушали, и ныне двое робят от нас побежали неведомо за што. Того для бьем челом вашему царскому величеству, чтобы ваше царское величество пожаловали милостивно, о том отписали, ещоли их нам у себя держати по прежнему или их к себе велите прислать» (с. 6). Царь отвечал: «И они б их велели сыскать и велели им доучиватись. А буде те робята учнут проситца у них в наше государство, и они б их не выучане отпущали, а как выучат накрепко грамоте и языку, и они б их прислали к нашему царскому величеству» (с. 6–7). Князь Николай Владимирович Голицын полагает, что некто Дмитрий, служивший переводчиком при шведском генерале Делагарди и упомянутый в хронике Бера как единственный вернувшийся на родину, был одним из этих студентов. О дальнейшей судьбе этих пяти дворян ничего не известно.

Из четырех юношей, посланных в Англию, тоже никто не вернулся. Доверенным лицом правительства и их воспитателем стал Джон Мерик (как его звали в России – Иван Ульянов Мерик). В 1602 г. ему были отданы на попечение четверо молодых людей, известных поименно, – дети боярские Микифорко Олферьев сын Григорьев, Софонко Михайлов сын Кожухов, Казаринко Давыдов и Федька Костомаров. 30 июля они отплыли из Архангельского порта на английских судах «для науки розных языков и грамотам». Молодых людей следовало поместить «в различные учебные заведения, как-то: Винчестер, Итон, Кэмбридж и Оксфорд» (с. 8). Смута заставила забыть о них; и только восстановив дипломатические отношения с западными странами, новое правительство вспомнило о студентах и попыталось их вернуть. Несколько посольств не достигли цели; из четырех студентов только один, Никифор Григорьев, оставался в Англии; переменив веру, он не желал и боялся возвращаться на родину. Попытки вернуть его тянулись с 1613 по 1622 г. Стороны не могли уладить недоразумение из-за того, что следовали железной логике, которую понимали по-разному. Русские послы не допускали и мысли о том, что Григорьев отрекся от православной веры добровольно. Англичане категорически отрицали свое принуждение с этой стороны и заявляли, что против воли они не могут заставить Никифора Григорьева вернуться на родину. По злой иронии он – пастор англиканской церкви – пострадал за новую свою веру от рук англичан: его преследовали и лишили сана во время пуританского движения в 1643 г. (с. 17). Предпринимались и другие попытки: в Англию – а именно в Кембридж – с тем же Джоном Мериком был отправлен сын переводчика Посольского приказа Иван Иванов Алманзенов. Тон дипломатической переписки о нем совершенно другой: Карл I выполнил все пожелания русского правительства. Однако сведениями о судьбе студента мы опять-таки не располагаем.

При Борисе Годунове в Москве появились и первые «немецкие» школы для живущих в столице иностранцев. При Иване Грозном возникла Немецкая слобода; в ней он поселил ливонских пленных[1]. Борис Федорович дал разрешение на постройку лютеранской церкви, и община завела при ней училище.

[1] *Цветаев Д.В.* Первые немецкие школы и основание придворного немецко-русского театра. Варшава: Тип. К. Ковалевского, 1889 (оттиск из «Варшавских университетских известий» того же года).

В 1601 г. для преподавания в ней из-за границы были приглашены пастор Вальдемар Гуллеман из Вестфалии и студент Мартин Бер из Нейштадта. Скоро они организовали в кирке небольшой хор в 6–8 голосов. Учеников, впрочем, было больше. Дмитрий Владимирович Цветаев считает, что школа не пережила Смутного времени. В 1621 г. в ней уже шли занятия, носившие прежний, церковно-приходской, а не гимназический характер. В первой половине 60-х гг. XVII в. иноземцы были выселены за город в Новую Иноземскую или в Ново-Немецкую слободу. Один из преподавателей – Иван Готфрид Грегори[1], сын мерзебургского пастора и пасынок известного доктора Лаврентия Блюментроста, – в 1668 г. сообщает, что, переселившись в Россию лет за девять до этого, он «учинился у кирки Балсыря Петрова (т.е. Валтасара Фадермехта) школьным мастером». «Школьным мастером» он пробыл около двух лет, пока ему не предложили место пастора в выстроенной недавно Офицерской церкви. Своим появлением эта церковь обязана разделению общины: за военной частью закрепилось название Новой, или Офицерской, а прежнюю стали звать Старой, или Купеческой. В 1667 г. Грегори предпринял путешествие в Германию для сбора пожертвований. Известный своим благочестием герцог Саксен-Готский Эрнест, дав Грегори 200 талеров, сказал: «Если вы не обучите юношество христианству, то все христианское у вас потеряно. Подумайте, как трудно потом уверить старого человека в вечном благе, которого он никогда не видал и о котором в юности никогда не слыхал!».

Постепенно школа приобретает влияние. Специально для помощи Грегори был приглашен Герард Линау, ректор нарвской школы. Благодаря поддержке герцога Эрнеста школа стала бесплатной: туда принимали даже служанок, крепостных, пленных и купленных турок и татар и учили Закону Божию, немецкому языку и латыни, счету, письму и музыке. Изучался здесь и изданный в Стокгольме в 1626 г. на русском языке лютеранский катехизис. Русское правительство возложило на школу курьезное поручение – ей необходимо было послужить к учреждению первого придворного театра, за что она получила помощь в затруднительный период своего существования: «иноземцу магистру Ягану Готфриду учинити комедию, а на комедии действовать из библии книгу Эсфирь и для того действа устроить хоромину вновь». Представление состоялось 17 октября 1672 г. и понравилось Государю, что обеспечило материальное положение училища. Ученики ездили то в Кремль, то в Преображенский дворец. Впрочем, смерть Царя Алексея Михайловича и опала Матвеева положили конец театральным действам.

В ноябре 1678 г. Царь Федор Алексеевич отправил двух русских учеников из Аптекарского приказа для обучения «латинскому и цесарскому языкам», чтобы впоследствии они смогли постичь «аптекарское и алхимистское дело». Просьба руководителя школы Ягана Понциуса о жалованье по рублю в месяц за человека была удовлетворена, но при этом дан был строгий наказ: «А учить ему тех учеников со великим прилежанием и радением; и буде они станут лениться или ослушаться, учинить им наказание, как в школах, по вине смотря; выуча, объявить их в Аптекарском приказе, князьям Одоевским и дьяку Андрею Виниусу»[2]. Д.В. Цветаев не без иронии замечает: «Алексей Михайлович, любивший развлеченья, посылал в Немецкую школу русских мальчиков обучиться театральной потехе; его болезненный сын Феодор пробует обучить их там уже

[1] См. о нем: Иоганн-Готфрид Грегори, пастор Московской Немецкой слободы (1658–1680) // Исторический вестник. Т. 21. 1885. С. 596 сл. Без подписи, с оценкой: «умный, опытный педагог, опередивший свой век».

[2] *Цветаев Д.В.* С. 23, со ссылкой: Материалы для истории медицины в России. СПб., 1885, IV, № 1450.

иностранным языкам, необходимым для медицины» (с. 23–24). Дальнейшая история лютеранской школы плавно перетекает в историю гимназии Глюка – об этом см. главу III.

Интересно, что юноша из русской аристократии – Алексей Саввич Романчуков, дьяк, сын дьяка Посольского приказа – увлекся латынью и математикой. Он был назначен посланником в Персию и путешествовал в составе голштинской миссии. Адам Олеарий, ее секретарь, отмечал, что Алексей Саввич «против обыкновения русских имел большую охоту к свободным искусствам, особенно же к некоторым математическим наукам и к латинскому языку… в продолжение пяти месяцев сделал такие успехи в латинском языке, что мог передавать на нем, хотя не совсем удовлетворительно, свои задушевные мысли»[1].

На пути к высшей школе

Мысль о создании греко-славянской школы возникает у русского правительства еще в 1630-х гг.[2] В 1632 г. Михаил Федорович и Патриарх Филарет обратились к Патриарху Кириллу Лукарису с просьбой прислать преподавателя. Не успела она достичь Константинополя, как в Москву прибыл учитель – иеромонах Иосиф. Сразу же по приезде он получил царское жалованье и указ «великому протосингелу александрейскому Иосифу… переводити… греческие книги на словенской язык и учити на учителном дворе малых ребят греческого языка и грамоте» (с. 12). К тому моменту он пользовался полным доверием русского правительства и – благодаря своему славянскому происхождению (с. 12–14) – считался человеком, вполне способным общаться с москвичами без переводчика. Впрочем, сведений о его преподавательской деятельности нет; исследователь не исключает, что таковой вообще не велось. Программа просвещения России, предусматривавшая приглашение учителей, собрание библиотеки и обустройство высшей школы и типографии, была разработана не русским правительством или церковью, – ее предложил палеопатрасский митрополит Феофан, приехавший в 1645 г. с просьбой о денежном вспоможении. Он провел в русской столице пять месяцев, застав кончину Михаила Федоровича и восшествие на престол Алексея Михайловича. 7 сентября он был на отпуске у нового царя (с. 19). Челобитная с изложением просветительской программы была передана в Посольский приказ 25 июня или непосредственно накануне. Митрополит предложил русскому Царю, в котором он видел правителя лишенных своего государства греков, создать типографию для печати на греческом языке с русским переводом важнейших сочинений христианской Церкви, в первую очередь – трудов Святых Отцов, издаваемых на Западе в намеренно искаженном виде. Без школьной подготовки такой проект был неисполним, поэтому создание школы Феофан считал обязательным. Ученики под руководством греческих дидаскалов изучали бы греческий и русский языки, философию и богословие (то есть две верхние дисциплины иезуитского цикла). Борис Львович Фонкич подчеркивает: «Идея составления такой программы исходила вовсе не из анализа *русской* ситуации; побудительной причиной появления записки митрополита Феофана являлось бедственное положение *греческой* церкви, *греческого* народа, лишенного под турецким владычеством возможности иметь собственные школы, собственные типографии и с помощью своих изданий противостоять на Православном Востоке давлению католической и протестантской церквей» (с. 20). Отметим, что собственно «педагогическая» часть записки очень лаконична: «да повелиши быть греческой печати и приехати греческому учителю учить руских детей философства и богословия греческому языку

[1] Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 3. СПб., 1998. С. 315–316.

[2] Данный раздел основан на: *Фонкич Б.Л.* Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М.: Языки славянских культур, 2009.

и по рускому» (с. 25). Очевидно, образовательная сторона для авторов концепции – а Феофан представлял воззрения высшего константинопольского духовенства – является необходимым, но второстепенным условием для главного, издательского проекта. Они не задумывались над значением этого плана для русской жизни. Правительство отклонило документ. Б.Л. Фонкич считает, что фактически в нем и была сформулирована программа, которую Россия осуществляла вплоть до начала XVIII в. Должно быть, открывать училище для потребностей греческого мира в России, не имевшей устроенных должным образом школ, показалось ненужным. Однако русские власти внимательно отнеслись к проекту, намереваясь обратить его на пользу собственному культурному развитию. Впрочем, работа в этом направлении так и не продвинулась (с. 38).

Киевский митрополит Петр Могила еще в 1640 г. обращался к Михаилу Федоровичу с предложением построить в Москве на царские средства монастырь: «Царю, государю и великому князю Михаилу Федоровичю… смиренный отец митрополит Киевский Петр, паче всех прошений своих, изряднее бьет челом <…> пожалуй, благочестивый царь, и повели в царствующем своем граде благодатию и казною своею царскою монастырь соорудить, в котором бы старцы и братия общежителного Киевского Братского монастыря живучи, о твоем царском величестве и о благоверной царице твоей и о Богом дарованных царских чадех величества твоего безпрестанно Бога молили и детей боярских и простого чину грамоте Греческой и Словянской учили. Дело то Богу угодно будет и твоему царскому величеству честно, и во всех странах преславно. И нынешний Волоский воевода добре позна, какова мзда от Бога Вседержителя для воздвиженья училищ от благоговейных и православных училищ бывает, а в Полском государстве преславный пожиток детем боярским родится, и для того коликокротким писанием своим молил смиренного отца митрополита Киевского, чтоб ему послал благообразных иноков и добре ученых учителей, что и получил. Аще возможно и величеству твоему в сем прошению отца митрополита Киевского пожаловати благодатно <…> твою государскую волю вскоре исполнит и старцов соучителми пришлет»[1]. Но только в 1648 г. Алексей Михайлович грамотой на имя черниговского епископа Зосимы просил прислать «для справки библеи греческие на словенскую речь на время» учителей иеромонахов Кирилла Замойского, Арсения Сатановского и Дамаскина Птицкого. Не дождавшись ответа, Царь 14 мая 1649 г. обращается непосредственно к самому Киевскому митрополиту Сильвестру Косову, называя уже не трех, а двух ученых монахов – Арсения и Дамаскина: «Ведомо нам Великому Государю, Нашему Царскому Величеству учинилося, что учители священно-иноки Арсений, да Дамаскин Птицкий Божественного писания ведущи и Еллинскому языку навычны, и с Еллинского языка на Славенскую речь перевести умеют, и Латинскую речь достаточно знают, а Н. Ц. В. такие люди годны, и Мы Великий Государь, Н. Ц. В., велели о тех учителех послати… грамоту к Зосиме, Епископу Черниговскому, потому что тебя Митрополита в то время в Киеве не было; а ныне Мы… велели о том к тебе послати… грамоту: и вам бы Митрополиту Нам Великому Государю послужить и Нашего Царского жалованья к себе поискать, и тех учителей приговорити и прислати к Нам… для справки Библии Греческия на Славянскую речь… а на Москве, у Н. Ц. В., побыти им вольно, по их воле и хотению…» (ПСЗ 7).

Отметим два момента: 1) среди достоинств монахов, о которых идет речь, отмечается и знание латинского языка, и 2) хотя они называются «учителями»[2],

[1] Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою Комиссиею. Т. III. 1638–1657. № 33. СПб., 1861 (обл. 1862). С. 39.

[2] Слово употребляется в церковном, а не в школьном значении; мы с этим еще столкнемся.

преподавание в их обязанности не входит: интерес у правительства другой. Игумен Братского монастыря Иннокентий Гизель писал Алексею Михайловичу: «… Неисчетная благодетелства, от великодаровитыя пресветлаго царскаго вашего величества десницы неоскудно подаемая, всему миру явственна суть, имиже святыя обители благочестивыя неточию в своем великом государстве, но по всей Греческой земли и нашей Малой России сущия, обилно жаловати Ц. В. В. обыче; якового царского жалованья мы убо смиреннии иноцы <…> доселе не сподобихомся, но ниже дерзахом Ц. В. В. стужати: имеяхом бо до сего времени нашего богата благодетеля, во блаженней памяти скончавшагося Петра Могилу, всея Руси малыя митрополита, иже благословением святейшаго патриарха Иерусалимского, зде прежде бывшаго кир-Феофана, благочестивыя училища, при храме зде здатися начатыя в наказание благочестивых отроков и умножение благочестия, своим иждивением соверши, Словенского и Греческого языка, таже и Латынского, яко зде между латынами живущим, ко ухищрению прелести иноверных зело благопотребного учения сооружи и умножи; яже училища и ныне бывый у нас святейший патриарх Иерусалимский кир-Паисей, своим патриаршескаго благословения начертанием похвалив, утверди, нас смиренных иноков тот же Петр Могила, митрополит Киевский, на дело такового учения избрав, в сей святой обители жити устрои. Егда же Бог вышереченного нашего пастыря от сего жития престави, оскуде благодатная нам благодетеля нашего десница и мы сиры остахом; бехом же мало нечто еще благородных и благочестивых человек милостынею нам даваемою помогаеми; егда же и тии в нынешней междуусобной брани инии избиени, друзии без вести оскудеша, и мы, яже имеяхом данная, иждихом, ниоткуда помощи имуще, ни надеящеся. Царское ваше величество, яко всех общаго благодетеля, в прибежище нам приобрести умыслихом, ничтоже сомнящеся, яко и мы жалованья пресветлаго царскаго вашего величества, инем обилно истекающаго, спричастницы будем, и убо по желанию нашему приличное время обретаем, егда царское ваше величество от нашего собора учителей себе на богоугодную службу призывает; тем же мы, ихже царское ваше величество потребова, учителей от нас избравше священноинока Арсения и священноинока Епифания, в служение царскому вашему величеству, в неже повелит, посылаем, в немже Господь да поспешит; с ними же и священноинока Феодосия (старец Феодосий Васильевич Баевский. – *Ф.И. Титов*[1]), учителя и проповедника слова Божия, к царскому вашему величеству посылаем; ему же паки вскоре к нам возвратитися повелехом <…>»[2]. Посредником в деле приезда киевских иноков в Москву Ф.И. Титов считает боярского сына Порфирия Трофимовича Семенникова (он же Зеркальников), который сам учился в коллегии. 12 июля трое старцев Богоявленского монастыря – Феодосий, Арсений и Епифаний (Славинецкий) – прибыли в Москву. Правительство не забыло о своем желании пригласить на службу и Дамаскина Птицкого: в конце 1650 г. он также оказывается в русской столице. В одном из документов говорится, что Епифаний прибыл «для переводу з библеи греческие на словенскую речь и для риторского учения» (Б.Л. Фонкич, с. 44). Однако никакой школы Епифаний, по-видимому, не завел. Впрочем, о преподавательской деятельности свидетельствует наличие у него учеников, первым из которых был, по-видимому, боярин Федор Михайлович Ртищев (1626–1673), а самым знаменитым – Евфимий Чудовский. Это скорее всего было общение с учителем небольшого круга слушателей, не имевшее формы регулярных занятий[3].

[1] См: Кн. I. С. 158.

[2] 8 июня 1649 г. Акты, относящиеся к истории… Т. 3. № 259. С. 323–324. Грамота важна для истории Киево-братской коллегии.

[3] О «протесте против новой науки» см. *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Ч. III. Лекция LIV // *Ключевский В.О.* Сочинения: В 9 т. Т. III. М.: Мысль, 1988. С. 265–267.

Еще одна – возможно, сулившая успех – попытка организовать греческое училище была связана с приездом в Москву в 1652 г. митрополита Навпакта и Арты Гавриила Власия. Рекомендательная грамота Паисия Иерусалимского, которую он вез среди прочих, напоминала Алексею Михайловичу о поручении «радети и обрести единого учителя премудрого и православного, и не имел бы никакова пороку во благочестивой вере и был бы далече от еретиков, и послати б нам ево ко святому вашему царствию поклонитися, да учинит учителство и учит еллинский язык» (с. 60). Но образовательные вопросы потеряли свою актуальность после того, как Гавриил Власий оказался вовлечен в отношения Москвы и Богдана Хмельницкого. Вопросы об училищах и общих проектах Греческой и Русской церкви, для обсуждения которых он прибыл, даже не поднимались.

Немногое известно о педагогической деятельности Арсения Грека. Он прибыл в Москву в 1649 г. в свите иерусалимского Патриарха Паисия и – как владевший славянским языком – был оставлен в Москве учителем риторики. Он начал обучать латинскому языку Степана Олябьева и, вероятно, Федосейку Евтихеева (с. 63). Но в скором времени была получена грамота того же Паисия об измене Арсения православию. Приговоренный к ссылке Арсений три года провел в Соловецком монастыре. Вернувшись в Москву в 1652 г., он стал помощником Патриарха Никона и – при его поддержке – возобновил преподавание. Об этом упоминает Адам Олеарий. Приведем его свидетельство: «Впрочем, в настоящее время к немалому удивлению надо заметить, что по распоряжениям Патриярха и Великого Князя Русское юношество начинают обучать Греческому и Латинскому языкам. Для этого, близ Патрияршого двора, учреждена уже Латинская и Греческая школа, которой заведывает и управляет один Грек, по имени Арсений (Arsenius). Если б это начало имело такой счастливый успех, что Русские могли бы читать писания Святых Отцев и других учителей Церкви на собственном языке этих писателей, то можно было бы надеяться, что с Божией помощию, в пониманий Веры своей они пришли бы к более чистым воззрениям. Чтобы учиться, у Русских в добрых головах недостатка нет»[1]. К апрелю 1653 г., как пишет Б.Л. Фонкич (с. 64), относится запись в расходной книге Патриаршего Казенного приказа о покупке «5 стоп бумаги книжной доброй, которой взято на Борисовский двор гречанину старцу Арсению для училища детем». Исследователь полагает: то, что Арсений среди книг, привезенных с Афона, отобрал для себя грамматику, возможно, доказывает его педагогическую деятельность еще в 1655 г. (с. 65). Не слишком надежные свидетельства! Но в 1662 г. Арсения вновь отправляют в изгнание на Соловки, так что и эта попытка учительствовать заканчивается почти ничем.

Осуждение старообрядчества на Большом Московском соборе 1666–1667 гг. заставило всерьез задуматься о корне раскола. Александрийский Патриарх Паисий, Антиохийский – Макарий, Паисий Лигарид, Симеон Полоцкий приходят к заключению, что одна из важнейших его причин – отсутствие систематического образования. Симеон Полоцкий сам хлопотал об открытии Славяно-греко-латинского училища при церкви Иоанна Богослова в Бронной слободе. По первоначальному замыслу грамота, благословлявшая открытие училища, должна была быть написана от лица трех Патриархов: Паисия – Александрийского, Макария – Антиохийского и Иоасафа – Московского (с. 73). По неизвестным причинам под ней подписались лишь Паисий и Макарий; от Иоасафа должна была последовать отдельная грамота. В учебных планах учи-

[1] Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем посольства Адамом Олеарием. Перевел с немецкого Павел Барсов. Издание Императорского Общества Истории и Древностей российских при Московском университете. М., 1870. С. 310.

лища Б.Л. Фонкич предлагает видеть «не исходившую от глав восточных и русской церквей программу создания в Москве определенной средней или высшей школы… но предлагавшийся Симеоном Полоцким и прихожанами храма Иоанна Богослова в основных чертах план создания в русской столице школы при одной из церквей Бронной слободы. Ясно, что в училище должны были бы преподавать славянский, греческий и латинский языки» (с. 81)[1]. По мнению большинства исследователей – в том числе самого Б.Л. Фонкича, – училище, по-видимому, так и осталось проектом. В нем принимал живое участие такой видный деятель, как Симеон Полоцкий, так что вряд ли существование училища не оставило бы следов. Отметим, что некоторые исследователи (например, Д.И. Извеков[2]) считают челобитные прихожан об открытии училища доказательством самодеятельного пробуждения в русском обществе интереса к образованию. Чтобы эта мысль получила право на существование, таких прецедентов должно было быть гораздо больше, и дело хотя бы в некоторых случаях должно обходиться без участия столь значительных фигур, как Симеон Полоцкий.

Еще одну несостоявшуюся попытку начать преподавание греческого в Москве можно расценивать как курьез. Некий архимандрит Симеон в 1657 г. отправил из Путивля, где был задержан по дороге в Москву, грамоту, в которой предлагал Царю учить московских детей греческому языку. Б.Л. Фонкич с иронией замечает: «Можно лишь порадоваться, что архимандрит Симеон не стал учителем в России: его послание царю написано настолько безграмотно… В 50-х гг. XVII в. в Москве – при царском и патриаршем дворах, в Посольском приказе[3], на Печатном дворе – было достаточно „экспертов“ среди образованных греков или русских знатоков греческого языка, которые могли оценить уровень такого потенциального учителя» (с. 94). Единственной более-менее удавшейся попыткой Б.Л. Фонкич считает школу церковного пения Мелетия Грека, возникшую не позже 1657 г. и, возможно, существовавшую до конца 70-х – начала 80-х годов. Иеродиакон Мелетий «учит греческому пению диаков певчих и подьяков», в соответствии с требованиями реформы Никона (с. 99). Школа действовала с перерывами, поскольку поручения русского правительства время от времени

[1] В челобитной некоего мужа Патриархам Паисию и Макарию: «вашего святительства да будет о сем благословение и грамотное утверждение, еже во приходе храма училищам и учению греческого и словенского, аще же возможно будет, и латинского языков безвозбранно быти» (с. 91). Ответ Паисия и Макария на челобитную: «всерадостно даем наше архиерейское благословение на сие достохвальное дело, еже есть на созидание училищь и в них устроение учения по закону святыя православнои кафолическия церкве, во славу божию, различными диалекты, греческим, словесным и латынским, при храме имярек, да отныне во вся последующия веки свободно будет сие святое дело совершати. А хотящим сему божественному делу препинание или пакость творити сама всемогущая десница божия местница в сем и в будущем веце да будет и гнев господень да поженет и во вся дни живота его, дондеже разсыпатися костем его при аде» (с. 92). Вот проект, как полагает Фонкич, ответа патриарха Иоасафа: «Мы убо, разсудивше благолепное и церкви божии полезное и душу верных спасенное прошения его дело быти, соизволихом и благословение дахом, да трудолюбивии спудеи радуются о свободе взыскания и свободных учений мудрости и собираются во общее гимнасион ради изощрения разумов от благоискусных дидаскалов в писаниих божественных при храме имярек» (с. 93).

[2] «Это благое „начинание“, исходящее от самого общества и красноречиво говорящее о пробуждении дремлющего общественного самосознания» // Букварная система обучения. С. 726.

[3] Отметим, что штат Посольского приказа – в более позднее время, именно в 1690 г., – был невелик: 15 переводчиков («на Москве и с теми, которые живут в порубежных городех»), 25 подьячих «старыя и средния статьи», 3 золотописца и 15 толмачей // ПСЗ 1392. Чтобы обслужить его потребности, образовательная система может работать с производительностью 2–3 человека в год.

вынуждали Мелетия покидать Москву. Труд его ценился высоко: в 1676 г. кормовые деньги заменяют ему на громадное жалованье в 300 рублей в год. Такую же сумму он получал и «в прошлых годех» (годовой оклад первого справщика печатного двора – 60 рублей, с. 100).

Таким образом, анализ Б.Л. Фонкича фактически подтверждает вывод, сделанный еще П.Ф. Каптеревым (О греко-латинских школах..., с. 42): о регулярной школьной деятельности в Москве до создания Типографской школы говорить не приходится. Правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича прошло для русского образования бесплодно. Для того чтобы забота о просвещении была проявлена серьезно, теоретически возможны два стимула: внешний – осознание научно-технической отсталости от стран Западной Европы, и внутренний – кризис древнего начетничества. О первом свидетельствует политика «западника» Царя Бориса Федоровича; в деятельности первых двух представителей династии Романовых мы не встречаем даже намека на такой ход мысли. Но даже второй, подтолкнувший к размышлениям, не ведет к немедленной реакции: образовательная политика не является для правительства приоритетной, внешнего же давления, которое заставило бы действовать более энергично, нет. Таким образом, понимание того, что в образовании есть пробелы, не превращается в их искоренение.

Книга II

Из Главы VI. От воцарения Екатерины II до смерти Павла I

Образовательные запросы русского общества 60-х гг. XVIII в. по материалам «Комиссии для сочинения проекта нового Уложения»

Изучение язв и неустройств русской жизни, которым занималась Екатерина Алексеевна, еще будучи Великой княгиней и в первые годы своего царствования, не могло не открыть ей масштаб и вредоносный характер того хаоса, который царил в русском законодательстве. И Петр, и Елизавета пытались кодифицировать русское право, но им это не удалось. Их неудача, впрочем, не отпугнула Екатерину, и она решилась придать законодательному творчеству максимально широкий «общественный» характер; для того было решено созвать выбранную сословиями и присутственными местами Комиссию, которая разработала бы проект нового кодекса; для руководства был составлен «Наказ» (в отличие от депутатских – так называемый «Большой Наказ»), над которым Императрица с увлечением работала с начала 1765 г.[1] Из проекта ничего не вышло; но информацию о нуждах, потребностях и умонастроениях населения власти получили обильную и – полагаем – весьма достоверную. Сама Екатерина признавалась: «Коммиссия Уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должны»[2]. Мы не будем подробно останавливаться на общем значении

[1] Фридрих II писал Екатерине, давая отзыв на «Большой Наказ»: «Прекрасные законы, составленные по правилам, начертанным вами, нуждаются в законоведах, чтобы быть приведенными в исполнение в вашем обширном государстве; и я думаю, государыня, что после блага, какое вы оказали законодательству, вам остается совершить еще одно – это основать академию прав, чтобы образовать там людей, предназначенных на судебные места, как судей, так и адвокатов», 26.11.1767 (Переписка между Екатериной II и Фридрихом II // Сборник Императорского Русского исторического общества (далее – СИРИО). Т. 20. СПб., 1877. С. 239–240).

[2] РА. 1865. № 4. С. 444.

«Наказа» и его характеристике[1], равным образом как и на ходе работ Комиссии, так как эти вопросы хорошо изучены. Нас интересуют материалы Комиссии как срез общественного мнения, позволяющий достоверно судить о том, как русское общество той эпохи смотрело на образовательную проблематику.

Глава XIV «Большого Наказа», которая важна для нас, невелика. Мы приведем ее полностью:

347. О воспитании.

348. Правила воспитания суть первые основания, приуготовляющие нас быть гражданами.

349. Каждая особенная семья должна быть управляема по примеру большой семьи, включающей в себе все частные.

350. Невозможно дать общего воспитания многочисленному народу, и вскормить всех детей в нарочно для того учрежденных домах. И для того полезно будет установить несколько общих правил могущих служить вместо совета всем родителям.

1. 351. Всякий обязан учить детей своих страха Божия как начала всякого целомудрия, и вселять в них все те должности, которых Бог от нас требует в десятословии своем, и православная наша восточная греческая вера во правилах и прочих своих преданиях.

352. Также вперяти в них любовь к отечеству, и повадить их иметь почтение к установленным гражданским законам, и почитать правительства своего отечества, как пекущиеся по воле Божией о благе их на земли.

2. 353. Всякий родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов клонящихся к неправосудию и насильству, как то: брани, клятвы, драк, всякой жестокости и тому подобных поступок; и не дозволять и тем, которые окружают детей его, давать им такие дурные примеры.

3. 354. Он запретить должен детям и тем, кои около них ходят, чтоб не лгали, ниже в шутку; ибо ложь изо всех вреднейший есть порок.

355. МЫ присовокупим здесь для наставления всякому особо человеку то, что уже напечатано, как служащее общим правилом, от НАС уже установленным и еще установляемым для воспитания училищам и всему обществу.

356. Должно вселять в юношество страх Божий, утверждать сердце их в похвальных склонностях, и приучать их к основательным и приличествующим состоянию их правилам; возбуждать в них охоту ко трудолюбию, и чтоб они страшилися праздности, как источника всякого зла и заблуждения; научать пристойному в делах их и разговорах поведению, учтивости, благопристойности, соболезнованию о бедных, несчастливых, и отвращению ото всяких продерзостей; обучать их домостроительству во всех оного подробностях, и сколько в оном есть полезного; отвращать их от мотовства; особливо же вкоренять в них собственную склонность к опрятности и чистоте, как на самих себе, так и на принадлежащих к ним; одним словом, всем тем добродетелям и качествам, кои принадлежат к доброму воспитанию, которыми во свое время могут они быть прямыми гражданами, полезными общества членами, и служить оному украшением»[2].

[1] Из воспитательной главы «Наказа» его классическое издание – Наказ Императрицы Екатерины II, данный Коммиссии о сочинении проекта нового Уложения. Под редакцией Н.Д. Чечулина. СПб., 1907 (Памятники русского законодательства 1649–1832 гг., издаваемые Императорской Академией Наук). С. CCXXIX – называет Монтескьё образцом для статей 348–350; в таком случае этот раздел оказывается более самостоятельным, нежели многие другие.

[2] Наказ… под ред. Чечулина. С. 104–105. Последняя статья, как указано в примечаниях, есть извлечение из Высочайше утвержденного 22 марта 1764 г. доклада Бецкого «О воспитании юношества обоего пола» (ПСЗ 12.103).

Статья 158 предполагала включение элементарного юридического образования в начальное: «Законы должны быть писаны простым языком; и уложение все законы в себе содержащее, должно быти и книгою весьма употребительною, и которую бы за малую цену достать можно было на подобие букваря. В противном случае когда гражданин не может сам собою узнати следствий сопряженных с собственными своими делами и касающихся до его особы и вольности, то будет он зависеть от некоторого числа людей взявших к себе во хранение законы и толкующих оные. Преступления не столь часты будут, чем большее число людей уложение читать и разумети станут. И для того предписать надлежит, чтобы во всех школах учили детей грамоте попеременно из церьковных книг и из тех книг, кои законодательство содержат»[1].

Как видно, и без Монтескьё здесь мало самостоятельного; упор – в традиции Локка – делается на воспитании, умственное развитие не затрагивается даже и в «просвещенческом» ключе. Чем на это ответили подданные?

Материалы комиссии[2] дают нам два рода документов, проясняющих этот вопрос. С одной стороны, это депутатские наказы; с другой – выступления депутатов на заседаниях Комиссии. Наказы составлялись следующим образом: избиратели, выбрав депутата, составляли из своей среды пятичленную комиссию[3], которая три дня выслушивала заявления избирателей, а затем столько же времени сводила их в единый документ, который зачитывался всем избирателям и скреплялся их подписями[4]. Если этот порядок и нарушался (мы сталкиваемся с текстуальными

[1] Наказ… под ред. Чечулина. С. 42. Статья является переработкой гл. 5 трактата Беккариа «Dei delitti e delle pene»; но там идет речь о доступности законов, а не об элементарном юридическом образовании; интересно сравнить этот пассаж с тем местом в статье Е.Р. Дашковой «О смысле слова „воспитание“», где идет речь о воспитании «дедов»; представление вполне фантастическое, но оно говорит о том, что окружение Императрицы видело в этом подходе древнюю традицию.

[2] Опубликованы в «Сборнике Императорского Русского Исторического общества»: Исторические сведения о Екатерининской коммиссии для сочинения проекта нового Уложения. Ч. I. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1869 = СИРИО 4; ч. II, 1871 = СИРИО 8; ч. III, 1875 = СИРИО 14; ч. IV, 1881 = СИРИО 32; ч. V, 1882 = СИРИО 36; ч. VI, 1885 = СИРИО 43; ч. 7, 1889 = СИРИО 68; ч. VIII, 1894 = СИРИО 93; ч. IX, 1900 = СИРИО 107; ч. X, 1903 = СИРИО 115; ч. XI, 1907 = СИРИО 123; ч. XII, 1911 = СИРИО 134; ч. XIII, 1914 = СИРИО 144; ч. XIV, 1915 = СИРИО 147. Мы в дальнейшем будем ссылаться в этом разделе на данное издание, указывая только номер тома в рамках СИРИО и страницу. В цитатах, как правило, сохраняются номера пунктов; это показывает – с оговорками и лишь до определенной степени, разумеется, – место образовательной проблематики в ряду обсуждаемых вопросов. Д.В. Поленов, подготовивший первые три тома собрания, издавал дневные записки собрания в пересказе, модернизируя язык, заменяя краткие извлечения подлинными голосами, и т.д. (32, с. III). Впоследствии публикации становятся точнее. Впрочем, это относится к изложению депутатских позиций, а не к наказам.

[3] Наказ ярославского дворянства настолько стилистически ярок, что вряд ли мы можем сомневаться в авторстве (4, с. 302): «Наказ Ярославского уезда от благородного дворянства избранному господину депутату в Коммиссию о сочинении проекта нового Уложения, его сиятельству лейб-гвардии капитану князю Михайлу Михайловичу Щербатову. <…> 7) …остается токмо сему же верному дворянству, припадая к стопам сей матери отечества, просить, да соблаговолено будет и в наказаниях отличить дворян от простых людей; мы разумеем чрез сие не за важные преступления бываемые; дабы как ныне прилежащее дворянство к воспитанию своих детей, не могли бы оные от излишней к ним строгости, каковая может случиться от не различия наказаний, лишиться знатных мыслей, которые чрез долгое время родители в них тщились вложить». В присутствии такого человека, как князь Щербатов, полагаем, далеко не всякий мог решиться взяться за перо.

[4] *Ключевский В.О.* Сочинения в девяти томах. Т. V: Курс русской истории. Ч. V. М., 1989. С. 80. Отметим одну деталь. Ключевский пишет: «В депутатских наказах, городских и дворянских, рядом с местными нуждами и сословными претензиями стоят заявления об

совпадениями различных наказов, что свидетельствует о «циркуляции идей»), это никак не влияет на достоверность как поднятых в наказах вопросов, так и ответов на них, которые давали те или иные сословия. Скажем сразу, что школы и воспитание – далеко не самая главная проблема, волнующая население, и в большинстве наказов о них нет ни слова. Дворян куда больше заботят расплодившиеся разбойники и сословная монополия на владение крепостными, а купцов – военные постои, монополия на фабрики и торговлю и желание иметь крепостных хотя бы для домашних работ, поскольку вольнонаемному труду они (не без основания) не доверяют. В нашем дальнейшем повествовании это очень важный пункт: требования в интересующей нас области высказывало меньшинство, иногда незначительное. С одной стороны, это вызвано жгучим характером вопросов, которые волновали всех; с другой – все-таки свидетельствует о том, что толщу населения «воспитание» затронуло и заинтересовало еще недостаточно.

Некоторые громадные территории Империи и вовсе молчат. Не звучит образовательная тематика в наказах городов к востоку от Урала. На Севере общая картина иная: хотя в довольно обширном корпусе лаконичных наказов черносошных крестьян (в отличие от крепостных, они пользовались представительством) нет ни слова о школах[1], документ архангелогородского мещанства содержит самую продуманную и развернутую образовательную программу. Приведем ее полностью (123, с. 447, 463–464, 480–481)[2]. От этих строк веет петровским духом:

отсутствии лекарей, аптек, больниц, богаделен, сиротских домов, хлебных казенных магазинов, банков, почтовых станций, школ – простейших средств благоустроенного гражданского общежития. Это уже не ответ на правительственный опрос обывателей об их нуждах, а обывательский запрос правительству о неисполнении им своих обязанностей. Петр I уже начинал заводить эти средства, но следовавшие за его смертью жалкие царствования не продолжили его начинаний и даже запустили и расстроили начатое. По этим заявлениям Россия представляется каким-то разоренным или не обжитым еще домом с одними голыми стенами и темными углами, с податными плательщиками и присутственными местами» (с. 94). Это не вполне соответствует действительности, хотя общее описание русской жизни и производит тяжелое впечатление. Образовательную проблематику мы рассматриваем подробно; что же касается медицинской — купеческие наказы полны жалоб на обременительность содержания в губернских и провинциальных городах за купеческий счет лекарей, от которых нет никакой пользы; купцы желали бы скорее упразднить те скудные медицинские средства, которые были, нежели создавать новые.

[1] Несмотря на то, что жизнь иногда прямо-таки подталкивала к таким требованиям и подсказывала, насколько лучше быть грамотным (123, с. 34): «Архангелогородскому провинциалному депутату от нас… Пяозерского присудствия крестьян, отягощения… 5. Притом-же хотя и в нуждах наших в 4-м пункте в колской канцелярии и написано о службах, что выбираются от нас в колскую воеводскую канцелярию в счетчики и в колский питейный двор в ларечные и целовальники, да не написано того, по сколку человек на год. А грамоте незнающему что напишут, знать неграмотному не можно, принужден взять, что дадут. Да того ради при сем объявляем: в счетчики выбираются через три года от нас один ларечный, в питейный двор чрез другие три года один-же, целовальников по два на каждый год. Да служить мы тем неспособны, языку мы карелского российского мало знаем, а иные нисколко не знают, да и грамоте единого человека умеющего нет. Того ради принуждены наймовать за счетчика или ларечного на год, за одного по шестидесяти рублев, иногда и более, за одного целовальника на год по одинадцати рублев, в том великое отягощение».

[2] Кроме архангелогородского мещанства, лишь вологодское во всей громадной губернии затронуло образовательную тематику (123, с. 431): «Наказ от жителей города Вологды … купцу Андрею Сергееву сыну Блазнову. 11. Бедных купецких малолетних сирот, оставших без родителей, родства и опекунов не имеющих, а особливо мужского пола, дабы соблаговолено было дозволить по общему магистрата с купечеством рассмотрению, по благопристойности, кто к чему будет и способен, обучать, хоша и не по их желанию, но по истинному об их испопечению, кто к чему способен рассмотрению, на

Наказ от жителей города Архангельска…
господину Николаю Свешникову, купцу архангелогородскому

5. …не токмо учреждения училищ наставляющих юношество гражданскому искусству и благонравию, но и малых школ для учения грамоте и Закону Божию для бедных детей на общем содержании иметь мы не в состоянии. …наставление детей зависит токмо от случая и лишаются оного бедные… <…>.

Часть первая. Глава третия

В ней описываются нужды и недостатки, в потребных гражданскому сожитию обучениях происходящие.

«21. Когда мы толикие неудобства претерпеваем со стороны наших промыслов, то чувствуем оные не менее и со стороны промышляющих. Молодые граждане, имея худое от непросвещенных нимало отцов и матерей воспитание, и лишась совокупно самых первых необходимых наставлений, вступают по необходимости малолюдства в нашем посаде в служения при питейных казенных сборах, портят около пьянственных дел природные свои нравы, а чрез то гражданство вообще лишается прочных граждан, купечество-же особливо добрых, верных и обученных служителей, доходя же ближе сему причины, находим мы оную в недостатке наставления. 1) В первых детских обучениях то есть грамоте, и христианскому благочестию. 2) В обучении знаний, купечеству необходимых.

22. Что до первого принадлежит, то во оном каждый гражданин, приготовляемый к торговому и промысловому состоянию, во обществе необходимость имеет наиболее потому, что на нем благонравие и доброе согражданство основывается, в чем свидетелствует сверх святого писания высочайший имянной Е. И. В. февраля 26 дня 1764 года указ сими словами: «От веры спасителной истекает все благонравие и доброе согражданство».

Однакож, по вышеизъясненным причинам (глава 1, § 5, 6) принуждены мы стерпеть недостаток в обучении грамоте детей, потому что по болшей части они от предуверений (= предрассудков, предубеждений? – *А.Л.*) и скудости со стороны родителей не учеными остаются, особливо ж женский пол, коему вверяется по замужестве воспитание детей и домашняя экономия, почти и вовсе того лишается. Недостаток-же в обучении детей христианскому исповеданию произошел от недостатка средств, к сему намерению необходимых, в числе которых суть: 1) Книги, которые бы для сего намерения на разные классы, смотря по количеству лет детских, разделясь, об одной материи изданы были. 2) Школные исправные мастера, коих недостаточное ныне число по той причине видим, что они доволного содержания, от неположения им за обучение доходов, и от малого числа учеников, по непринуждению к тому их родителей, себе снискать не могут.

23. Рассуждая по свойству портового города, и что во оном коммерция бывает с иностранными местами, заключается, что великая нужда состоит в том, дабы купцы, их служители и приготовляемые к торговому промыслу дети были благообученные. Но в сем деле купечество наше великую несет нужду, потому что нет купеческой школы, в которой бы по крайней мере дети

возможном хлебом и платьем удоволствии, от коликих и до каковых лет». – Но здесь непонятно, считают ли вологжане образование своего рода компенсацией за неблагоприятные обстоятельства, при том что благополучные дети здравствующих и процветающих родителей вполне могут без него обойтись, или же они полагают, что последние и так, в домашних условиях, должны получать все что нужно, а заботиться следует только о сиротах. Скорее всего, второе соответствовало их идеальным представлениям, а первое – жизненной практике.

могли обучаться: 1) Правописанию и штилю купеческих писем; 2) Арифметики и знанию о весах и мерах других государств; 3) Бухгалтерии; 4) Купеческой географии; 5) Иностранным языкам; 6) Правам до купечества принадлежащим, как российским, так и иностранным; 7) Навигации. По сему коммерция лишается искусных негоциантов, каковыми просвещенная Европа наполнена будучи, всегда умеет верх одерживать в своих прибытках. И этого ради может уподоблена быть такой мануфактуре, которая имея хорошие материалы, а неисправные инструменты, не может достигнуть совершенства. Обоих вышеписанных наставлений не имея гражданство в употреблении, лишается, как выше показано, вообще добрых граждан, надежных и полезных членов общества и благоискусных купцов».

Часть вторая. Глава третия

В ней описывается прошение о поправлении архангелогородского гражданства заведением школ.

«60. Чтоб старание о сем важном в полицейских и экономических учреждениях пункта магистрату по его должности узаконено было, препоручить и в таком случае, ежели русский гостинный двор, с могущими от него быть доходами, всемилостивейшее магистрату и гражданству пожалован будет, то ономуб законом поведано было о сем школном деле по должности отчества иметь старание на ниже следующих основаниях.

61. Предписать всем гражданам, чтоб они детей своих обоего пола без всякого изъятия под чувствительными штрафами российской грамоте и катехизма учили бы, вследствие чего: 1) учредить малые школы, для которых государственным законом повеленоб было, кому надлежит, сочинить и издать в печать, с размером детскому разумению, катехизма, единственно на слове Божием утверждающегося, и для изъяснения оного издать краткие священного писания ветхого и нового завета истории из лучших в сем роде авторов, и таковыми книгами, снабдив оные школы, содержать их магистрату под своим ведомством, смотрением и попечением так, как 2) и мастеров школных, коих считать между цехами, по силе магистратского 1721 года регламента, от них магистрату чрез старшину получать полугодовые рапорты о учащихся и по состоянию и числу положить им таксу за учение по времени, дабы оные учители единственному делу прилежали, и за недостатком содержания в другие промыслы не входили. 3) Для бедных городовых детей учредить особливую школу, гдеб они могли без платы обучаться, а мастеров к оной снабдить жалованьем из городских доходов.

62. Учредить для купецких людей и для способных из бедности болшую школу, устроя для оной потребное число жилых покоев в верхнем жилье прежде помянутого гостинного двора, во оной обучать детей по желанию отцов, которым однакож оное желание вперять магистрат обязан, тем учениям и языкам, в которых купечество нужду чувствует, и которые описаны в первой части гл. 3 § 23. Основание оной школы былоб такое, как представлено от архангелогородского гражданства в комиссию о коммерции 1764 года; а жалованье мастерам весма умеренное, котороеб могли они дополнить положенным с достаточных учеников платежем, кроме ректора, которому определить доволное жалованье; в протчем оставить смотрение и полное распоряжение чинить магистрату».

Дворянские наказы

Мы видим, что предъявлять образовательные запросы для архангелогородского купечества не в новинку: такого рода требования были сформулированы и выдвинуты три года назад, хотя и адресованы ведомству, которое еще не

созрело для создания собственной образовательной системы. Программа при этом предлагается достаточно обширная, – она превзойдет все, что выдвигало купечество в других местах (за исключением одного курьезного случая, о котором мы расскажем ниже). Она представляет собой, по сути дела, программу высшего экономического образования; она хорошо продумана и в финансовом, и в структурном отношениях. В качестве финансового источника мещане указывают доходы русского Гостиного двора; готовности содержать проектируемую школьную систему исключительно силами общества они не выказывают и требуют, таким образом, казенного участия, но предполагают, что те, кто в состоянии, будут за обучение платить. Таким образом, они видят просвещение как совместное – свое и государственное – дело, которое должно поднять производительность края, усилить его и в конечном счете принести пользу казне. При этом для них важен не только образовательный, но и традиционный воспитательный аспект; их волнует качество христианского просвещения, они желают книг «лучших авторов».

В этих документах мы рассмотрим то, что интересует нас в первую очередь при анализе наказов: 1) чему предполагается обучать детей, 2) кто является адресатом (как правило, безусловно, сословия преследуют собственные интересы, но иногда – прежде всего в дворянской среде – образование рассматривается как общенародное дело) и 3) каковы финансовые источники проектируемых школ. Начнем с дворянских наказов.

Благородное сословие Московской губернии высказывает довольно подробную программу (4, 362–364): «Наказ, выбранному от дворянства Серпуховского, Тарусского и Оболенского уездов депутату, господину генерал-маиору, князю Алексею Никитичу Волконскому. 11) Для прославления цветущего государства, отцы и матери обучают детей своих разным иностранным языкам и наукам на своем коште; а блаженной и вечнодостойной памяти премудрый Государь Император Петр Великий указал производить за одну арифметическую и инженерную науки в офицеры; но по оному исполнения не чинится; а таковые ученые производятся от солдатства по линии; и так они за труд и науку награждения и куражу, а воспитатели их порадования не имеют, и равную с отданными в рекруты крестьянами своими службу несут; да иногда еще не только в одном полку и в одной роте, но и в квартире в одной стоят, то всеподданнейше просит, чтобы дворянские дети пред рекрутами отменными удостоены были и определить, за какие науки, в какие чины производить. 14) Многие бедные, малопоместные дворянские дети остаются без всяких наук, по бедности своей и сущего недостатка, и не только что дать ему за науку, и пропитание имеет с нуждою; также и других чинов люди такие же есть, и для оных не соизволено ли будет учредить в городах школы, в коих, определяя число учеников бедных на казенном содержании, а прочих, кто пожелает отдать, положить с человека по месячно, почему брать учителю и на содержание школ, в коих учить детей российской грамоте, арифметике, геометрии, немецкому и французскому языкам; и на содержание оных школ, не соизволено ли будет из неокладных доходов сумму пожаловать; ибо как дворянские, так приказные и купеческие дети в оных обучаться будут, и годные для государства в службу быть могут; и оные школы в смотрение и собирание учеников отдать воеводам, определя в товарищи к нему из отставных доброго живущего офицера и из магистрата ратмана, дабы они оные школы имели в своем прилежном смотрении и попечении; а как им поступать о том учинить с наставлением наказ или инструкцию».

Здесь мы видим подробный ответ на все три вопроса, которые стояли перед правительством. С одной стороны, дворянство высказывается не только в своих узкосословных интересах, выступая за школы для дворян и разночинцев. (И программа, надо заметить, выработана неплохая, это ядро среднего образо-

вания; до гимназической ей не хватает древних языков, до «реальной» – естественных наук.) Одновременно здесь высказывается мысль, противоречащая позиции как властей, так и интеллектуалов: дворяне просят узаконить результаты домашнего воспитания и поддержать учителей, и это – думается – является подлинным отношением сословия к данному типу воспитания. Отметим, что это мнение звучало и на заседаниях Комиссии: депутат дворян Бельского уезда Богдан Потемкин предлагал, чтобы те, кто обучались языкам, арифметике, геометрии и фортификации дома на своем коште, по экзамену принимались на службу офицерскими чинами (4, с. 209)[1]. Частная комиссия «о среднем роде людей» также не высказалась против домашнего воспитания. Но мысль свою она сформулировала в целом, не заостряя внимания на домашнем воспитании дворян (36, с. 193). Так, она «весма отдалена от мнения, чтобы почитать, якобы единственно в школах возможно было достигнуть до некоего превышающего познания в науках, и, в самом положении написав „малолетные“ и „при школах“, чрез союз и показывает, что не одних при школах обретающихся чрез сие разумеется; напротив того, всегда почитает, что домашнее учение, если кто способы имеет, скоряе может к желаемой степени познания довести, – и тако отнюдь не имела в мысли запрещать домашнее воспитание, но, как в причинах сочинения статьи означила, распростерла время совершеннолетия для тех, которые в публичных училищах обретаются; ибо для учащихся дома не могла сего учинить, потому что нет такого очевидного и беспристрастного засвидетельствования, как о тех, которые в школах учатся, и самые могущие быть от домашнего учения скорейшие успехи, кажется, что сего не требуют».

А вот дворянство самой Первопрестольной с обидой говорит о преимуществах Петербурга (в наказе депутату, господину генерал-аншефу и кавалеру Петру Ивановичу Панину, 4, с. 231): «§ 15. Чтобы к Московскому и ближнему внутренних провинций дворянству такая же высочайшая милость показана была, какая уже в Санкт-Петербурге действительные плоды приносить начинает, учреждением в здешней столице двух мест для воспитания дворянских девиц, в первом малолетных, а во втором взрослых, также и кадетского корпуса для молодых дворян. Потребный на заведение и содержание сих учреждений вечный капитал охотно согласится дворянство расположить между собою и на себя по мере своих твердых имений, с присовокуплением особливого повсегодного платежа определяемой суммы за тех детей, кои в те новые места отдаваемы бу-

[1] Наказ депутату Московской губернии Епифанского уезда канцелярии конфискации прокурору Федору Хвощенскому требовал 3-м пунктом: «обучась потребным наукам и знаниям», вступать сразу в службу в обер-офицерских чинах по склонности и способности (8, с. 448–449). Депутат пошехонский от дворянства Василий Голенищев-Кутузов при обсуждении законопроекта о дворянстве говорил: «Ежели благородные предстанут ко определению в службу и найдутся обучены из пристойных наук к военной и гражданской службам своим коштом, таких, по их желанию и способностям, определять в службу с отменным награждением чинов против тех, кои выходят из императорских училищ»; а каких наук достигать – тому сделать положение (32, с. 213). Депутат торопецкий и холмский от дворянства Иван Голенищев-Кутузов предлагал «назначить в законах, до которых принадлежит, какого знания требуется от дворянина к получению офицерского чина, дабы то не от прихотей определителей в службу зависело. При сем же, кажется, справедливость требует положить преимущество тем, кои на собственном иждивении выучились», пред выходцами из Императорских училищ. Два депутата примкнули к его мнению (с. 215). Обоянский от дворянства депутат Михайло Глазов высказал иную позицию: обучившихся по экзамену производить в обер-офицеры, не обучившихся – в кадеты, преимущества обучившимся на своем коште не давать. Лубенского полка от шляхетства депутат Григорий Полетика полагал (с. 311), что: «Дворяне, обучившиеся на своем коште и достойными себя сделавшие к службе, должны награждаемы быть чинами преимущественно перед теми, которые воспитаны и обучены на государственном иждивении».

дут». Самостоятельного суждения о программах нет, «дворянские науки» достаточно представлены программами корпоративных учебных заведений столицы, адресат – прежде всего само благородное сословие, а вот расходы оно готово полностью взять на себя. Это мнение прозвучало и на заседаниях Комиссии (4, с. 172–174, депутат от Кашинского дворянства Осип Кожин): кадетского корпуса в Петербурге недостаточно; такой же нужен в Москве, принимать в него следует не иначе, как по свидетельству герольдии, и дворянам записываться только туда (а также в морской и артиллерийский корпуса); из унтер-офицеров в обер-офицеры не производить, сделав офицерские чины привилегией просвещенного дворянства[1].

Наказ Костромского дворянства депутату генерал-поручику лейб-гвардии Измайловского полка секунд-маиору и ордена святыя Анны кавалеру, Бибикову (4, с. 246)[2] содержит жалобу на несчастное положение бедных дворян; в этом случае нет ни готовности, ни возможности брать на себя издержки. Довольно скромна и программа – она ограничивается познаниями, достаточными для военной и статской службы в невысоких рангах: «2) Многие бедные дворяне, не имея достатка не только детей своих пристойно воспитать и обучить нужным дворянину наукам, но по крайнему убожеству и довести в государственные школы по отдаленности не в состоянии; от чего те их дети в невежестве и косности возрастают, и нетолько делаются неспособными к службе, но и ни малейшего вида дворянского в житии и в поведении своем не имеют; а многие чрез то приходят в разные гнусные страсти и шалости, которые им же самим наконец во вред и погибель обращаются. Для сохранения таковых, и чтобы оные, вместо гибели, на пользу государству и годны для службы Е. В. быть могли, Костромское дворянство всеподданнейше просит, чтобы материнское Е. И. В. воззрение на таковых быть могло, и для воспитания и обучения их грамоте и первым хотя основаниям математики и чужестранных языков, а паче для пристойного их воспитания, повелеть учредить по губернским и провинциальным городам школы или семинарии, в которых бы небогатые дворянские дети воспитываться и сказанным наукам обучаться могли; и чтобы те школы нужным содержанием из материнской щедроты из казны, или иначе, от куда заблагорассуждено будет, снабдеваемы были». Наказ адмиралу и кавалеру князю Борису Васильевичу Голицыну, почтенному господину депутату, выбранному от собрания дворянства Калужского и Медынского уездов (4, с. 289), предлагает еще более скромную программу: «Во всяком городе учредить училище на дворянском или на государственном содержании, в котором за главное почитаем, чтобы тому юношеству в молодых их летах чтением внушить от высочайшей Е. И. В. власти к блаженству подданных Ее установленные законы, дабы оные познанием сих, ко отправлению наложенной впредь на них должности, достойными себя учинили, да и от преступления, которое иногда и по одному неведению бывает, спасти себя могли, которому училищу быть под смотрением дворянского суда». Юридический характер предлагаемого образования мало отличается от предложений «Большого Наказа». Наказ дворян Верейского уезда ротмистру Ипполиту, Семенову

[1] Сумму, необходимую на училища, предлагалось набрать следующим образом: возобновить сбор с вступающих в брак – 50 коп. с не имеющих благородства; дворяне со ста душ платили бы по 2 руб.; от 10 до 100 душ – по 1 руб.; 1% брать со служащих на жаловании. Купцы 1-й и 2-й гильдии должны были бы платить по рублю, третьей – по 50 коп. Граф Александр Сергеевич Строганов (там же, с. 174–175) возражал на это: несправедливо налагать на всех поборы, нужные для дворянства. Пусть платят имеющие свыше 200 душ, а учатся бесплатно те, у кого меньше 200 душ, а остальные содержат детей на своем коште, пользуясь только воспитанием и науками.

[2] Наказ сходен с наказом дворян Любимского уезда, кроме вступления и заключения. Расхождения ничтожны и приведены не будут.

сыну, Степанову (4, с. 381) предлагает «учредить в каждом городе, для учения бедных дворянских детей иностранным языкам и прочим нужным для пользы общества наукам, на казенном содержании училищ, в которые училища каждый бы того города уездный дворянин, по неимению к содержанию и обучению на собственном их иждивении достатка, по способности детей своих… от чего со временем мог быть государственный плод и польза обществу. Хотя же разные училища от Е. И. В. в С. Петербурге и в Москве для дворянских детей и ныне есть; но как не безъизвестно, что по большой части дворяне есть недостаточные, которые, по бедности своей, за дальним расстоянием от С. Петербурга и Москвы своих жительств, привозить детей их не могут, и так дети тех бедных дворян, живучи при отцах их без всяких наук, коснеют, а пришед в совершенные лета, за незнанием наук (а много и таких есть, которые российской грамоте, за бедностию и сиротством, не учились), только что записываются в солдаты».

В наказе депутату Тульского дворянства секунд-маиору Алексею Дорофееву сыну Ивашкину (4, с. 405–406) 14-й пункт называется «О гимназии». Он предполагает создание малых гимназий, если возможно, во всех, если нет – по крайней мере в провинциальных городах, «к чему надлежащее число, а именно, одного профессора и двух ему помощников, из матернего милосердия, сравнивая уже в престольных городах от Е. И. В. высочайшею милостию определенные училища, на подобное оных содержание из казны определить, также и нужные для наук книги на употребление учителям, а в противном тому случае и на наш собственный кошт… чрез что возрастающее и умножающееся юношество… без всякого отягощения своих отцов и матерей, избегая притом излишнего убытка, свободно не токмо в посредственные науки войти могут, но и к дальнейшему оных окончанию в Императорских университете и академии способными учинится», подчиняя – на Высочайшее благоусмотрение – эти гимназии ведению городских начальств. Этот план вполне созвучен нереализованным замыслам Шувалова. Довольно подробный перечень предметов содержится в наказе депутату Кашинского уезда, отставному лейб-гвардии капитан-поручику, Иосифу, Иванову сыну, Кожину (4, с. 468–469, 477–478): учредить «для обучения дворянских детей школу, в которую, принимая от семи лет и до шестнадцати, обучать: первое, закону христианскому; второе, французского и немецкого языков, рисовать, фехтовать, арифметики, геометрии и тригонометрии, артиллерии и фортификации, и для того бы определить к обучению закона из священного чина, а прочих наук учителей… а содержать их в тех школах каждому отцу на своем коште, и по обучении определять оных, где по склонности своей служить пожелают, рассматривая по наукам, в унтер-офицерские или другие чины; и чтобы каждый дворянин отечеству своему должен был неотменно служить десять лет… 32) На вышеозначенную школу… чтобы всемилостивейше дозволено было сбирать со всего уезда, как с государственных, так и помещичьих жилых и пустых земель…». Указание возраста – вообще очень редко в наказах. Такой же редкостью было требование обязательной службы уже после Указа о вольности дворянства. Является ли это первым проявлением прогрессивной идеи, которой руководствовалось образовательное ведомство уже в XIX в., – обязательная служба в обмен на казеннокоштное воспитание?

Дворянство заботится о просвещении крестьян. В наказе от дворянства Дмитровского уезда генерал-маиору князю Ивану Андреевичу Вяземскому во втором пункте («О земском суде») сказано (8, с. 506–507): «Предводителя же и земских судей долг, сверх положенного на них дела, состоит еще и в том, чтобы при общих собраниях уговаривать каждого дворянина обучать детей своих разным полезным наукам и языкам; особливо стараться о научении детей правильному знанию российского языка… Уговаривать надлежит каждого и в том, чтобы дворов на сто, в ином месте один помещик, в другом разные помещики, сло-

жась, содержали искусного учителя, для обучения по нескольку крестьянских детей грамоте и простым арифметическим правилам. К сему весьма склонять надлежит каждого помещика, толкуя всякому, сколько больше пользы он может надеяться от грамотного крестьянина. Не для одной сохи крестьянин надобен государству, но и для разных других упражнений; грамота же пахать не помешает, тем паче, что те лета, в которые ребят можно грамоте обучать, пропадают почти без всякой пользы». В наказе Крапивинского уезда обер-секретарю Анисиму Князеву (8, с. 557) рекомендуется возложить народное просвещение на духовенство, чей образовательный ценз тоже предполагается повысить: «4. Всеподданнейше В. И. В. просим при всех церквах быть ученым священникам для проповеди и утверждения во исповедании веры Закона Божия и во отвращение злых дел, також и в знании законов В. И. В.; от чего будет в том всенародная польза на довольном денежном жалованьи, и при них церковному причту; а где есть церковные земли, то оные продать, а дьячкам и пономарям обучать крестьянских мужеска пола детей от семи лет грамоте и писать, на содержании отцов их; от чего впредь уповательно подлый народ просвещенный разум иметь будет»[1]. Это все, что можно извлечь из наказов дворянским депутатам громадной Московской губернии (всего их 49).

Из трех наказов дворянства Петербургской губернии один – «данный от Ямбургского дворянства… Федору Семеновичу барону фон Вольфу, господину премьер-маиору и вольного экономического общества члену» – имеет пункт, сходный с вышеприведенными (14, с. 249): «6) При церквах и кирках сего уезда, весьма нужно учредить школы для малолетных, в коих обучать того уезда дворовых и крестьянских детей грамоте и первых оснований закона, и кто кого отдать пожелает, тех принимать и обучать; а для содержания школы и учителя платить каждому в свой приход с души по умеренной цене в год и отдавать попу, которому иметь во всем попечение и вести деньгам приход и расход и отдавать отчет, как в учении, так и в издержках земскому правлению». В наказе от Копорского дворянства выбранному депутату генералу фельдцейхмейстеру, Е. И. В. генерал-адъютанту, л.-гв. конного полка подполковнику… гр. Григорию Григорьевичу Орлову… (с. 244, п. 6) высказаны аналогичные пожелания: «За нужное находим учредить училища, как для русских, так и для чухонских детей, дабы знанием закона хотя мало поправить нравы их. На сей конец видится можно учредить при церквах школы, в которые крестьянские дети от семи до двенадцати лет, в зимнее время, для обучения грамоте и первых оснований закона, за умеренную плату, ходить могут». О том, каким образом заставить крестьян получать образование, которое им же предлагается оплачивать, оба документа умалчивают. Молчит об интересующих нас вопросах и единственный дворянский наказ Выборгской губернии.

В наказе дворянства Новгородского уезда, Водской пятины… генерал-инженеру сенатору и от строения государственных дорог директору и кавалеру Николаю Ерофеевичу Муравьеву… (14, с. 257) десятым пунктом выдвигается требование «учредить при губернии училища» для детей дворян, «кои на своем коште обучить не могут» (по-видимому, предполагалось сделать это за казенный счет). Жители того же уезда, Деревской пятины… в наказе полковнику и государственной военной коллегии прокурору Федоту Михайловичу Веригину (14, 262, п. 9), изъявив готовность открыть при губернии или в уезде училище, просят «и о пожаловании им, с высочайшей Е. И. В. монаршей милости, питом-

[1] Депутат Иван Жеребцов (14, с. 178) высказывался в таких выражениях: «Пороки, внедряющиеся в сердца человеческие, суть источники криминальных дел… Это особливо я считаю нужным заметить относительно крестьян, потому что они, будучи воспитываемы столь грубо и нерадиво, если не обуздают вольность свою, стремящуюся ко злу и порокам, то свирепством своим, приобретенным навыком, превосходят самих лютых зверей».

ства (= питания. – *А.Л.*) и одежды». Об учреждении училищных домов в губернии должен ходатайствовать и депутат Новгородского уезда Обонежской пятины генерал-аншеф и кавалер Яков Андреевич Мордвинов (14, с. 330, п. 5). Дворяне Тверского уезда (14, с. 326, п. 1) уполномочили Л.-гв. подпоручика Василья, Иванова сына, Неклюдова просить «в городе Твери учредить на казенном коште училище с пристойным числом учителей; а учеников содержать дворянам на своем коште; в чем могут пользоваться Тверской провинции по близости и прочих городов дворяне».

Дворяне Новгородского уезда Шелонской пятины… уполномочили артиллерии обер-квартирмейстера Ивана Картмазова (14, с. 346, п. 14) «всеподданнейше просить Е. И. В. … дабы… узаконено было дворян, не взирая на данную вольность, идущих в службу Е. И. В. избавить на всегда от солдатства и унтер-офицерства, а от ныне обученный дворянин российской грамоте писать и читать хорошо, також арифметике, геометрии и несколько российской географии, вступал бы в службу прямо в обер-офицеры, а в прибавок к тому, кои дворяне обучены на своем коште разным чужестранным языкам и наукам, тех, экзаменуя, определять равными рангами, какими того же достоинства кадеты выпусканы будут; по надлежащему же можно на своем коште обучившихся, истратя в том не малое иждивение пред теми, кои обучилися разным наукам на казенном содержании, иметь и преимущество; а при том представить, если вышеписанное вступление в службу по достоинствам наук узаконено будет, то Россия вскоре увидит не токмо в городах, но и в деревнях воспитательные училища, основанные по согласию дворян на своем иждивении, от коих училищ и отдаленные места России просветятся вскоре, подобно как просвещаются ныне знатнейшие города; военные же и статские места наполнятся людьми знающими и обученными»[1]. Зато дворянство Псковского уезда в наказе генерал-майору Евдокиму Щербинину сразу, в первом пункте, утверждает, что дворянство уже – самый просвещенный класс, и на этом основании требует себе всех прав и привилегий, принадлежащих любому сословию, кроме, пожалуй, духовного (14, с. 376):

«Без выражения доказательств известно каждому, что в просвещении человеческого разума и познания одни, по старанию трудов своих, а другие, имея к тому разные случаи, в отечестве нашем преимуществуют прочим званиям народа дворянство. Как же что потребно довести до совершенства, не иначе можно чем, как чрез способных и знающих к тому. А как по доказательству первый класс в знаниях пред прочими дворянство есть, следовательно, ежели оное апривиллегировано будет, чтоб имели вольность, каждый по склонности своей, во всякие входить звания, то все желаемое к совершенству доводить, как к исполнению повеленного в законах и в прочем, так манифактуры, фабрики, коммерцию и земельные продукты возможно будет; ибо каждое дело желающий и имеющий знание и склонность действительнее с успехом исполнять может пред несведомым и неимеющим понятия».

В п. 16 (с. 395–397) псковичи жалуются, что простолюдины коснеют в невежестве, лишаясь спасения души и предаваясь лжи, воровству, грабительству и смертоубийству. Помочь делу должно духовенство; дворяне требуют повысить его образовательный ценз и содержать сельских священников «на довольной руге и жалованьи, а не на пашне». Дьячки и пономари должны учить крестьян «словесно» (то есть читать, но не писать); в качестве примера приводятся другие государства и более просвещенные российские провинции – Лифляндия и Малороссия. Так, новгородское губернское дворянство в среднем высказыва-

[1] Текстуально очень близок наказ депутату Псковской провинции ведомства города Опочки… генерал-маиору Алексею Ивановичу Неведомскому (14, с. 275, п. 12).

ется о воспитании чаще, нежели московское (их наказов всего 19), но мотивы у него – те же, и иногда – например, утверждение, что домашние питомцы, не получившие казенных денег на воспитание, должны иметь преимущество перед обучавшимися на казенном коште, – они звучат еще более решительно.

Наказ... от всего Смоленского дворянского общества... надворному советнику Ромейке Гурке (14, 422, п. 11): содержит просьбу учредить «в Смоленске особого для обучения детей училища», прежде всего в интересах бедного дворянства; программа при этом отсутствует, источники финансирования не указываются.

Вот обширная выдержка из наказа... от корпуса дворянства Дорогобужского уезда (Смоленской губернии) полковнику Илье, Михайлову сыну, Радванскому... (с. 433, п. 4): «...Желание общественное есть учредить пристойное для дворянина, и ежели соизволено будет в городе Дорогобуже училище, в котором учителю быть на жалованьи, а дворянских детей недостаточных хотя на одном провианте по их неимуществу обучать; в том же доме содержать печатные книги, происходящие из академической, университетской и прочих учрежденных типографий, которым в пользу обучающегося юношества будет продажа; а чем более умножится учения и книг, тем в лучшее состояние приходить могут дворянство и к службе способнее; а хотя и учреждены большие учения в столицах, но по дальности и не имея достатка отвезти не могут, а иногда в случае неимения вакансии и в комплект не вместятся, и за тем имеют оставаться, хотя б к тому и усердно желали, без всякой науки». Какой же науке учить? «Особливо нужнейшей: арифметики, геометрии и фортификации с прочими до общества касающимися частями». Смоленских дворянских наказов всего пять; интерес к воспитанию у благородного сословия Западного края высок.

Север от Запада почти не отстает, и среди шести наказов архангелогородского дворянства мы обнаруживаем две жалобы: наказ Галицкой провинции Парфеньевского уезда... Михаилу Яковлевичу Макарову (с. 489–490, п. 9) гласит: «В Галицкой же провинции, в Парфеньевском уезде, бедное и недостаточное дворянство, и в силу Е. И. В. указа велено дворянских малолетных детей, для обучения инженерным и прочим военным школам, присылать в Санкт-Петербург или в Москву, для наук и явки; понеже дворяне бедные и недостаточные; но так как и дети их, по их бедности, не довольно прочими науками, но и российской грамоте без ученья остаются, не повелено ли будет указом Е. И. В. ... учредить, по их бедности, школу в Галицкой провинции, и на каком основании их содержать; а для объявки дворянских детей в Петербург или в Москву, по их бедности, за дальностию, отменить, а разбирать бы об их осмотрах галицкой провинциальной канцелярии». Наказ галицкого дворянства отставному секунд-майору Юрию, Петрову сыну, Лермонтову перекликается с вышесказанным (14, с. 495, п. 14): «Не повелено ли будет в провинциальном городе учредить пристойное училище, какое и на каком содержании высокою властию за благо рассуждено будет, чтоб недостаточным дворянам по близости и отдавать детей своих повелено было в те училища».

Гораздо меньше интереса к образованию выказывает благородное сословие Поволжья. В пяти наказах Казанской губернии о нем нет ни слова; из четырех нижегородских краткое примечание содержит только один документ – Наказ алаторского дворянства подполковнику князь Ивану Ивановичу Бабичеву (68, с. 116, п. 11): «Всенижайше бить челом о малолетних дворянских детях, дабы для обучения оных учреждены были в губерниях и провинциях училища, в которые повелено-б было принимать таковых, за которыми их малолетних родительми не более ста душ».

Малороссийское шляхетство было более активно. Среди 17 документов, составленных дворянами Воронежской губернии, только два затрагивают ин-

тересующий нас вопрос. Наказ Керенского дворянства ротмистру Гавриле Ломоносову (68, с. 436–437, п. 1) гласит: «Чтоб православная вера греческого исповедания в своей силе была по законам, и чтоб священники посвящаемы были благоговейного жития и доброго состояния и ученья, да и простой народ могли обучать и до раскольников не допущали, но всячески старались от того отвращать, ибо оных расколщиков весьма умножилось, а все то происходит от неискусных и нерадивых священников, а наконец опасно того, чтоб и вся подлость в ту ересь прельщена не была. Ибо оные настоящего в законе поучения со исполнением от приходских священников никогда не слышат…». Сходные мотивы звучат и в другом наказе – ефремовского дворянства титулярному советнику Федору Безгину (с. 463, п. 1): «Вкоренить в сердца наши страх, чтоб помнили Бога и закон его, а зависит оное не от иного чего, ежели-бы мы имели священников достойных, не таковых, как ныне во всем городе Ефремове и уезде, почти заключить единым словом, не находим ученого священника, то от неразумия их нежели наставить на истинный закон, но еще сами в худых предприятиях состоят, многие входят в ябеды, коих священный чин не дозволяет, и употребляют себя в других количествах, то есть в пьянствах и в чинении безобразностей… то уже видя оное, подлый народ какого от них благочиния набраться может, кроме от таковой соблазны отвергаются от церкви Божией и входят во всякие беззаконные дела…» Таким образом, дворянство этой обширной губернии, пренебрегая вопросами собственного образования, хочет поднять образовательный ценз духовенства, надеясь, что это приведет сначала к нравственному исправлению самих священников, а вслед за ними – и простого народа. Но об обучении «подлости» (интересно, только ли Слову Божию, или еще и грамоте? – это наказ не уточняет) говорится только в одном документе.

Наказов дворянства Белгородской губернии ровно столько же – 17. Но жители Белгородской губернии в данной области активнее: образование и воспитание затрагивают четыре наказа. Орловское дворянство (имя депутата не указано, с. 525–526) высказывает оригинальную и редкую мысль: «И для сохранения сего народа в целом государстве, где великий упадок бывает, чему мы очевидцы, не соблаговолено-ли будет умножить медицинские университеты, где определить повелеть довольное число молодых людей, как своих природных, так и малороссиян… следственно, и впредь есть надежда, чтоб таковых способных к той науке людей чрез несколько лет можно умножить, из коих как в полки, так и помещикам определять на число крестьянских душ, на сколько заблагоразсуждено будет, на помещиков жалованьи и содержании». Наказ Курского дворянства премьер-майору Петру, Александрову сыну, Стромилову (с. 549, п. 22) содержит прошение, чтобы «для обучения наших дворянских детей означенных наук (арифметики и других потребных. – *А.Л.*), в губерниях и провинциях и в других знатных городах, усматривая, где дворян против прочих состоит доволнее, учреждены были учители, в тех науках искусные и рачительные, на казенном одних оных учителей содержании, а дворянские дети, будучи при том обучении по близости к своим домам, могут себя содержать собственно от оных своих домов…». Наказ Белевского дворянства секунд маэору Ивану, Афонасьеву сыну, Скрыплеву (с. 610–611, п. 2) «покорно просит, дабы соблаговолено было, сверх учрежденных ныне кадецких сорпусов и уневерситету, учредить в нашем городе школу, в коих и обучать одних дворянских детей, не примешивая других родов, дабы они подлостью заражены при самом своем воспитании не были. Обучать же самым нужнейшим наукам: фортификации, инженерии, артилерии и архитектурии».

В наказе Белгородского дворянства бригадиру и Белгородской губернии губернаторскому товарищу Брылкину изложено требование (658. 11): «Учредить в каждом городе для дворянских детей школы. И чтоб все дворянские дети, как

по бедности своей в домах обучатца и за далностию во учрежденные училища ехать не могут, в тех же городах обучились как словесному и писменному, так и протчим пристойным наукам к дворянству, и по последней мере, хотяб уж одной арифметики и геометрии».

Описав пожелания великоросского благородного сословия, перейдем к остзейскому и малороссийскому. Лифляндское дворянство в наказе гг. депутатам обоих рыцарских округов герцогства предлагает (68, с. 72, п. 8, оригинал на немецком): «Господам депутатам рекомендуется добиваться всеусердно и со всей заботой, в силу данного им с собою обстоятельного представления, восстановления учрежденной в Лифляндии в шведские времена академии, или еще более общеполезной гимназии».

Теперь рассмотрим малороссийские наказы (Малороссийской и Слободской Украинской губерний). Они представляют немалый интерес и свидетельствуют прежде всего о том, что благородное сословие этих провинций стремится к просвещению. Всего наказов – 15; шесть из них содержат просьбы о просвещении края, в основном – довольно подробные; масштаб пожеланий существенно превосходит великоросские. Наказ Глуховского шляхетства «асаулу войсковому генералному, Ивану Михайловычу Скоропадскому» (68, с. 130, п. 6) таков: «Всему свету известно, сколь великое Е. И. В. и неусыпное попечение о просвещении российского юношества чрез обучение в свободных науках. А и в здешнем народе особливейшая к наукам склонность и охота выдытся, но за отдаленностию от здешнего краю уневерсытетов и другымы препятствующымы неудобствы не имеют к тому способу, а инние, отсылая детей своих в иностранние земли, приходят в оскудение. Для того Е. И. В. всенижайше просыт, дабы всемылостивейше повеленно было учредить в Малой России рады свободных нужнейшых наук университет и тот университет Императорскыми своимы сохраныть прывылегиямы, дабы и здешнее юношество чрез просвещение в науках могли удобнейше поспешествовать службою своею в пользу государственную».

В наказе Нежинского и Батуринского шляхетства судии земского повету Нежинского Лаврентию Яковлевичу Селецкому (с. 137, п. 3) местные дворяне требуют создать на Украине просветительский центр, если и не по масштабу, то по номенклатуре учебных заведений не уступающий Петербургу и Москве (и даже превосходящий последнюю): «До нынешного времены о воспитании юношества весма малое или, лучше сказать, почти никакое у нас не употреблено попечение, ибо, не имея порядочних училищ и воспитательных домов, жытели здешние те токмо, коим не препятствовал достаток, отправляли детей своих в Санкт-Петербург, в Москву и в чужие края. Напротиву того, те, которих щастие не одарило достатком, отдаленностью и другимы неудобствами лишенные способов к хорошему воспитанию детей, оставлялы их без надлежащего присмотру в домах возрастать бесполезно и часто в тягость обществу. Женский пол оставлен был также без надлежащего воспитания и учения. К поправлению сего общественного недостатка, для просвещения нравов народних и искоренения невежества и в рассуждении того, что без доброго воспитания нельзя быть искусним и храбрым военачальником, мудрим государственным служителем, справедливим судьею, рачительним домостроителем и полезним гражданыном общества, да соизволит Е. И. В. всемилостивейше учредить в Малой России дворянский корпус, в котором бы малолетним дворянам, как нужное для утверждения их в добронравии воспитание, так и учение всему тому, что благородному человеку в военной и штатской службах и в сообществе гражданском полезно быть может, данно было, особенно же для учения вышним наукам и распространения испытаний (по-видимому, исследований, а не экзаменов. – *А.Л.*), которымы ученние люди государственной и собственной каждого ползе в домостроительстве и в прочем, жизны человеческой нужном, служить могут, осно-

вать в прыличном месте уневерситет или академию. А как и женский пол имеет необходимую нужду в добром воспитании, то и для них, где покажется за благо, завесть особливый дом воспитания, к которому присовокупить учение всего им надобного и полезного».

Составители наказа Переяславского полку шляхетства «полковнику компанейскому Захарию Михайлову сину Забеле» (с. 150, п. 4), ссылаясь на Переяславскую Раду, требуют, чтобы университет был учрежден именно в их городе: «Ничто в жизни для честнаго шляхетства не может быть столь полезно, а для интересов государственних потребно, как знание наук, составляющое в человеке целость его собственного благоденствия и пользы государственной. Сему основанию последуя, малороссийское шляхетство отдают своих детей в разние отдаленные науки, как-то: в уневерситет Московский, у Санкт-Петербург, а другие посылают в чужие дальние государства и, достигая наук, лишаются по своим недостаткам чрез великие убытки имущества и приходят к бедности. Мы с многих опитов несумненно надеемся, что сия наша ревьность к наукам отвечает во угодность высочайшей Е. И. В. воле и любве к совершенству разума. На сию степень о возведении верноподданних своих Е. И. В., яко премилосердая матерь, имея неусипное попечение, всемылостивейше соизволила в разних местах своего государства завесть училища и учредить уневерситети на коште государственном для ползы юношества в просвещении их разума и достижении разних наук, а Малая Россия сего щастья в получении еще не имеет. Того для, всеподданнейше просит, да благоволит Е. И. В. по примеру других мест, в коих учреждени уневерситети, пожаловать и нас высочайшою милостью в учреждении в Малой России на коште казенном из малороссийских таможенных доходов университета в городе Переяславле, яко сей город не последний между малороссийскими первейшими городами… Не менше того полезно быть имеет здешнему шляхетству, ежели Е. И. В. соблаговолит учредыть у Малой России корпус шляхетский, а особо и дом воспитателний для благородных девиц на коште вишеписанном казенном…».

Киевское шляхетство в своем наказе (с. 176–177, п. 4) также просит открыть университет «в городе Киеве или в том месте, где заблаго усмотрено будет шефом нашим, его сиятелством графом Петром Александровичем Румянцовым» – и предлагает использовать для финансирования малороссийские таможенные доходы. Киевлянам вторит стародубское шляхетство (193, п. 4), черниговское же в наказе генералному асаулу Ивану Михайловичу Скоропадскому (236, 237, п. 3) просит открыть не только университет, но и дворянский корпус, и «особливий дом воспитания» для благородных девиц. Наказ Сумского дворянства отставному порутчику Андрею Иванову сыну Кандратеву (276–277, п. III) показывает, что университет воспринимался скорее как средняя школа: «…и в здешнем городе учредить училищи: первое – для благородного дворянства, второе – для церковнических, подьяческих, мещанских и протчих тому подобных детей, и обучать оных так, как в учрежденном в Москве Императорском университете и в городских протчих училищах предписано». Таким образом, мы видим, что – при всей туманности представлений о том, чем же должен быть университет, – Малая Россия не желала отставать от столиц Великой, не довольствовалась своими духовными академиями, и общественное мнение ее дворянства созрело для значительного шага вперед в области просвещения, если бы правительство желало этот шаг сделать.

Наказы третьего сословия

Прежде чем рассматривать пожелания мещанства, обратимся к немногочисленным наказам, поступившим из присутственных мест. Полицейский наказ повторяет, по существу, положения Большого, дополняя их мерой, позво-

ляющей обеспечить учеников и учителей пособиями (43, с. 350, § 331): «Доброе воспитание детей сколь нужно, известно всякому благоразумному и резоны описывать за излишнее находится, но как оного в городах всей империи, а паче что до средних и мелких мещан принадлежит, совсем нет, то испрашивает полиция милостивейшего нужнейшего о сем узаконения»; с. 357, «§ 373: Церковных и учебных книг, тож и законов военных и гражданских дорогою ценою продавать запретить, и единственно такою ценою, чтоб только типография в напечатании убытку иметь не могла, дабы каждый за дешевую цену мог те необходимо нужные книги иметь. § 374. Гражданских и военных законов по книгам учить при словесных науках, обще с законами о вере, дабы с младенчества каждому умеющему грамоте все права известны были».

Санкт-Петербургский архиепископ Гавриил[1] требовал преимуществ для ученых священников перед неучеными, хотя бы и старшими (43, с. 417, п. 3). В п. 14 (с. 418) он пишет: «При всякой градской и сельской церкви для маленьких приходских робят, кои еще работать не могут, завесть школы и священникам и диаконам обучать их катихизиса и грамоты, по мере понятия их, в удобное время, не требуя за то платы, но вместо того вменяя вышеозначенную получаемую с прихода ругу, или пашенную землю с угодьи и убиранием оных». Фактически это предложение ввести всеобщее начальное образование. Вот что говорит Епископ Ростовский и Ярославский Афанасий во 2-м пункте своих замечаний (с. 422): «Во всей Российской Империи крестьянские дети приходят в возраст все безграмотные, а потому не только закона христианского сколько возможно, но и неминуемо должных христианину повсядневных молитв многие знать не могут, редкий же крестьянин и о самом Боге надлежащее понятие имеет; чего для необходимо нужно крестьянских детей от седьми до тринадцати лет, в которых они никаких крестьянских работ исправлять еще не могут, а пребывают праздно, обучать грамоте, букваря и катихизиса, чрез что познание христианского закона вкореняться, а грубость нравов их исправляться будет, и разные беззаконные дела, которых многие из них и в грех не ставят, истребляться могут; ко обучению же тех крестьянских детей наилучший видится способ, когда священники с причтом от земледельческих работ и попечений свободны будут; в каждом приходе каждый крестьянин, имеющий малолетнего сына, пришедшего в седмилетний возраст, непременно должен отдать приходскому своему священнику, диакону или причетнику, кому кто пожелает, а оные должны тех крестьянских детей обучать со всевозможным рачением; когда же в тринадцатилетний возраст вступит, буде прежде тех лет кто не выучится, тогда более ко обучению не понуждать, а отдавать отцам их с тем, кто что выучил, дабы в крестьянских работах остановки быть не могло». Дальше Афанасий рассматривает вопросы платы хлебом и руги, а также дешевого или бесплатного снабжения учебными пособиями. В замечаниях высокопреосвященного Гавриила речь идет о детях, преосвященного Афанасия – о сыновьях; полагаем, что имелось в виду и в том, и в другом случае только обучение мальчиков. § 6 заметок Афанасия требует заставить приходских людей и помещиков беспрекословно принимать священников из семинаристов, так как те имеют узаконенные преимущества. Таким образом, в Синоде созрело понимание возможности и целесообразности широкого распространения начальной школы (принимая во внимание просветительские иллюзии той эпохи, когда между образованностью и нравственностью усматривали прямую взаимосвязь).

Составители наказа Академии наук коллежскому советнику и профессору Фридриху Миллеру (с. 371–372), в § 3, констатируя нехватку и бесполез-

[1] Духовенство не обладало территориальным представительством; его пожелания выражал депутат от Синода, и в данном случае мы имеем дело с замечаниями к синодальному наказу.

ность училищ (в том числе из-за дурной организации), обещают представить в комиссию соответствующий проект – в будущем, поскольку на него требуется не меньше полугода. § 4 содержит жалобу на учителей-иностранцев и на то, что указ о них «почти без всякого остался действия, и сие злоупотребление по сии поры отнюдь не уменьшилось, ежели еще не возрасло». «Мадамы также и мамзели пользуются преимуществом учить и воспитывать наше юношество без одобрительного свидетельства о своем поведении, а в самом деле многие из них не только худого, но и бесчестного поведения. Для чего академия за полезное считает, чтобы выезжающие учители и учительницы привозили с собою одобрительные в поведении своем достоверные свидетельства и представляли бы оные при экзамене»[1].

Перейдем к наказам третьего сословия. В наказе московских жителей действительному камергеру князю Александру Михайловичу Голицыну (93, с. 131, п. 34) составители просят оградить купечество от конкуренции («Благоучрежденный порядок во всех государствах узаконивает, чтоб всякий чин и звание известный промысел свой производил, в который бы другие чины с пренебрежением принадлежащего им упражнения не мешались. Во уважение сего здешнее купечество всенижайшее просит, чтоб им в купеческих их промыслах и торгах ни от кого никакого подрыва и помешательства не происходило, и чтоб иностранные находящиеся здесь в домах учители, каммердинеры, мадамы и прочие, под страхом конфискации, ничем не торговали») и основать купеческое училище среднего уровня (с. 134, п. 45): «Здешнее купечество, прибегая в несомненной надежде к неизреченной щедрости Е. И. В., всеподданнейше просит, чтоб высочайше повелено было здесь учредить училища, гдеб нетокмо достаточных купцов дети на иждивении отцов своих и матерей, но и малолетние сироты на содержании всего здешнего купечества разным языкам, бухгалтерству и прочим купечеству необходимым наукам и знаниям обучаемы были», выказывая готовность содержать своих детей и – силами всего сословия – малолетних сирот.

Жители города Бежецкого Верха Московской губернии в наказе воеводской канцелярии канцеляристу Ивану Лесникову (107, с. 50, п. 3) просят: «По недостатку нашему, учредить для просвещения в детях учением разума школу за дальностию семинарий в здешнем городе, хотя неболшую, в которой бы обучатся как градские, так и уездные священно церковнослужителские дети. Естлиж желание чье будет, тоб и из других чинов грамматике и арихметике и протчим, каким соизволено будет, приличествующим священно церковнослужителским детям наукам с определением учителя с книгами на казенном, а обучающихся детей на собственном их коште». Просьба эта исходила от духовенства; впрочем, духовные лица готовы были допустить в свои школы посторонних. Жителей города Шлиссельбурга санкт-петербургскому купцу, а шлиссельбургскому жителю Матвею Белозерову наказ (107, с. 237, п. 8) гласит: «И естлибы оные (50 000 руб. для кредитов. – *А.Л.*) всемилостивейше пожалованы были, тоб можно из остав-

[1] Обстоятельства избрания Миллера: см. статью Антония Васильевича Флоровского «Академия наук и законодательная Комиссия 1767–1774 гг.» // Ученые записки, основанные Русской Учебной Коллегией в Праге. Т. I. Вып. II. Прага, 1924. С. 103 сл. Там опубликованы «Предложения к сочинению Академии наук депутату наказа…» (109–122), принадлежащие его перу. Финал, сохранившийся только на немецком языке, предлагает дать академикам право держать платных пансионеров, которые могли бы посещать публичные училища и пользоваться частными уроками, воспитываясь в добрых нравах. Профессор высказывает проницательное суждение: «Представляется, что на совершенно счастливую эпоху для наук в России нельзя и надеяться, пока дворянство не станет участвовать в оной таким образом, чтобы решиться употребить на попечение о них всю свою жизнь и занимать кафедры в университетах, что нередко у других наций» (121). Начала этого процесса придется ждать еще сорок лет…

ших за плетежем в казну четырех процентов содержать для обучения здешних жителей малолетных детей гражданскую школу, в которой бы можно обучать и некоторого художества». Чрезвычайно любопытен наказ тверских горожан Михайлу Вагину (подписи пяти священников и 72 купцов, 107, с. 432, п. 15): «В Твери, как особливою Е. И. В. милостию возобновляемом городе, в вечное прославление Е. И. В. имени учреждено б было для купецких детей училище, в коем обучать для лучшей способности и скорейшего окончания наук на российском языке грамматике, арифметике, истории, географии, реторике, философии с юриспруденциею и священной догматической богословии, но таким способом, который бы званию купца соответствовал, то есть был бы для купца и доволен, и не требовал бы весма долгого времени, чтоб купецкие дети, обучась оным, имели время обучаться и купечеству. И для сего училища дом, учители и потребные книги были б пожалованы из высочайшей Е. И. В. милости казенные. Также и ученики, дети неимущих граждан и осиротелые, кои пожелают в том училище обучаться, содержаны б были казенным коштом, ибо тверское купечество, от известного великого пожара пришедши в немалый упадок, на своем коште такого училища содержать не может»[1]. Это единственный в своем роде и очень курьезный документ, – сами по себе купцы никогда не просили «священной догматической богословии», и перед нами – очевидная попытка приспособить для потребностей торгового сословия семинарскую программу. Автору удалось ее «русифицировать»; в предметном наборе три слоя: начально-математический, традиционный для России XVIII в. (грамматика, арифметика), общий средний (история и география) и просто венец семинарской программы (риторика, философия, богословие), но без

[1] В Тверской семинарии с 1763 по 1770 г. все уроки велись на русском языке, что сделало ее доступной для горожан; позднее это было прекращено по распоряжению архиепископа Тверского Платона (Левшина) (*Вершинский А.Н.* Народное образование в Тверской губ. в XVIII в.// Материалы Общества изучения Тверского края. Тверь, 1928. Вып. 6. Подробнее см.: *Смирнов Н.П.* «Вопль купецких и разночинческих детей» в Твери, в XVIII в. (Продолжение) // Тверская старина. Исторический журнал. Декабрь 1911 г. Старица, 1911. С. 6 сл.); преподавание на русском языке богословия велось ректором Макарием Петровичем с дозволения преосв. Тверского Гавриила, будущего Петербургского митрополита. «Вопль купецких и разночинческих малолетних детей», адресованный преосв. Платону: «И хотя ваше преосвященство отеческою к нам будучи тронуто пользою, и повелели нас в ваших училищах обучать, – за что мы и приносим всенижайшее наше благодарение; но к великому сожалению, родители наши для обучения наукам нас в школы не посылают, рассуждая, что науки преподаются обыкновенно на латинском языке, чрез что мы понесем двойной труд и должны будем обучаться долгое время, оставляя между тем обучение того, что к знанию (sic! званию? – *А.Л.*) нашему особенно нужно. К томуж, говорят они, что латинский язык может в некоторых из нас умы утрудить, и чрез то охоту к дальнейшему в науках упражнению попортить, и сделать нас к тому неспособными, что де примечено и во многих семинаристах, которые, обучаясь латинскому языку и наукам, вдруг почувствовали в себе скуку, и оттоль лишась к наукам охоты, по довольном упражнении выходят не столь знающими, как бы желать должно». Далее формулируется просьба преподавать на русском языке, оставив для латыни тот статус, который сохраняется за греческим, прибавить к нынешним частям философии физику и натуральную историю, содействуя тому, чтобы для просвещения не надо было учить чужие языки; на этом прошении была следующая резолюция архиепископа: «Мне кажется давно бы могло, естьли бы только хотело, гражданство завести на собственном своем содержании порядочное преподавание наук природным языком; а для сего потребными учителями семинария, конечно бы, не отреклась снабдить» (*Карманов Д.И.* Собрание сочинений относящихся к истории Тверского края. Приготовил к изданию член Тверской Ученой Архивной Комиссии Владимир Колосов. Тверь, 1893. С. 157–160). А.Н. Вершинский (52 сл.) полагает, что Диомид Иванович Карманов был среди подписавших Наказ, хотя и не заявляет определенно о его авторстве даже в качестве гипотезы. Нам остается еще раз подчеркнуть уникальность плана.

латыни и вообще без иностранных языков. Жители Великого Новгорода в наказе д. с. с. Императорской шпалерной мануфактуры директору Александру Ивановичу Дебресану (с. 453, п. 6) ходатайствуют: «Хотя по регламенту магистратскому и велено иметь в городах школы, точию за бедностию просят градские жители всемилостивейшего вспоможения о учреждении казенной, яко в губернском городе, школы и учителей, в которую б для учения принимаемы были купецкие и других чинов жителей дети».

Наказ от купечества и цеховых людей елисаветградской провинции… депутату шанца Новомиргородского купцу Михайле Белезлому (147, с. 99–100, § 11, п. 3) гласит: «Мы же, нижеименованные, разных наций и языков, а единоверной восточной церкви и без особо сооруженной церкви, в коей бы находились священники иностранного православного народа, яко то греческого и волоского, для чего указать всемилостивейше коштом общества церковь сооружить и при ней священников иметь и для обучения всех купечества детей показанных языков книжному чтению школы устроить, учителей содержать на коште нашем общественном». Наказ от города Сердоболя Выборгской губернии просит (147, с. 329, п. 2) «Сей город доброю школою, учителей оной достаточным жалованьем всемилостивейше снабдевать, чтоб юношество в христианском законе, потребных языков знаниям и наукам обучаемо, в церкви полезными членами, в обществе добрыми согражданами и верными В. И. В. подданными быть могло».

Если воронежское дворянство, как мы видели, не проявило активности, то третье сословие губернского центра с лихвой компенсировало это упущение (144, 206–208, п. 6)[1]:

«О учреждении по губерниям для обучения канцелярских служителей и других чинов людей детей школ. Изъяснение выбранному города Воронежа от граждан голове для препоручения отправляющемуся в Комиссию о сочинении проекта Нового Уложения депутату от общества города Воронежа приказных служителей. Именными… Петра Первого и Правительствующего Сената состоявшимися в прошлом 714 февраля 28, 715 декабря 28-ж, 716 генваря 18 и 720 годов апреля 30 чисел указами узаконено было, чтобы во всех губерниях подьяческих и всякого чина людей детей, кроме дворянских, от десяти до пятнадцати лет учить цифири и некоторую часть геометрии… а наконец в сходствие того и в прошлом 1763 году, декабря 15 дня, именным Е. И. В. указом высочайше повелено при Московском университете и при Санкт-Петербургской академии наук, и в Казани при гимназии из разночинцев малолетних и из детей приказного чину, кои способны явятся, обучать не только правописанию и хорошему слогу, но отчасти арифметике, геометрии и географии, а наиболее положению Российского государства, для чего иметь всегда на казенном содержании в Москве до осьмидесяти, в Петербурге до сорока, а в Казани до шестидесяти человек, из которых по обучению предписанному определять, как в сенат, так и в другие присутственные места в копиисты, которых потом по усмотрению их прилежности и производить по порядку. Но дабы для обучения вышеписанным наукам учредить означенные школы и в других Российского государства губерниях, о том в предписанном именном Е. И. В. указе повеления и тем школам во оных губерниях учреждения не имеется, а за тем неучреждением общество признавает неполезность ту, что за неимением тех школ, как канцелярские служители, так и прочие граждане малолетних своих детей для обучения только словесному и писать принуждены отдавать в партикулярные руки, яко то разных чинов людям таким, кои почти и в том самом совершенного знания и искусства не имеют, чрез что те малолетние не только соответствующих государственной

[1] Пункт с аналогичными пожеланиями содержится в изъяснении служащих Воронежской духовной консистории (с. 211).

и общенародной пользе наук лишаются, но и до обучении словесному и письму желаемого успеха не получают и остаются на все время их жизни в жалостном и крайнем своем невежестве, а от того как к воинской, так и статской службе делаются малоспособными.

Чего ради в Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения представить, не соизволено-ль будет во отвращение вышеизъясненных неполезностей и получения государственной и общенародной пользы, и в каждом губернском городе, где школ не учреждено, для обучения канцелярских служителей и прочих сограждан малолетних детей под единственным и собственным господ тех губерний губернаторов попечительным смотрением утвердить школы с потребным числом учителей, и содержать оных учителей так, как и во означенных выше сего губерниях повелено из собираемых на жалованье статским чинам новых доходов, на которое содержание и сумма потребна весьма небольшая; место-ж для обучения тех малолетних служить может, как вышеозначенными узаконениями повелено было, архиерейские дома, или монастыри, или же где по рассмотрению тогда господ губернаторов за наиспособнее признано будет; что ж касается до принадлежащих к тому обучению книг и прочего, оное все доставлять тем малолетним может отец или свойственники его, на чьем воспитании тот малолетний находится, и буде оное согласно с тем представлением апробовано будет, то дабы и узаконено было в реченные школы принимать тех малолетних детей столько, сколько кто оных добровольно отдать пожелает, возрастом не свыше десяти лет, а быть им в том обучении до шестнадцати лет, а по прошествии пятнадцати лет выпускать их в воинскую и статскую службу, куда кто сам добровольно определиться пожелает, и при тех выпусках, какое кто в науках знание и особливое искусство получил, господам губернаторам и учителям давать им за руками своими аттестаты. Выгоды-ж, как государству, так канцелярским служителям и прочим сограждам от учреждения в губерниях школ произойти могут следующие: 1) Избавятся малолетние дети от невежества и грубости, в которых бы они, не будучи просвещены науками, во все время жизни своей погребены были. 2) По вступлении-ж в военную и статскую службу пред небывшими во оных в должностях своих особливое знание и искусство возымеют и через то государству и всему обществу полезными быть могут. А наконец 3) как сами они, так и сторонние восчувствуют свою собственную пользу, единственно от наук происходящую, и потому возымеют как вступать в те школы, так потом по выбытии из них в другие должности к высокой Е. И. В. службе ревностную охоту».

Жители г. Ряжска Воронежской губернии в наказе депутату Ивану Авраамовичу Елфимову (144, с. 251, п. 46) требуют от правительства решительных – в петровском духе – мер: «Российской империи во всех городах непременно школам со учителями надобно быть, дабы такое нужное и богоугодное дело, которое человека совершенным и государству полезным делает, повелено-б было в действо произвесть, и быть им на казенном иждивении в ведомстве одних только магистратов, другим же никаким правительствам и звания людям в них никакой власти не иметь. Магистратам, непременно, подтвердить о добром содержании всего того, паче же о воспитании детей прилагать всевозможное старание, дабы они обучены были, сверх искусного понятия закона и письма, арифметике, бухгалтерии, навигации и геометрии, а сверх того и о прочих принадлежащих до коммерции науках стараться; ежели-ж кто из сих детей высоким наукам непонятен окажется, таковых обучать рукомеслам и художествам, кто к чему склонен и охотен окажется, дабы никто без науки в праздности не закоснел; кто-ж будет от оного детей своих укрывать и в школы не отдавать, таковых отцов штрафовать на содержание сих школ, да сверх того, который из сих детей, согласясь потачке отца своего и матери, с школы сойдет без воли и отпуску главного учителя, тому, в силу 1714 года именного указа, запретить жениться».

В другой южной губернии – Белгородской – тоже проснулись образовательные потребности; об этом свидетельствует наказ жителей города Белгорода белогородскому губернскому секретарю Андрею Ильинскому (144, с. 409, *О приказных служителях*, п. 3): «Детей же их, состоящих от семи до шестнадцати лет, как словесной грамоте, так писать и математической науке обучать в казенных школах и на казенном содержании, как и прежде узаконено было, а по произведению им тех наук, когда они придут в совершенный от шестнадцати лет возраст, дозволить оным вступать в службу, в какую кто пожелает и достоин будет…».

Граждане города Вязьмы Смоленской губернии (134, с. 105, п. 17, *О содержании школ для купеческих детей при магистратах*) в своем наказе просят: «Для обучения малолетних купеческих детей, а паче неимущих и сирот… из гражданских доходов и экономии содержать при магистратах и ратушах школы и обучать российской грамоте читать, писать, арифметике и бухгалтерии, чтоб ни один купеческой и цеховой сын, неумеющий грамоте, не был и по миру не ходил. И для того имеющим достаток о воспитании детей прилагать всевозможное старание, дабы они обучаемы, сверх искусного понятия закона и письма, арифметике и бухгалтерии, а по желанию и другим наукам. <…> Кто ж купцы и цеховые, имеющие достатки, собою обучать не будут, а не имеющие достатка будут от оного детей своих укрывать и в школы не отдавать, таковых отцов штрафовать – первой гилдии по пятидесяти рублев, второй по двадцати по пяти рублев, третьей по пяти рублев, которые штрафные деньги взыскивая магистратам употреблять на содержание вышеобъявленных школ и госпиталей».

Расставаясь с русским третьим сословием, нельзя обойти молчанием трогательный и скромный наказ Лихвенского уезда Великовенского стана деревни Кулешевой от засечных поместных сторожей (Московская губерния, 115, с. 95, п. 2)[1]: «Подобное-ж сему желаем, чтоб мы и потомки наши прибежными всегда обращались к церкви Божией, а для сего необходимо за нужное находим достижение в жизни нашей, оставших века сего дней, наук и наставления богоугодным делом, то есть духовным а притом и светским и благосостояния, а к отвращению и вечному забвению худых и беззаконных дел, коих хотя и не оказывается, но к предосторожности от того впредь нужны есть наставники, суть и учители духовные и светские довольно знающие законы и добрые поведения».

А вот бюргерство Лифляндии делит шкуру неубитого медведя. Жители Императорского города Дерпта просят (147, с. 274, п. 7): «Если В. И. В. соизволите бывшую прежде сего в Лифляндии академию восстановить в том месте, где она с самого начала учреждена была, то город Дерпт, по весьма удобному местоположению своему, яко лежащий почти в середине самой Лифляндии, от того получил бы великую прибыль. Депутат… Фридрих Конрад Баденхаус». Но того же хотели жители Пернова и аргументируют подробнее (с. 282–283, *Наказ от мещан гильдии св. Магдалины города Пернова*): «1. Просим, чтобы В. И. В. всемилостивейше соблаговолили восстановить бывшую здесь академию или университет. Происходящая от того польза, как для нашего народа и для всей земли и государства, так и для всех и каждого оного чина весьма важна. Гораздо бы больше нашлось охотников обучать своих детей наукам, которые ныне сие упускают, отчасти недостатка ради потребного к тому иждивения, отчасти опасаясь отпускать своих детей в чужие края и между чужих людей, где их родителям ни видеть, ни за их поведением и поступками присматривать не можно. А для того многие обучающиеся в чужих краях себя и своих родителей в бедное приводят состояние и разорение и со всем тем ничему основательно не научa-

[1] С ним сходен и наказ Козельского уезда Окологородного стану деревни Слаговищ от засечных поместных сторожей (там же, с. 96).

ются, но время свое в лености, роскоши и распутном житии препровождают, и уже много, когда они возвращаются в свое отечество, обучившись словесным наукам, со испорченными нравами и поврежденным здоровием, следственно, самим себе и своей фамилии наносят стыд и потом, яко непотребные и негодные сочлены отечества, шатаются и служат к омерзению, чему, сожалительно, многие имеются примеры. Напротив того, если-бы в здешней земле был университет, то бы родители часто могли навещать своих детей, малым иждивением исправлять их нужды и надобности и иметь неусыпное смотрение над их поведением и поступками, да и дети их не так бы легко могли вдаваться в распутное житие, чрез что государство могло бы получать благонравных и способных подданных. Ныне же выходят ежегодно более 20-ти и 30-ти тысяч рублей для учащихся из государства, из которой суммы ни мало назад возвращено не будет, и следственно, если-бы здесь по прежнему заведен был университет, то бы все деньги оставались в государстве и больше бы купцов и ремесленников в здешнем городе домами заводились и находили бы свое пропитание, а чрез них и учащихся расход бы на все напитки и потребные, как на одежду, так и пищу, вещи умножился, следовательно, и казенные доходы: пошлина и акциз, знатное бы возымели приращение. И сверх того, ни одного так способного для университета места во всей Лифляндии нет, как Пернов, ибо сей город лежит в средине земли и у моря, почему учащиеся изо всех мест в оный приезжать могут, особливо с острова Эзеля, Догена и Мона, которым, если-бы такой университет был в Дерпте, ездить туда далеко и трудно; также бы и из чужих краев не посылали детей своих учиться в Дерпт, но, напротив того, гораздо охотнее в Пернов, понеже морем легко можно пересылать им потребное на их содержание. Иноземцы бы лучше посылали своих детей сюда для обучения, если-бы такой сделан был закон, чтоб никакого студента в здешнем государстве не принимать ни в какой чин и должность, кто здесь не учился три года и не окончил академического курса. В Пернове и по той причине скорее и легче завесть можно университет, что в оном еще академическое строение находится в добром состоянии, но в Дерпте никакого нет, для чего там на постройку потребны великие издержки и долгое время. Что касается до потребной на содержание университета профессоров денежной казны, то и оную легко собирать можно, ибо как университет служит к знатной пользе и благосостоянию земли, то не несправедливо, чтоб оная земля к тому и доставляла иждивение, чего жители оной ни мало чувствовать не могут, когда, например, каждый владелец, как публичных, так и приватных маетностей, ежегодно заплатит один рубль с каждого гака на содержание университета. Иоганн Фридрих Гауфф, депутат…».

Победу одержал Дерпт; но это случится позже.

Вопросы сословного образования на заседаниях Комиссии

В целом можно сказать, что дворянство опередило другие сословия в стремлении распространять образование среди более широких слоев общества и проявило менее сословной замкнутости. Выдающиеся представители духовенства и вовсе выдвигали проекты всенародного просвещения. Теперь необходимо взглянуть, как образовательная проблематика была озвучена на заседаниях комиссии. Так как комиссия прежде всего обсуждала законы о статусе сословий, точно так же – по сословиям – сгруппируем высказанные мнения и мы. С одной стороны, дворянство отстаивает свои привилегии, в том числе и образовательный ценз.

Мнение депутата от Муромского дворянства Ивана Чаадаева (4, 154) таково: «Получаемое дворянами воспитание в учрежденных для них училищах и приобретаемые ими познания в науках, возводя добродетельных дворян на

высокие степени, составляют из них государственные правительства, как то: сенат, коллегии и другие правительственные места, доставляют способ иметь благоразумных министров, а во время войны искусных предводителей; одним словом лица, принадлежащие к сему сословию, суть наилучшие и полезнейшие в государстве. Напротив того достигающие таким легким способом, т. е., с офицерским чином, дворянского достоинства, не имея никаких способов получить такое же воспитание как дворяне, и чрез то лишаясь всякой надежды достичь тех высших степеней, с которыми также соединены и средства к безбедному существованию, находятся принужденными разными неправильными и не дозволенными способами приобретать иждивение для содержания себя в старости»[1].

Князь Щербатов лоялен к служилому сословию Сибири, которое считало себя дворянами, не встречая понимания у своих собратьев в европейской части страны (4, 161): «Для этих дворян надлежит учредить в главных городах Сибири школы нужнейших наук, дабы в эту страну сколь возможно проникало просвещение. Тех из обучающихся в сих школах, которые покажут отличное прилежание и подадут надежду, что могут быть способны к высшему образованию, по их желанию и с позволения родителей их, присылать в академию наук и университет для окончания наук».

Дворяне хотят законодательно определить круг дисциплин и уровень владения ими, нужный для экзамена (32, с. 212–214, 337). Воронежский депутат от дворянства Степан Титов «представляет, чтоб о заведении оных (училищ), хотя по провинциям, предписать порядок, паче ж всего изыскать средство, откуда сумму денег назначить, чтоб без тягости казне и дворянам, а без того оные заведения не будут» (32, с. 299).

При обсуждении духовного образования депутат от Медицинской коллегии барон Георгий (Егор Федорович) Аш (8, с. 356) предлагает воспользоваться зарубежным опытом: «Юношество, как на пример в Швеции, которое в университетах определяется на богословие, старается при том приобрести себе некоторое познание и во врачебной науке. Оно по собственной своей склонности обучается физике, натуральной истории и разным частям медицины. Чрез сие обучение они делаются способными, при старании о спасении душ своих прихожан, пользовать их и от телесных болезней. <…> В империи же столь обширной, какова есть Россия, такое учреждение могло бы, сверх упомянутой пользы, подать также повод ко многим открытиям, касающимся до натуральной истории, и именно, к отысканию таких произрастений, которые нам еще неизвестны. Может ли такое упражнение ученым священникам быть приятнее, а государству полезнее?»[2].

Выдвигались и проекты купеческого образования. Так, депутат от дворянства Любимского уезда Никифор Толмачев (8, с. 36–37) заявил: «На основании 377 статьи Наказа должно учредить для мещан училище, в котором обучать русской грамоте и изъяснению государственных законов. Для сего в небольших городах определить учителей из отставных унтер-офицеров или из приказных, по способности, с жалованьем от магистрата. Таковым учителям и их детям дать

[1] Эту позицию оспаривает депутат Гадяцкого, Миргородского и Полтавского полков Николай Мотонис (4, с. 170): «В нашем пространном государстве можно сыскать множество людей всякого звания, которые преизрядно воспитывают своих детей; порочные бывают во всяком звании; учатся наукам и художествам и мещанские и других сословий дети; а отцы их служат ревностно государю и отечеству».

[2] Его поддерживает депутат от казаков Оренбургской линии Харитон Самсонов (с. 381): «Действительно, для чего и нашим священникам, обучающимся в семинариях, чрез чтение и собственное упражнение, не быть в состоянии того ж делать, что делают в Швеции».

права граждан; в больших же городах учредить высшие училища, в которых, сверх вышеписанного, обучать немецкому и английскому языкам и мореплаванию». Депутат от Коммерц-коллегии Сергей Меженинов (с. 73) повторил старую, еще петровскую мысль: «Для обучения коммерции и бухгалтерии можно будет посылать купеческих детей, по желанию их отцов, в чужие краи… для обучения навигации, полезно было бы учредить при адмиралтействе штурманскую школу, в которую принимать детей бедных купцов…». Степан Самойлов, депутат от города Енисейска (с. 161), высказался по поводу программы купеческого училища: «Что же касается до нужных купцу наук, то, кажется, они могут быть следующие: познание Закона Божия, российская грамота и чистое письмо, немецкий язык и другие, если найдутся учители, арифметика, знание разных товаров и цен их, также мер и весов, география и история». Афанасий Ларионов, депутат от города Симбирска (14, с. 201–202), рассуждая о трудностях с приказчиками, говорит: «По моему мнению, все это происходит от невежества и от неученья. Поэтому я представляю почтенному собранию, как необходимо быть у купечества училищу. Это я считаю за нужнейшее. И какое великое дело, чтобы купеческие дети были ученые: ибо от пяти до пятнадцати лет они имеют праздное время…». Предметы: арифметика, навигация (Тихий океан), иностранные языки, бухгалтерия. Но его программа шире: «…Не только купеческих, но и всякого земледельца детей, где есть священники, надлежит обучать грамоте от пяти до семи лет, чтобы они знали Закон Божий… Но еще более надлежит учить новокрещенных Чувашей и народ Мордовский и Черемисский; ибо живущие между ними Мухамеддане имеют обыкновение не только в больших деревнях, но и в малых, где не более как двадцать дворов, содержать училище для обучения малых детей; тем нужнее нам, православным, надлежит заботиться о таком важном деле. При нынешнем проекте Нового Уложения это надлежит внести в закон: которые не захотят учиться, а будут пребывать в лености и праздности, с таковых взыскивать пеню».

Академия наук пыталась отстаивать преимущество ученого сословия перед мещанством (36, с. 192): «…Труднее снискать богатство науками, нежели ремеслом или художеством или купечеством. Сего ради и больше богатых ремесленников, художников и купцов, нежели ученых, и, обыкновенно, бедность – ученых участь. И для того, ежели науки не лучшие иметь будут выгоды, как художества и купечество, то и нет надежды, чтобы оные в России возрасли когда и вкоренилися; потому что весьма натурально, чтобы стремиться к той мете, к которой с такою же выгодою поскоряе и легче достигнуть можно». Впрочем, частная комиссия о среднем роде людей не согласилась с этими позициями (с. 194).

Депутаты от Бахмутского гусарского полка Авраам Рашкович (14, с. 47), от Лифляндского земства фон Блуден (с. 48) и от города Хлынова Петр Карякин (с. 104–105), желая повысить юридическую подготовку чиновничества, вносят соответствующие предложения. Депутат от Уфимского козацкого войска Прокофий Бурцов (с. 116) выступает за просвещение казачьей окраины и предлагает следующее: «Хотя Оренбургской губернии в козацких войсках российской грамоте, а другие и арифметике отчасти и обучаются, но по неимению в этой губернии искусных учителей, правописания и хорошего слога не достигают. В следствие сего, сообразуясь с сим высочайшим материнским попечением[1] о восстановлении России на высшую степень, всенижайше представляю, не апробуется ли из высокоматеринского Е. И. В. милосердия назначить и из козацких войск посылать для того обученья из Оренбургской губернии, а именно, из Оренбурга, из Уфы, из Исетска, по три или по два человека, по способности, в Казанскую гимназию в число шестидесяти человек, а от других войск по та-

[1] ПСЗ 11.989.

кому же числу, где от которого посылать способно, а повелеть обучать их на казенный кошт. Когда они обучены будут, то их переменять другими. Чрез это без сомнения окажется добронравие, благопристойность и размножение ученых во всех частях столь пространного государства. Неумеющих же российской грамоте во всех козацких войсках, как то и в полках водится, не только в войсковые старшины, но и в ротные начальники не производить, а разве жаловать только в капралы».

Активный депутат от пахотных солдат Нижегородской провинции Иван Жеребцов (мы с ним уже сталкивались) высказывает такое пожелание (32, с. 398): «Также по силе данного нам большого Наказа нашей Попечительницы 158 отд. и для того предписать надлежит, чтобы во всех школах учили детей грамоте попеременно из церковных и из тех книг, кои законодательство содержат. И того ради высокопочтенному собранию представляю на ваше полезнейшее рассуждение, чтобы из служилых людей учинить детские школьные учения, от чего может воспоследовать общественная великая польза по такой причине, понеже те ученые люди для государственных надобностей, так и вотчинному правлению могут быть завсегда способны. А для содержания того учения подлежит учредить в знатных селениях, чтобы при тех селах для пропитания их новых студентов и торги могли быть; а ежели те служилые люди имеют селения свои малыми людьми, то для правления того учения приложить к ним государственных крестьян, дабы каждое правление было тысячи по три или по четыре мужеска пола душ; а жалованья тем как учителям их и ученикам также и на книги – как соблаговолит наша Попечительница и благопочтенное собрание гг. депутатов».

Эта реплика вызвала оживленную дискуссию. Депутат города Пензы купец Степан Любавцев (с. 411) возражал: «Требует он, господин Жеребцов, чтоб учредить для обучения их малолетних детей школы. Оное весьма излишне: земледельцу то и школа, чтоб обучать детей с малолетства хлебопашеству и прочим домовым работам. А ежели они с малолетства будут употребляться в науки, то уже к земледелию и прочей работе склонить будет никак невозможно. Да и в самом деле это есть по городу Пензе: содержащих ланд-милицию пахатных солдат, положенных в подушной оклад, – около трех тысяч душ, из которых и без школ многие обучились грамоте и писать и происками произошли, хотя и в противность указу, в секретари, в регистраторы и в прочие приказные служители многие, а прочих множественное число, прежде подтвердительных о неимании взяток указов, извыкли, ездя по уездам, содержать себя тем и с домом. Ныне же, как то указами запрещено, так от таковых, находящихся в праздности, всему обществу никакой пользы, кроме вреда, быть неуповательно, ибо не имеют они к земледелию и к работе прилежности, вдаются во многие непотребности: в обман, в мотовство, леность и воровство, а данные им земли многие остаются без хлебопашества и лежат впусте». Его земляк, депутат от пахотных солдат Пензенской провинции Егор Селиванов, поддерживает своего собрата (с. 431): «От чего может последовать слава, как не от просвещения? а просвещение чрез что может вкорениться, как не чрез учреждение училищ…».

Ивана Жеребцова решительно поддержал депутат серпейского дворянства гр. А.С. Строганов (с. 457): «Мнение господина депутата Жеребцова о заведении школ для пахатных солдат есть столь справедливо, что не могу преминуть – воздать оному господину депутату достойной похвалы. Я при том за долг себе почитаю оное представление распространить и до самых хлебопашцев. Действительно, почтенное собрание, заведение училищ и для сей столь полезной части общества за необходимое почитаю; ибо едино просвещение человека от скота различает; едино просвещение показывает нам долг к Богу, к Государю и к обществу. На что нам далеко искать примеров, до каких бедств доводит нас невежество? Без ужаса представить себе не могу плачевное позорище умерщ-

вленных своими собственными крестьянами помещиков. Еще год не минул, как подобный злоумысел почти в глазах наших предприемлем и совершен был: сии злодеи, подобные диким зверям, не токмо господина своего размучив, умертвили, но жену его и нерожденного еще младенца из недр ее вырвали. Я уверен, почтенное собрание, что если бы просвещеннее сей род людей был, то, конечно бы, подобных свирепств мы свидетелями не были. Итак вы сами видите, сколь училища для крестьян полезны. И когда оные из тьмы невежества выйдут, тогда и достойными себя сделают пользоваться собственностью и вольностью». Это очень смелый тезис; по-видимому, самое смелое, что было сказано в заседаниях, – мысль, почти на столетие обогнавшая свое время.

Этим аккордом нам хотелось бы завершить очерк. Один из богатейших людей России, знаток искусства и меценат, личный друг Императрицы, безусловно, был весьма авторитетной фигурой в этом блистательном собрании. Но дискуссия на этом не закончилась. Следующее выступление – одно из самых любопытных, поскольку до него мы имели дело лишь с теоретическими рассуждениями. Депутат Клинский от дворянства Петр Орлов (с. 521–522) поддержал мнение Строганова: «Просвещенное познание всего нужнее для одушевленной твари, которою есть человек; но сие познание очень редко бывает соединено с природою, следовательно, получается оно от наставления, что преподается не инде, как в училищах.

Но опасаюсь, изящнейшие господа, утрудить вас продолжением. Позвольте только мне представить в слабый пример худой мой собственный опыт. Я в моем селении, которое состоит в том уезде, коего от дворянства я выбран депутатом, имею самую нижнюю школу, где обучаются российской грамоте и письму крепостные мои селянские дети в такие лета, в кои не могут обрабатывать землю и след. хлебопашеству еще не нужны. Два или три отрока из обучившихся показывают уже мне, сколько они отменны от состаревшихся в невежестве: они уже говорят лучше и читают письма; они сами собою из чтения книг находят, чем они обязаны Богу, Государю, отечеству и, наконец, по законам, помещику своему; они читают дома семейству своему священные книги; они уже не только помышляют о предприятиях к своему содержанию, которым не были бы тягостию своему семейству; а при всем том, сколько возраст (пятнадцать или шестнадцать лет) обучившихся позволяет, в хлебопашестве упражняются, так как и неграмотные. Одним словом, они уже заслуживают, что можно им приказать, поверить и надеяться».

Впрочем, и эта точка зрения встретила возражение. Обоянского дворянства депутат Михайла Глазов, ссылаясь на Большой Наказ, отвечал (с. 533–534): «Представляет он, господин депутат, что от шестнадцати лет и ниже обучать грамоте, что и признавать изволит за полезное. А по мнению моему, оного учинить, за немалым отягощением народу, невозможно… Взять оных всех в училище – должно сложить с них государственные поборы: убытку воспоследовать может миллион или более, земля та, которую они работали, будет пуста, дом того крестьянина со всем должен разориться, женский пол того дому кто кормить и питать станет? А должно при всякой церкви быть училищу. Учить: первое, людей церковного чину, что самый нужный член православной нашей веры, в сходственность обучать купецких детей, також и отставных унтер-офицерских и солдатских детей; владельцам же, ежели пожелают, отдавать обучать праздношатающихся, коих содержать должны на своем коште, без принуждения…».

И этот скептический аккорд будет завершающим.

* * *

Итак, на заседаниях и в наказах уже звучат мысли о всеобщем обучении, даже и крепостных; они высказываются выдающимися представителями выс-

шей аристократии и духовенства. У общества есть потребность в формировании сословных систем образования – дворянского (с определением круга наук и уровня их изучения), нужного для государственной службы, и купеческого. Звучат многочисленные пожелания о повышении образовательного ценза духовенства. Все эти мысли проникнуты просветительской, сократовской иллюзией о том, что просвещение само по себе приведет к исправлению нравов. Наряду с «эгоистическими» сословными установками наблюдается готовность приносить материальные жертвы для создания училищ и содержания в них тех, кто сам оплатить его не способен; в некоторых случаях эти модели сословного образования выглядят как обязательные. Складывается ядро среднего образования, общее для благородного сословия и «буржуазии» (мещан), а именно математика и грамота; новые языки признаются полезными для тех и других, но фигурируют в пожеланиях далеко не всегда. Наряду с общеобразовательными предметами, которые также могли бы стать общим элементом среднего образования (история, география), есть и специальные (коммерция, навигация, бухгалтерия, инженерное искусство, архитектура и артиллерия).

Учитывая, что о воспитании говорит меньшинство, мы не можем сделать вывода о готовности общества к широким образовательным новациям. Отметим еще младенческий, наивный утилитаризм: предметы избираются нужные для жизни и для службы, и если им и придается развивающее значение, то только воспитательное. Тема интеллектуальной самостоятельности и состоятельности громадных масс русского населения не озвучена ни правительством, ни обществом, хотя наличные школы *работают* (и далеко не бесплодно) и продвигаются как раз в этом направлении. Впрочем, экстенсивный рост населения, к которому общество постепенно готовилось, дал бы – за счет более широкого отбора – и качественный выигрыш. Потому остается только пожалеть, что лавры отвлекли внимание от олив, и турецкая война помешала создать новое законодательство, в котором было бы почетное место и для школы[1].

Теперь остановимся на деятельности частной Комиссии об училищах и призрения требующих[2]. В нее были избраны депутаты Владимир Золотницкий, Александр Угрюмов и Яков Урсинус. Маршал Большого собрания добавил к ним Алексея Ивашкина и бар. Георга Аша. Впоследствии состав комиссии неоднократно менялся; самыми деятельными ее членами были Золотницкий, Тимофей фон Клингштедт, Аш и Урсинус. Комиссия, на законодательном уровне разрабатывающая соответствующую область, получила инструкцию, в которой было сказано, что домашнее воспитание передано Комиссии «о разных установлениях, касающихся до лиц». «Общие училища составляют некоторое общественное воспитание и впечатлевают в юные сердца некоторое единообразие мыслей, или полагают первое основание народного умствования, почему учреждению о училищах не столько о хитростях наук, как паче о сем памятовать надлежит, чтоб дети обучались познанию должностей человека, в обществе жить имеющего»

[1] Ср. Артамонова, 56: «Думается, что и работа Уложенной комиссии в целом, и деятельность частной „Комиссии об училищах и призрения требующих“, и проекты, которые попадали иными путями к Екатерине от других лиц и учреждений, все же сыграли свою роль, пусть даже не очевидную. С одной стороны, Императрица убедилась, что стремление к образованию было вовсе не редкостью в русском обществе. С другой стороны, различные общественные группы, не исключая представителей провинции и даже крестьянства, вынуждали верховную власть не оставлять без рассмотрения проблему создания массовой школы, выходящей за границы столичных городов, не сводить эту проблему к привычному развитию сословных и профессиональных школ, не подменять ее реальное решение благими утопиями».

[2] *Рождественский.* Очерки…, 296 сл. Документы – он же. Материалы, 144 сл. Ссылок на страницы мы далее давать не будем.

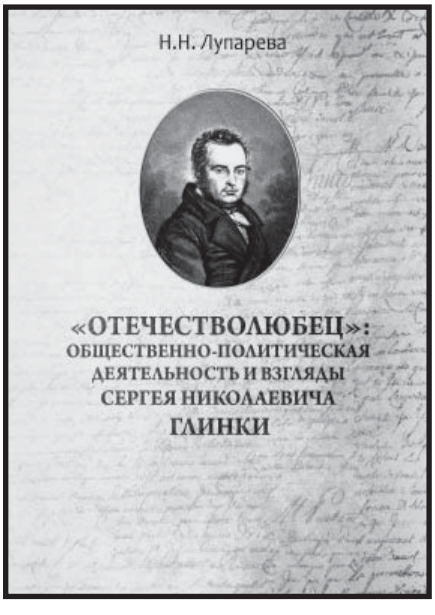
(Материалы, 144). По поводу семинарий рекомендовалось войти в сношения с Комиссией о церковных имениях. Комиссия представила «Краткий план» – переработку данной ей инструкции. Разделы этого плана, посвященные нижним и средним училищам, мы приведем полностью:

> *Часть 1-я. О нижних училищах*.
> 1) В сей части низшие училища состоять будут из двух родов: в первом поставлены будут деревенские школы, а во втором городские приходские и прочие таковые училища, соображая оные с состоянием и положением тех мест, где они назначены будут. Здесь также не оставлено будет обстоятельно упомянуть о школах для детей разных иноверческих народов, находящихся в России, причем предписан будет способ наставления оных.
> 2) На каком быть оным всем училищам основании? От кого зависеть? Также чему во оных обучать, а при том о содержании и должности учащих.
>
> *Часть 2-я. О средних училищах*
> 1) О разделении оных на два рода, из которых в первом поставлены будут училища при госпиталях, гимназии и семинарии, а во втором кадетские корпусы и академии художеств. 2) О состоянии и содержании средних училищ, также и о средствах оного содержания. 3) О составляющих сии места людях, как то о учащих, учащихся и о прочих для разных званий чинах. 4) От кого и каким образом оные места будут зависеть? Также о способе или о внутреннем распоряжении в рассуждении учения».

Составители плана упоминали «Главное правление училищ» – вводя, таким образом, орган с функциями будущего Министерства просвещения. Отчасти это будет осуществлено в 80-х гг. Кроме плана, в дирекционную комиссию были направлены записки Золотницкого, который считал документ Комиссии слишком общим и ничего не говорящим и развивал некоторые выказанные в нем идеи (гимназии и семинарии Золотницкий ставил ниже кадетских корпусов и академий художеств). Начальное воспитание Золотницкий считал всеобщим и предлагал вводить «без всякого насильного принуждения», а дальнейшее – «личное, то есть свойственное и нужное разным состояниям детей различно». Клингштедт предлагал исключить из документа общие рассуждения о том, что такое училища, убрать преждевременное упоминание об иноверческих училищах, не считал вопрос о кадетских корпусах и академиях художеств входящим в сферу компетенции комиссии. В защиту плана высказались остзейцы – Аш и Урсинус. Дирекционная комиссия, получив эти материалы, сообщила училищной комиссии свои заключения; но новый план, соединяющий эти разработки, составлен не был. С января 1769 г. комиссия приступила к проектированию отдельных статей образовательного законодательства. Интересно, что окончательное заключение о высшем органе учебной администрации было отрицательным: «…чтобы особливого правления не делать, а подчинить оные Правительствующему Сенату». Вполне разработан был проект низшего образования, план среднего образования не получил окончательной отделки, а университетский вопрос был едва затронут. С.В. Рождественский, в противоположность Д.А. Толстому, полагает, что «Екатерина не обошла вниманием и деятельности училищной комиссии».

Опыт «Отечестволюбия» С.Н. Глинки

Часть первая



Лупарева Н.Н. «Отечестволюбец»: общественно-политическая деятельность и взгляды Сергея Николаевича Глинки. Воронеж: Новый взгляд, 2012. 216 с.

Из Главы II. С.Н. Глинка во главе «Русского вестника» (с. 59–103)

Из Главы III. Деятельность С.Н. Глинки в период Отечественной войны 1812 года (с. 135–140)

Из Главы IV. Эволюция идейно-политических взглядов С.Н. Глинки (вторая половина 1810-х – 1840-е гг.) (с. 164–171)

Заключение (с. 179–184)

Оглавление

Введение

Глава I. Становление идейно-политических взглядов Сергея Николаевича Глинки
§ 1. Детство Сергея Николаевича Глинки. Обучение в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе
§ 2. Военная служба. Начало литературной деятельности С.Н. Глинки

Глава II. С.Н. Глинка во главе «Русского вестника»
§ 1. Начало издания «Русского вестника». Антизападнический пафос журнала
§ 2. Консервативно-националистическая программа «Русского вестника»
§ 3. Прекращение издания журнала. «Русский вестник» в глазах общественности

Глава III. Деятельность С.Н. Глинки в период Отечественной войны 1812 года
§ 1. «Шатобриан московского ополчения»: роль С.Н. Глинки в московских событиях 1812 г.
§ 2. Патриотическая риторика и антифранцузская пропаганда «Русского вестника» накануне и в период Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии
§ 3. Отечественная война 1812 года в воспоминаниях С.Н. Глинки

Глава IV. Эволюция идейно-политических взглядов С.Н. Глинки (вторая половина 1810-х – 1840-е гг.)
§ 1. Педагогические проекты С.Н. Глинки
§ 2. «Цензор без страха и упрека»: С.Н. Глинка в Московском цензурном комитете
§ 3. Восточный вопрос в сочинениях С.Н. Глинки
§ 4. Последние годы жизни. Эволюция идейно-политических взглядов С.Н. Глинки

Заключение

Список источников и литературы

Из Главы II.
С.Н. Глинка во главе «Русского вестника»

§ 1. Начало издания «Русского вестника». Антизападнический пафос издания

25 июня 1807 г., после поражения русских войск под Фридландом, Россия была вынуждена подписать невыгодный для нее Тильзитский мир. Этот трактат фактически низводил ее до положения сателлита наполеоновской Франции, вынужденного действовать в русле ее внешнеполитических планов и присоединиться к континентальной блокаде своего основного торгового партнера – Англии. Мирный договор вызвал ощущение униженности и ущемлял экономические интересы России в целом и дворянских кругов в частности, что способствовало дальнейшему росту националистических тенденций. Ф.Ф. Вигель вспоминал, что образованное общество восприняло Тильзитский мир с Наполеоном как «порабощение ему, как признание его над собою власти»[1]. А по словам Д.В. Давыдова, после 25 июня 1807 г. «1812 год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть»[2].

Охватившие общество антифранцузские настроения и жажда реванша[3] нашли наиболее яркое воплощение в памфлете Ф.В. Ростопчина «Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева», явившемся своего рода манифестом складывающегося русского консервативного национализма. Ростопчин начинал с критики галломании русского образованного общества, опасные последствия которой явно ассоциировались в его сознании с событиями Французской революции, также удостоившейся многочисленных инвектив автора. Вслед за Шишковым Ростопчин призывал искать примеры для подражания в собственном национальном опыте, взывая к именам знаменитых российских воинов (Шуйского, Голицына, Меншикова, Румянцева, Орлова, Суворова), спасителей отечества и Москвы (Пожарского, Минина, Еропкина), глав духовенства (Филарета, Гермогена, Прокоповича, Платона), министров (Панина, Шаховского, Маркова), писателей (Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Державина, Карамзина, Нелединского, Дмитриева,

[1] *Вигель Ф.Ф.* Записки: в 2 кн. М., 2003. Кн. 1. С. 428.

[2] Цит. по: *Киселева Л.Н.* Идея национальной самобытности в русской литературе между Тильзитом и Отечественной войной (1807–1812): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тарту, 1982. С. 6.

[3] Подробнее об общественных настроениях после Тильзитского мира см.: *Martin A.* Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. DeKalb, 1997. P. 48–50.

Богдановича)[1]. Памфлет Ростопчина явился первым публицистическим произведением, обращавшимся к разным социальным слоям. Он был адресован прежде всего среднему и мелкопоместному дворянству, многочисленному, но не столь подверженному французской моде, как аристократия, однако был близок и городскому купечеству, мелким чиновникам и мещанам. «Мысли вслух…» вызвали широчайший общественный резонанс и разошлись неслыханным по тем временам тиражом в семь тысяч экземпляров[2]. Успех, тон и литературная стилистика памфлета Ростопчина, приближенная к народной речи, воодушевили Глинку, писавшего в своих «Записках», что своими «Мыслями вслух…» граф «первый… вступил… в родственное сношение с мыслями всех людей русских»[3].

В значительной степени восприняв опыт графа и уверившись в неизбежности войны с Наполеоном[4], С.Н. Глинка приступил к изданию «Русского вестника» (в оригинале журнал назывался «Руской вестник», но, следуя сложившейся в историографии традиции, мы будем называть его «Русский вестник»), главной целью которого положил «возбуждение народного духа и вызов к новой и неизбежной борьбе»[5]. Знаковым было само название издания, полемически заостренное против карамзинского «Вестника Европы». И если издатель последнего ставил целью «знакомить читателей с Европой и сообщать им сведения о том, что там происходит замечательного и любопытного»[6], то Глинка в объявлении о выходе своего журнала, опубликованном в № 102 «Московских ведомостей» от 21 декабря 1807 г., обещал помещать в нем всё то, что «непосредственно относится к отечественному» и «политические известия касательно токмо до России»[7].

Несмотря на всплеск патриотических настроений, идея издания журнала, который придерживался бы исключительно «русского направления», была и новой, и рискованной. По словам Глинки, опубликованное им уведомление возбудило «и недоумение, и удивление» в общественности[8]. Через несколько дней по выходе объявления впервые лично встретившись в одном из московских салонов с Ф.В. Ростопчиным, Глинка услышал от графа: «Отважное ваше предприятие удивляет меня»[9]. Но тут же получил предложение о сотрудничестве, причем граф просил его сдерживать свое «запальчивое перо», которое «часто бывает заносчиво»[10]. Уже в первом номере «Русского вестника» было опубликовано написанное Ростопчиным от лица Устина Веникова «Письмо к издателю. От 22 декабря 1807 года из с. Зипунова»[11]. В нем он развивал уже высказанную Глинке мысль: «…хвалю столь же благородное намерение, сколько дивлюсь смелости духа вашего. Вы… хотите издавать одну русскую старину ожидая от

[1] *Минаков А.Ю.* Роль событий 1812 года в становлении русского консерватизма // Консерватизм в России и Западной Европе: Сб. науч. работ. Воронеж, 2005. С. 10; *Минаков А.Ю.* Русский консерватизм в первой четверти XIX века. Воронеж, 2011. С. 112–113.

[2] *Горностаев М.В.* Федор Васильевич Ростопчин // Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия. Воронеж, 2005. С. 120–121; *Минаков А.Ю.* Русский консерватизм в первой четверти XIX века. С. 114.

[3] *Глинка С.Н.* Записки. М., 2004. С. 262–263.

[4] Эти предчувствия не покидали Глинку с 1806 г. См.: Там же. С. 232.

[5] Там же. С. 259.

[6] Цит. по: *Бочкарев В.Н.* Консерваторы и националисты в России в начале XIX в. // Отечественная война и русское общество. 1812–1912. М., 1911. Т. 2. С. 197.

[7] Цит. по: *Предтеченский А.В.* «Русский вестник» С.Н. Глинки // А.В. Предтеченский. Из творческого наследия. СПб., 1999. С. 121.

[8] *Глинка С.Н.* Записки. С. 260–261.

[9] Там же. С. 261.

[10] Там же.

[11] Русский вестник. 1808. № 1. С. 68–72.

нее исцеления слепых, глухих и сумасшедших, но забыли, что неизменное действие истины, есть колоть глаза и приводить в исступление… Для отпадших от своих и впадших в чужих, вы будете проповедником, как посреди дикого народа в Африке»[1]. В конце этого письма была помещена приписка Глинки, в которой он просил «почтеннаго жителя с. Зипунова, и соседа его Силу Андреевича Богатырева, обогащать Руской Вестник замечаниями и письмами своими»[2]. Но сотрудничество с Ростопчиным не было долгим[3]. В начале 1808 г. на сцене театра на Арбате была поставлена новая комедия графа «Вести, или Убитой живой», которая довольно зло и откровенно высмеивала нравы и пороки хорошо знакомого Ростопчину светского общества. Многие из столичной публики узнали себя в выведенных автором персонажах и устроили ему что-то вроде общественной обструкции. Уязвленный Ростопчин обрушился на московский свет в двух гневных письмах, которые предложил для публикации в «Русском вестнике». Глинка ответил отказом, аргументировав его излишней желчностью посланий графа, после чего Ростопчин больше не давал своих материалов в его журнал.

Начинал сотрудничество с журналом Глинки еще один граф, также известный своими консервативными взглядами А.А. Аракчеев. В третьем номере «Русского вестника» Глинка высказал мысль, что «гений Аракчеева, доведя до совершенства во всех частях нашу артиллерию, конечно, воспользуется открытиями республиканцев и сообразя их с характером русских и с их холодным мужеством, составит новое превосходное военное искусство»[4], что обеспечит преимущество русских войск в возможно предстоящей борьбе с Францией. Этот номер вместе с сопроводительным письмом Глинка отправил графу 30 марта 1808 г.[5] В письме от 31 апреля (так в оригинале. – *Примеч. ред.*)1808 г. Глинка предлагал Аракчееву «украсить» его именем «список особ, удостоивших подпискою своею «Русский вестник»[6]. Ответное письмо графа от 4 мая 1808 г. без его ведома Глинка опубликовал в пятом номере «Русского вестника»[7], ссылаясь на то, что «по долгу издателя» не может скрыть «сих слов, драгоценных сердцу каждого Россиянина»[8]. В своем письме А.А. Аракчеев благодарил издателя журнала за приглашение на подписку, говоря, что «Русский вестник» ему «близкой родня как старому русскому дворянину»[9]. Далее Аракчеев писал, что «как бедный дворянин воспитан был совершенно по-русски: учился грамоте по часослову, а не по рисованным картам. Потом выучен будучи читать Псалтырь за упокой по своим родителям, послан на службу Государя и препоручен в С. Петербурге Чудотворной Казанской иконе, с таким родительским приказанием, дабы я все мои дела начинал с ея соизволения: чему следую и по сие

[1] Русский вестник. 1808. № 1. С. 68–70.

[2] Там же. С. 72.

[3] Кроме упомянутого письма, в журнале было опубликовано: О Суворове. Письмо к издателю от 28 генваря 1808, с. Вороново // Там же. № 3. С. 241–249. В нем излагались воспоминания Ф.В. Ростопчина о А.В. Суворове и давалась переписка выдающегося русского полководца с императором Павлом I и самим Ростопчиным. Бумаги Ростопчина послужили одним из источников целого цикла статей Глинки, посвященных Суворову.

[4] Там же. С. 406.

[5] См.: Сергей Глинка – графу Аракчееву. 30-го марта 1808 г. Москва // *Дубровин Н.* Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I. СПб., 1883. С. 6.

[6] Сергей Глинка – графу Аракчееву. 31 апреля 1808. Москва // Там же. С. 7–8.

[7] См.: Отрывок из письма знаменитого сына Отечества // Русский вестник. 1808. № 5. С. 244–245.

[8] Там же. С. 244.

[9] Там же. С. 244–245.

время»[1]. Эти слова Глинке «чрезвычайно понравились»[2], и они вполне отвечали его собственным взглядам и настроениям. Но через некоторое время Аракчеев прислал издателю письмо с приложенными к нему 12 письмами от жителей разных губерний, которые, по словам Глинки, «так увлеклись глубочайшею к нему преданностию, что возвеличили его наименованиями избавителя и спасителя отечества»[3], и предложил опубликовать эти письма. Глинка ответил отказом и в своем письме, в частности, писал: «Не берусь возражать на восторженные изречения лиц, приветствовавших вас, и искренно желаю, чтобы вы долго проходили поприще свое; но теперь не могу напечатать присланных вами писем. Все то, что относится к случайным людям, разлетается громкою оглаской. Меня назвали бы льстецом, пресмыкающимся перед человеком случайным и добивающимся каких-нибудь у него милостей. А я от юности лет моих ни перед кем не раболепствовал. Но в свете редко верят и самым бескорыстным отзывам. Мнения людей различны, а пересуды привязчивы»[4]. Много лет спустя С.Н. Глинка пересказал этот случай графу М.А. Милорадовичу, тогда уже известному герою Отечественной войны. Смелость Глинки немало удивила генерала: «И вы это сделали с таким страшным человеком?»[5]. Но, по признанию издателя «Русского вестника», граф Аракчеев никогда не чинил ему никаких препятствий[6].

Так же быстро закончилось сотрудничество с княгиней Е.Р. Дашковой, которая, как и Ф.В. Ростопчин, сама предложила свое сотрудничество сразу же по прочтении объявления Глинки в «Московских ведомостях», но с условием, что издатель будет публиковать ее статьи без каких-либо изменений[7]. Ее первая статья, а точнее письмо к издателю, появилась во втором номере «Русского вестника»[8]. В «Записках» Глинка говорит, что уже по этой первой статье сделал вывод о скоротечности работы с княгиней, так как она слишком явно высказывала свои политические симпатии: «Англичанам был в ней (статье – *Н.Л.*) праздник, а сынам Германии туманные сумерки»[9]. Однако содержание самой публикации не соответствует воспоминаниям Глинки. Письмо Дашковой отражает только ее антифранцузские настроения и содержит резкую критику галломании русского образованного общества. Глинка утверждал, что не делал в письме княгини никаких купюр[10], и заподозрить его в лукавстве, зная его добросовестность и правдивость, довольно сложно. Проанглийских и антигерманских идей нет и в следующей статье Е.Р. Дашковой, помещенной в третьем номере «Русского вестника»[11]. Скорее всего Глинка имел в виду другую статью княгини, о которой он также упоминает в мемуарах и которая не была опубликована[12] в силу возможных цензурных затруднений, связанных с тем, что Россия в послетильзитский период была вынуждена отказаться от любых проявлений дружествен-

[1] См.: Отрывок из письма знаменитого сына Отечества // Русский вестник. 1808. № 5. С. 245.

[2] *Глинка С.Н.* Записки. С. 280.

[3] Там же. С. 281.

[4] Там же. С. 282. Несмотря на то, что письмо опубликовано в «Записках» Глинки, в подлинности его содержания сомневаться не приходится. Все цитируемые им в своих воспоминаниях письма дословно воспроизводили оригинал.

[5] Там же.

[6] Там же. С. 282.

[7] Там же. С. 269.

[8] Письмо к издателю Русского вестника (подписано Россиянка) // Русский вестник. 1808. № 2. С. 227–232.

[9] *Глинка С.Н.* Записки. С. 272.

[10] Там же.

[11] К воспоминаниям // Русский вестник. 1808. № 3. С. 388–397.

[12] *Глинка С.Н.* Записки. С. 274.

ности в отношении Англии. Видимо, именно на это неопубликованное письмо и отвечал Глинка в четвертом номере своего журнала[1], где решил показать «знаменитой Россиянке», с «какою вывескою целое ученое общество Англинских историков вывело Русских на позорище всемирное»[2], и доказать тем самым, что англичане не заслуживают ее публицистического покровительства. Так или иначе, история с неопубликованной статьей послужила причиной разрыва тандема Глинки с Е.Р. Дашковой. Своенравная, неуступчивая в своих мнениях княгиня назвала издателя «выскочкой»[3] и перестала писать для журнала, но Глинка был скорее рад окончанию этого неудобного для него сотрудничества.

Положительным образом завершился лишь один конфликт – с Г.Р. Державиным. Литературный наставник Глинки, один из влиятельнейших членов «Беседы любителей русского слова» не очень часто, но помещал в «Русском вестнике» свои стихи[4]. Опубликовав в журнале три сочинения Державина, на очередное его предложение – напечатать стихи к Купидону – Глинка ответил отказом, настаивая, что «баснословного не помещает в Русском вестнике»[5]. Отличавшийся вспыльчивым нравом Державин ответил Глинке едкой эпиграммой, помещенной в журнале А.Е. Измайлова «Цветник»[6], но быстро отошел, и после публикации в «Русском вестнике» его нравоучительной мелодрамы «Обитель Добрады» у них с Глинкой наступил «мир ненарушимый»[7]. Таким образом, Глинка, заинтересованный в привлечении консервативно настроенных авторов, никогда не жертвовал ради этой цели направлением своего журнала. Помимо вышеназванных авторов, в журнале регулярно публиковались произведения Ф.Н. Глинки, А. Писарева, Н. Шатрова, И. Богдановича, Ф. Иванова, князя П.И. Шаликова, А.А. Волковой, реже – Н. Врасского, Н. Николева, Н.А. Полевого, А.С. Шишкова, графа Д.И. Хвостова, П.И. Голенищева-Кутузова и мн. др. Это была в основном поэзия, прозаические произведения публиковали лишь Ф.Н. Глинка, И. Богданович, Н. Шатров, Н.А. Полевой. Заметим, что некоторые из авторов – А.С. Шишков, Д.И. Хвостов, П.И. Голенищев-Кутузов, Н. Николев, А.А. Волкова – так или иначе были связаны с «Беседой любителей русского слова»[8]. Все же основная часть статей «Русского вестника», носивших программный характер, принадлежала самому С.Н. Глинке, который таким образом являлся издателем, редактором и основным автором собственного журнала.

Собственных средств на издание журнала у Глинки не было; первоначальную помощь ему оказал известный московский типографщик П.П. Бекетов, прежде уже издававший некоторые сочинения Глинки. Бекетов предложил взять на себя расходы за напечатание первых двух книжек «Русского вестника» и оставить за собой эти издержки в том случае, если они не окупятся; если же журнал найдет своего читателя, то издатель продолжит его выпуск на свой счет, что бу-

[1] Ответ на письмо Россиянки, напечатанное во второй книжке Вестника // Русский вестник. 1808. № 4. С. 57–76.

[2] Там же. С. 59.

[3] *Глинка С.Н.* Записки. С. 275.

[4] *Державин Г.Р.* Надежда на Бога: Ода // Русский вестник. 1808. № 2; *Державин Г.Р.* Сетование // Там же. № 3. С. 316–319; *Державин Г.Р.* Надпись к портрету Хераскова // Там же. № 4. С. 77; *Державин Г.Р.* Обитель Добрады, пастушеская мелодрама // Там же. № 10. С. 212–226; *Державин Г.Р.* Свыше благословенному приношение // Там же. 1814. № 11. С. 26–51.

[5] *Глинка С.Н.* Записки. С. 290.

[6] Журнал издавался в 1809–1810 гг.

[7] *Глинка С.Н.* Записки. С. 290.

[8] *Альтшуллер М.Г.* Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. М., 2007. С. 401–404; *Минаков А.Ю.* Русский консерватизм в первой четверти XIX века. С. 131–132.

дет гораздо выгоднее для него[1]. Первые же книжки «Русского вестника» привлекли к себе внимание читающей публики, что позволило Глинке уплатить долг Бекетову[2], и в дальнейшем журнал печатался на средства самого издателя. Кроме того, П.П. Бекетов был владельцем граверной, в которой было изготовлено более 300 гравированных портретов известных исторических личностей с достоверных оригиналов. Некоторые из этих портретов – боярина А.С. Матвеева, наставника Петра I Н.М. Зотова, царицы Натальи Кирилловны, императрицы Екатерины II, Симеона Полоцкого и др. – были приложены к «Русскому вестнику» С.Н. Глинки[3].

Программу своего издания Глинка изложил во вступлении к первому номеру «Русского вестника»[4]. Он начал с утверждения «русского направления» своего журнала: «Издавая Руской вестник, намерен я предлагать читателям все то, что непосредственно относится к Русским. Все наши упражнения, деяния, чувства и мысли должны иметь целью Отечество; на сем единодушном стремлении основано общее благо. <…> Все то, что относится к родной стране и согражданам нашим драгоценно сердцу, любящему Отечество. Воображение обтекает весь шар земной, мечтает, будто бы может объять весь род человеческий; сердце по убеждению чувств своих, приближается особенно к единоземцам, и любит их более всех других народов. Руской вестник посвящается Русским»[5]. Но далее из текста следовало, что обращение «к отечественному» будет проходить в контексте противостояния Франции: «Философы осьмагонадесять столетия, – писал Глинка, – никогда не заботились о доказательствах; они писали политические, исторические, нравоучительные, метафизические, физические романы; порицали все, все опровергали, обещивали беспредельное просвещение, неограниченную свободу, не говоря, что такое то и другое, не показывая к ним никакого следа, – словом, они желали преобразить все по-своему. Мы видели, к чему привели сии романы, сии мечты воспаленного и тщеславного воображения! И так, замечая нынешние нравы, воспитание, обычаи, моды и проч., мы будем противополагать им не вымыслы романические, но нравы и добродетели праотцов наших»[6]. В этом пассаже Глинка вполне отчетливо обозначил антитезу, на основе которой выстраивалась консервативно-националистическая концепция журнала. Она не была четко сформулирована издателем в отдельной статье или даже номере издания, но вырисовывалась из всего комплекса его статей. Для реконструкции взглядов С.Н. Глинки мы обратились к корпусу номеров журнала за 1808–1812 гг., так как их консервативная и националистическая составляющие в этот период проявили себя в наиболее яркой и концентрированной форме[7], а сам журнал, как совершенно точно заметил П.А. Вяземский, имел «историческое и политическое значение»[8].

Таким образом, не вполне прав А.В. Предтеченский, выносивший на первый план издательской деятельности С.Н. Глинки проблему военного противостояния Франции и, соответственно, рассматривавший антифранцузский характер «Русского вестника» в большей степени как следствие наполеоновской

[1] *Глинка С.Н.* Записки. С. 260.

[2] Там же. С. 268.

[3] *Божерянов И.Н.* Сергей Николаевич Глинка // Русский вестник. 1895. № 3. С. 163–164.

[4] Вступление // Русский вестник. 1808. № 1. С. 3–10.

[5] Там же. С. 3, 9.

[6] Там же. С. 6.

[7] Хотя принципиальное для нас значение имеют и некоторые статьи более поздних лет, поэтому в нашем исследовании мы будем опираться и на них.

[8] *Вяземский П.А.* Глинка Сергей Николаевич // *Глинка С.Н.* Записки. М., 2004. С. 437.

агрессии[1]. Эта тема была, безусловно, важна для Глинки и звучала все увереннее по мере приближения 1812 г. и нарастания националистических настроений. Хотя уже в третьем номере «Русского вестника» Глинка не побоялся озвучить свое мнение относительно Тильзитского мира. В статье «Некоторые замечания на некоторые статьи политическаго сочинения г. Шлецера под названием: взор на прошедшее, настоящее и будущее»[2] утверждалось, что поражение под Фридландом было не таким уж тяжелым для России и что Наполеон, напротив, после этой битвы вряд ли захотел бы «вновь попытать военного счастья своего против Русских, ибо в продолжении прошедшего похода он всегда был близок к погибели»[3]. Далее обрисовывалось сложившееся в результате сражения стратегическое положение обеих армий: «Французская чрезвычайно удаленная от отечества, расстроенная потерями и успехами, имела позади себя Австрию, которая готова была объявить войну; может быть к ней пристала бы Дания, может быть самая Гишпания; Шведскую Померанию, куда ежедневно ожидали высадки Англинских войск и Шведов, и в переди Россию, восставшую во всем могуществе, имевшую время вооружиться и приготовиться к сей беспримерно кровопролитной войне, ободренную столетними победами». И вообще, «естьлиб миролюбивый Александр не пощадил крови своих подданных и не пожертвовал неверною союзницею благоденствию своей империи; то по сих пор Бог знает, где бы был непобедимый Наполеон и великая армия великой нации»[4]. Из этого делался следующий вывод: французам «мир был нужнее, нежели Русским»[5]. Высказав широко распространенную в обществе точку зрения о Тильзитском мире как о временном перемирии, автор заключал, что если «неисповедимыми творческими судьбами назначено когда-нибудь возгореться войне между Россиею и Франциею», то Россия найдет в себе силы для отпора[6].

Эта статья привлекла внимание не только общественности – в Английском клубе третья книжка «Русского вестника» ходила из рук в руки[7], – на направление журнала самому Александру I пожаловался французский посланник Коленкур; причем из «Записок» Глинки видно, что до этого момента император не знал о существовании «Русского вестника»[8]. Таким образом, общая для либеральных и марксистских историков оценка издания как проправительственного и официального[9] не выдерживает критики: официальному Петербургу «Русский вестник» был скорее неудобен. Он продолжал оставаться в оппозиции правительственной линии вплоть до 1812 г., пока Франция формально считалась союзницей России. Можно предположить, что официальные круги, осознававшие искусственность мира с Наполеоном, были заинтересованы в сохранении националистических тенденций, а потому дело с «Русским вестником» ограничилось лишь выговором цензору журнала А.Ф. Мерзлякову, а С.Н. Глинка «по политическим обстоятельствам» был уволен от московского театра, при котором состоял сочинителем и переводчиком»[10]. Запрета на издание журнала не после-

[1] *Предтеченский А.В.* «Русский вестник» С.Н. Глинки. С. 118–132.

[2] Русский вестник. 1808. № 3. С. 398–407.

[3] Там же. С. 399–400.

[4] Там же. С. 400.

[5] Там же. С. 401.

[6] Там же. С. 404.

[7] *Глинка С.Н.* Записки. С. 279.

[8] Там же. С. 280.

[9] *Заборов П.Р.* Русская литература и Вольтер. XVIII – первая треть XIX века. М., 1978. С. 133–135; История русской журналистики XVIII–XIX вв. / Под ред. проф. А.В. Западова. М., 1973. С. 114; *Мельгунов С.* Глинка С.Н. // Энциклопедический словарь Русского Библиографического Института Гранат. Т. 15. С. 143.

[10] *Глинка С.Н.* Записки. С. 280.

довало. В момент написания своих мемуаров Глинка с гордостью вспоминал, что «после Тильзитского мира на него первого пал гнев Наполеона»[1].

После инцидента с жалобой Коленкура Глинка избегал откровенных высказываний на тему военного противостояния вынужденных союзниц. Конечно, свою роль сыграли цензурные запреты, но легкость, с которой он пошел навстречу цензуре, объяснялась прежде всего тем, что эта тема не была самоцелью издания. Взявшись за «возбуждение народного духа и вызов к новой и неизбежной борьбе», Глинка имел в виду не столько вооруженный конфликт двух государств. Здесь важно заметить, что Глинка выделял «два рода войны: одна *явная*, производимая вооруженною рукою; другая *сокровенная*, производимая пронырством… Первая нападает, так сказать, на тело Государственное; другая, на тело и душу его»[2]. И эта вторая война, согласно Глинке, гораздо опаснее первой: «Временныя потрясения Царств и болезни телесныя, не столько вредят, сколько разврат, который вкрадывается исподволь, заражает души, умы и повергает народ во всеобщее разслабление»[3]. В России уже «при Дворе и столицах владычествует беспредельная роскошь, а в деревнях крайняя нищета и разорение. Кто же водворяет к нам сию роскошь; кто, по правилам Аристотелевым, «чрез чувства нападает на душу»: кто питает у нас сию язву, которая поглощает нравы, имущества, труды, кровавой пот земледельцев, и останавливает успехи Отечественной промышленности? Спросят: но каким образом иноплеменные могут быть законодавцами в чужой земле? Тайна сия объясняется *воспитанием*»[4]. Таким образом, Глинка выходил за рамки антинаполеоновского патриотизма и связывал его с более широкими проблемами. Принципиальное значение для него имел тот факт, что накануне возможного вооруженного нападения Россия уже подверглась «сокровенной» атаке со стороны все той же наполеоновской Франции, «развращенной», «безбожной» страны, в которой произошло одно из самых страшных социально-политических потрясений в истории человечества – революция.

Таким образом, толчком к оформлению консервативных взглядов С.Н. Глинки и консервативной концепции его «Русского вестника», как и у многих его современников, стала реакция на Французскую революцию. Осмысление произошедшего во Франции было настолько важным для Глинки, что в 1809 г. он издал книгу «Зеркало нового Парижа»[5], которая имела «одинакую цель с Русским вестником», а именно, показав ужасы революционных событий, порадовать соотечественников тем, «что они родились Русскими и в России»[6]. Поэтому при рассмотрении взглядов Глинки на Французскую революцию, наряду с материалами его журнала, будет целесообразным привлечь и эту книгу. Ответ на вопрос: «От чего Париж в 1788 г. почитался столицею вкуса, ума, моды и просвещения, а в 1793 г. сделался вертепом извергов и злодейства?» – для Глинки очевиден: «Причину сей чудной перемены ищите в нравах и страстях. Страсти дали роскоши власть над добродетелью, легкомыслию над рассудком; страсти в жилище вкуса и моды поселили ужас и смерть. Нравы, образ мыслей и свойства людей более всего объясняют причину всех общественных перемен»[7]. Глинка изображает следующую эволюцию нравов во Франции в XVIII в.: «При Людовике XIV еще строго соблюдали внешнюю пристойность двора, и не сме-

[1] *Глинка С.Н.* Записки. С. 279–280.
[2] Русский вестник. 1808. № 4. С. 62.
[3] Там же. С. 58.
[4] Там же. С. 63.
[5] *Глинка С.Н.* Зеркало нового Парижа, от 1789 до 1809 г. Ч. 1–2. М., 1809.
[6] Там же. Ч. 1. Предуведомление; Ч. 2. Предуведомление.
[7] Там же. Ч. 1. С. 1.

ли явно порицать веры и благонравия. В правление Регента самоволие и разврат сделались *модою*; при нем почитали чудом добродетельную женщину! и при нем Вольтер начал сочинять соблазнительную свою повесть о *девице Орлеанской*[1]. В это же почти время осмеяли фельдмаршала Вилара за то, что он приехал ко двору в старинной одежде»[2]. Причину порчи нравов Глинка видел в материалистической философии французских просветителей, которые на страницах его журнала именовались не иначе как «лжеумствователи осьмагонадесять столетия»[3]. С точки зрения Глинки, источник их заблуждений заключался в отвержении Бога, Веры и всего установленного божественным промыслом миропорядка. Причем они не только отвергали, но высмеивали эти священные понятия. Так, Глинка с возмущением цитирует начало статьи «Бог средоточие вселенной» из «Вольтера для юношества»: «Однажды *мыши*, разговаривая между собою, воскликнули: как прекрасен сей мир! Как сильна наша власть! Какой великолепный храм для нас сооружен! Сам Бог от начала вечности изрыл для нас ямы, где мы живем»[4]. «К чему в сих ничтожных видах предлагать наставления разуму и душе? Ужели к уничтожению их?» – задается вопросом Глинка, и отвечает: «Уже теперь всем известно для чего Вольтер старался осмеивать все то, что в обществе людей освящено верою: к переложению величественнейших истин на мелкия понятия, изощрял он всю силу своего воображения»[5]. Все тот же Вольтер, который, кстати сказать, среди всех французских просветителей подвергается наибольшей критике издателя, отрицая участие божественного промысла в земной жизни, заявил, что люди «подобны шарам, движимым слепым и непреодолимым роком… Вспрыгнув два, три раза… на мраморном помосте или на навозе, исчезаем навсегда, вот наш жребий»[6].

Между тем, согласно Глинке, слова, мысли и действия людей находятся в неразрывной связи, потому, «привыкнув к мелким понятиям, отвыкаем от всего того, что возвышает разум и что воспламеняет душу к подвигам благородным и великим»[7]. Потому и Вольтер, уподобив людей шарам, советует не заниматься будущим, забыть о терпении, твердости духа, вере в Бога и в бессмертие души, а «переступать кое-как из одной четверти часа в другую; прыгать по воле страстей; наслаждаться мимотекущею минутою»[8]. Таким образом, «лжеумствователи» пришли к проповеди «беспредельного земного блаженства рода человеческого»[9], а следовательно, эгоистического, потребительского отношения к жизни. Пытаясь «с помощью холодных, неодушевленных и мрачных умствований» привести «в точность *арифметическую* честь, любовь к Отечеству, человеколюбие, думая, что исчисля сии добродетели, заставят без всякого труда оным последовать», они «раздробили благородные и величественные чувствования души и сердца» и «заразили источники их»[10]. Эта подмена иррациональных начал рациональными привела к следующим культурным и общественным сдвигам: «Писатели говори-

[1] Имеется в виду знаменитая сатирическая поэма Вольтера «Орлеанская девственница», высмеивавшая не столько сам подвиг Жанны д'Арк, сколько нагроможденные вокруг него церковные легенды. По поводу этой поэмы Глинка писал: «Подвергнув посмеянию Жан д'Арку, спасительницу Франции, он (Вольтер – *Н.Л.*) поругал Веру, добродетель и, наконец, славу и честь Отечества» (Русский вестник. 1811. № 6. С. 85).

[2] Русский вестник. 1811. № 6. С. 7.

[3] Например: Там же. 1808. № 6. С. 279.

[4] Там же. 1811. № 6. С. 51.

[5] Там же. С. 52.

[6] Там же. С. 54.

[7] Там же. С. 53.

[8] Там же. С. 58–59.

[9] Там же. № 11. С. 122.

[10] Там же.

ли обо всем *отрывисто*, и *желая щеголять остроумием*, чуждались *здравомыслия*. С того времени о всех благородных и величественных побуждениях душевных и сердечных стали изъясняться краткими изречениями, которые Французы называют *фразами*. Щеголеватая речь или *фраз* сделались главным достоинством в разговорах и во всех родах сочинений… Сия зараза из разговоров о словесности перешла и в нравы: о чем слегка говорили и писали, то и в делах, так сказать, мимоходом наблюдали. Богопочитание, вера, добродетель, терпение, великодушная и постоянная любовь к Отечеству, все сии основания обществ и Держав превратились в мимотекущие обязанности. Главное было то, чтобы блистать умом и наслаждаться минутною жизнию»[1]. Так, пожертвовав священными обязанностями каждого человека «наслаждению мимотекущею минутою» просветители пришли к проповеди «общенародного блага»[2]. Эту идею подхватили творцы Французской революции: «Робеспьеры и Мараты, вдохновленные *Вольтером* и его последователями, кричали: «Народ всеведущий, народ всевластный! Сильный правами своими, правами вольности, свободы и равенства. Не только наследственные имущества, но и труды ремесленников, все тебе принадлежит по неоспоримому праву; бери, все твое. Не щади тех, которые дерзнут воспротивиться твоим правам»[3]. Проповеди этого «мнимого равенства» привели к тому, что «скопища разбойников, изверженных адом, наполнили Францию ужасами, каких никогда не было под солнцем. В зверском неистовстве вооружились они на сограждан, на ближних; расстреливали, топили, казнили, мучили лютыми пытками и тысячами отправляли в ссылку»[4].

Глинка выделяет еще один важный фактор, предваривший революцию: «Не Английское ли правительство всегда и повсюду подкупало журналистов, чтобы они во всевозможных видах водворяли везде дух английского учения, соответственный выгодам Англичан? Герцог Дорсет… находившийся до революции во Франции посланником, был главным орудием кабинета Сен-Жамского. Несколько Английских платий дорогой цены предложены были от него придворным госпожам: они приняли их, стали носить и вскоре все преобразилось на Английскую стать, сады, кафтаны, сапоги, завтраки. Все наперерыв друг перед другом превозносили Английское правительство, Английские магазейны, Английские конторы, английскую словесность, Английские очки, в которые смотрели в театре на мрачные зрелища во вкусе английском, и проч.»[5]. Таким образом, Глинка намекает на ведение «сокровенной войны» против французов со стороны англичан. В «Зеркале нового Парижа» Глинка разражается по этому поводу следующей любопытной сентенцией: «До Генриха II короли Французские почти так же одевались, как и подданные их. Сей монарх на свадьбе сестры своей явился в шелковых чулках. Ревнители древних обычаев ужаснулись. И в самом деле Генрих III установил после придворный *Этикет*; при Генрихе IV ничто не могло обуздать роскоши. Естьлиб кто захотел написать историю от шелковых чулок Генриха II до Англинских мод, принятых Французами: тот изобразил бы всю постепенность революции»[6]. Причину «победы» англичан над французами, с точки зрения Глинки, следует искать в пропаганде космополитизма, которую проводили просветители: они «переселяли» жителей Франции «то к Ирокейцам, то к Гуронам, то к Кафрам и Готтентотам, возбуждая в них любовь ко вселенной, а ненависть к единоземцам»[7].

[1] Русский вестник. 1811. № 11. С. 123–124.
[2] Там же. С. 129.
[3] Там же. № 6. С. 61–62.
[4] Там же. 1812. № 5. С. 29–30.
[5] Там же. 1808. № 7. С. 60–61.
[6] *Глинка С.Н.* Зеркало нового Парижа, от 1789 до 1809 г. Ч. 2. С. 11.
[7] Русский вестник. 1808. № 7. С. 61.

Страсти и разврат стали причиной революции, они же восторжествовали после ее окончания. Современный Париж, по мнению Глинки, представляет крайнюю степень нравственной, культурной и экономической деградации: «В Париже не щадят ничего, чтобы только обогатиться. Честь, совесть и в ум не приходят! У кого много золота, тот почтен и благороден»[1]. Причем «от новых богачей нет пользы ни искусствам, ни наукам. У них на уме лошади и собаки, а не люди… Хороший стол есть первое их блаженство»[2]. «В Париже нет прежней веселости и приветливости. Жители стали беспокойны и задумчивы. По виду их легко можно заключить, что они думают о долгах, и непрестанно вымышляют средства, как жить, и как из беды выпутаться. Расточительная роскошь, тщеславие и дороговизна припасов произвели бедность и нищету. И между тем всякой живет выше своего состояния, и хлопочет, как бы блеснуть одною наружностью»[3].

Таким образом, С.Н. Глинку мало интересовала сложность политических процессов, сопровождавших Французскую революцию; он был безразличен к спорам между жирондистами и монтаньярами, якобинцами и эбертистами, умеренными и радикалами. Существенным для него был лишь тот факт, что политической революции во Франции предшествовала революция нравственная, что просветители и явившиеся, с его точки зрения, их последователями адепты революции отвергли существование Бога и уверовали в «беспредельность человеческого разума», отреклись от всех обязанностей человека перед обществом и проповедовали «беспредельное земное блаженство» и «несбыточное равенство», променяли Отечество на абстрактное «всемирное братство». На такие последствия реализации либерального лозунга «Свобода. Равенство. Братство» указывал Глинка.

Франция и французская культура в глазах Глинки представляли источник деструктивных в общественно-политическом плане идей, поэтому одной из доминантных тем его журнала стала критика галломании русского общества. Надо сказать, что Глинка рассматривал ее в более широком контексте чрезмерного увлечения русского образованного общества западноевропейскими культурными и общественно-политическими ценностями, но акцент смещал именно на влияние французской культуры, которая действительно пользовалась наибольшей популярностью среди высшего общества. Вполне вероятно, что издатель «Русского вестника» не апеллировал прямо к французскому влиянию в силу цензурных запретов и памятуя о жалобе Коленкура. Можно также предположить, что в сознании читателей, охваченных антифранцузскими настроениями, инвективы Глинки прочно связывались с негативным воздействием на русское общество именно этой нации.

«Иностранцы везде, – пишет Глинка, – по одному имени своему преимущественно перед соотечественниками (которые, скажем мимоходом не умеют ни войти, ни поклониться, ни слова сказать), иностранцы принимаются в знатнейших домах; в присутствии их говорят о правительстве, о доходах государственных, о войске, словом о всем том, что относится к Отечеству. Гости сии вмешиваются в беседу, предлагают сперва мнения, потом судейские приговоры, и возвратясь *восвояси*, разглашают и пишут о том, что слышали и видели, а не редко и о том, чего и *слухом* не *слыхивали*! От чего же происходит сия откровенность, сие предание, так сказать, чувств и помышлений иноплеменным? От того, что они суть единственные вожди и учители детей знатных и богатых господ…»[4].

[1] *Глинка С.Н.* Зеркало нового Парижа, от 1789 до 1809 г. Ч. 2. С. 14.

[2] Там же. С. 18–19.

[3] Там же. С. 22–23.

[4] Русский вестник. 1808. № 6. С. 287–288.

Между тем иностранные наставники убивают в своих русских воспитанниках патриотизм и чувство собственного национального достоинства. Глинка уже в первом номере «Русского вестника» в статье «Мнения известнейших русских писателей о воспитании отечественном и о иноземцах»[1] с сочувствием цитирует Н.М. Карамзина: «Никогда иностранец не поймет нашего естественного или народного характера, и следственно не может сообразоваться с ним в воспитании; никогда он с чувством не скажет слова о России, о ея героях, народной чести и не воспалит в ученике искры Патриотизма»[2]. А позже и сам издатель «Русского вестника» писал, что иностранные учителя лишены главного – «в них нет той привязанности к нему (Отечеству. – *Н.Л.*), которая и *дым его любит*, которая слышит отдаленный голос предков, проникает в их гробы, и по добродетелям, по чистоте нравов, по святому хранению слова, судит об их деяниях»[3]. По этой же причине нельзя верить иностранцам, писавшим о России, и ни в коем случае не включать их сочинения в процесс обучения русской молодежи. Даже иностранцы, долгое время жившие в России и хорошо знакомые с русскими летописями, такие как Леклерк и Левек, не смогли создать достоверного описания России и русской истории, потому что «по чувствам своих душ, по образу мыслей своих» не «могли судить о душах, о нравах наших предков»[4]. Что уж говорить об авторах, никогда не видевших Россию, как например, Кондильяк и Монтескье: первый «клеветал на нравы русских», второй утверждал «будто бы до Петра I все русское духовенство пресмыкалось во мраке варварства и невежества»[5]. Глинка с сожалением констатирует, что вместо книг, полезных для воспитания, именно эти вредные, унижающие национальное достоинство русских книги заполонили Россию. Так, он приводит выдержку из одного французского романа: «Петр I должен был сражаться с закоснелыми предрассудками Веры, с невежеством и проч. Словом Россия тогда подобна была семиглавному чудовищу»[6]. О последствиях распространения подобной литературы Глинка замечает: «Русский переводчик без сомнения пропустит сию ложь и клевету: но кто выскоблит оные из подлинника, и кто предохранит питомиц большого света от чтения *Французского романа*. Воображение их невольно испугается *семиглавного чудовища*, в виде которого представлено Отечество наше»[7].

Однако особенную опасность представляет популярность в России политически неблагонадежных сочинений «лжеумствователей осьмагонадесять столетия». Например, вот что писал Глинка о востребованности «зловредного» Вольтера: «Не только *Вольтер для юношества*, но все его *сто Частей* давно уже в руках питомцев модного воспитания. Единоземцы Вольтера учат их восхищаться затейливостью и легкостью его слога. Ученики вытверживают наизусть целые страницы; скоро весь Вольтер овладеет их памятью и душами; чему же русскому в них проникнуть?»[8].

Этот сюжет Глинка развивает в статье «Мысли про себя», название и стилистика повествования которой подчеркивает преемственность с ростопчинскими «Мыслями вслух». Главный герой статьи с характерным именем Иов Силантьевич Домоседов, лежа на кровати, доставшейся ему в наследство от деда

[1] Русский вестник. 1808. № 1. С. 43–52.

[2] Там же. С. 51; оригинальную цитату Н.М. Карамзина см.: Вестник Европы. 1802. № 4. С. 363.

[3] Русский вестник. 1810. № 3. С. 105.

[4] Там же. С. 103–104.

[5] Там же. С. 100–101.

[6] Там же. 1808. № 9. С. 375.

[7] Там же. С. 375–376.

[8] Там же. 1811. № 6. С. 64.

(факт глубоко символичный для Глинки. – *Н.Л.*), рассуждает: «Что проповедывают нам иноземные учители? (я не говорю о всех: нет правила без исключения). Сперва станут они уверять питомца своего, что он ошибкою родился на Руси; что природа сама не знала для чего напустила на Север такие стужи и непогоды; что родина его сотворена только для медведей, и что все его соотчичи невежды, дикари; словом, не люди. Потом, следуя похвальным правилам новой философии, исподволь и ухитряясь, так очистят ум от предрассудков, что в нем… чуть ли и названия останутся о Вере, нравах и добродетелях… как же поступают в учении? Говорят: «не надобно отягощать голову излишним, должно брать всего понемногу; составить маленький всеобщий курс наук, особливо из тех, которые нужны для того, чтоб жить в большом свете и быть *любезным по моде*»[1].

Это еще одна важная проблема – поверхностность, пустота «модного воспитания», его ориентация на внешний эффект, благодаря которым в русском обществе утвердились ранее неизвестные понятия и явления – «бон-тон», «бомонд», «любезность», «мода» и «роскоши». Объясняя читателям эти понятия, Глинка рисует совершенно карикатурные, но от этого не менее трагические в его понимании картины. Так, чтобы придерживаться бон-тона, его современник «должен приглашен быть на все балы, спектакли… говорить не иначе как по-Французски; впрочем он увольняется от учтивости и хорошего обхождения. Женщина нынешнего хорошего тона ни к чему не должна оказывать внимания, ни любопытства; должна беспрестанно говорить, что ей везде скучно, и не пропускать ни бала, ни спектакля…»[2]. Люди же, составляющие так называемый бомонд, «не заботясь ни о благе общем, ни об отечестве, судя по расчетам самолюбия своего, порицают только, или защищают злоупотребления. Молвят слова два о новостях; берутся за карты; опять обращают речь к безделицам… так проходят дни, годы и вся жизнь бомонда»[3]. Столь же пуста и цинична распространившаяся в высшем свете «любезность», которая стремится не к воспитанию добродетелей и совершению полезных дел, но пустить пыль в глаза, произвести благоприятное впечатление. Вот изображение типичного любезного представителя высшего общества: «Князь N.N. молод, прекрасен, умен; он был в чужих краях; блистал в Парижских Societes; каждая его шутка ходит по нескольку дней по городу, и каждому из его соперников жаль, для чего не ему удалось ее сказать. Войдет ли куда, матери и дочери кричат: “как он мил, как он *любезен*”. Наконец, он богат и чиновен… и что же? Этот любезный Князь поклянется в любви, в пламенной страсти тридцать раз, и обманет. Супружество считает он шуткою, предрассудком мелких умов; словом, самым смешным обрядом. Для чего же истощает он все остроумие свое, всю *любезность*? Для того, чтобы пленить, оковать сердце. Он изменит, обманет; он повергнет неопытную невинность в отчаяние; ему все простят: он *любезен*»[4].

Моды и роскоши, как утверждает Глинка, уже воздвигли в России свои «святилища» и «храмы вкуса», средоточием которых являются Кузнецкий мост и Ильинка[5]. Он подчеркивает святотатственность употребления самого слова «храм» в отношении явлений, подобных «лютым и опасным язвам общественным»[6], так как они не только подменяют истинные нравственные ценности ложными, в результате чего человек начинает оцениваться не по собственным заслугам, а по стоимости одежды, экипажа и т.д., но и вредят фи-

[1] Русский вестник. 1810. № 3. С. 256–258.
[2] Там же. 1809. № 2. С. 292–293.
[3] Там же. С. 297.
[4] Там же. 1808. № 2. С. 154.
[5] Там же. № 9. С. 332; 1809. № 10. С. 72–73.
[6] Там же. 1808. № 9. С. 334.

зическому здоровью женщин большого света. Нарушая все законы природы, светские дамы «на смех северным бурям и зимней стуже, летают Зефирами, и легкой *модной* одежде жертвуют здоровьем, а не редко и жизнию»[1]. Причем на концертах, балах и других светских мероприятиях становится невозможным отличить мать от дочери: «От прикосновения моды расцветает старость, а молодость стареет»[2]. Это очень беспокоит Глинку в связи с тем, что «от воспитания девиц зависит главное семейственное и общественное счастье. Они причиняют величие или упадок целых поколений»[3], а «*модное воспитание*, присвояя женщинам неограниченную вольность отъемлет священное и единственное их владычество, состоящее в покорении душ и сердец, силой добродетелей супруги и матери»[4]. Так, Глинка задается вопросом: «все ли матери могут быть теперь *матерями-кормилицами*?» – и заключает, что «многие из них, воспитанные поновому, расслабевают телом и душою от самой колыбели; а притом, как расстаться с светом, модами и забавами?»[5]. Таким образом, физическая деградация старшего поколения распространяется и на младшее.

Помимо негативного влияния на нравственность российского общества, иностранное воспитание имело и экономический эффект. Глинка пытается обратить внимание читателей на то, как много «родовых и благоприобретенных поместий истребились от заразы иноплеменного воспитания, которое уничтожая в душе все отечественное; в умах злополучных жертв своих заглушает мысли даже и о собственной их пользе!»[6]. С детства наученные считать качественной и престижной только иностранную продукцию, представители благородных сословий тратят неимоверные суммы денег на иностранные «безделки» не только внутри страны[7], но и за ее пределами: «И молодые и старые все из царства в царство в запуски рыщут. За чем же старые бредут? Один ответ: к водам. Разве в России нет целительных вод, и не читаем ли мы в Истории, что Римляне ездили лечиться к Кавказским водам? Но Сарепта не Спа, а Липецк не Карльсбат: там веселее… может статься; но расплата тяжела. Бог знает, вылечится ли от телесной чахотки, а карманная как сон в руку»[8]. Иностранное воспитание также способствует снижению производительности труда: «*Роскошь и моды* ни по чему не свойственные Русским, истощив телесную крепость, изнурили и души. В сем бессилии мы живем не *Природой*, но *воображением*, которое влечет нас к прихотям и мечтам… Плодовитые сады превратили мы в городах и деревнях в гульбища иноземные: что же из сего вышло?.. Посмотрите на занятия городских жителей и тех, которые в деревнях хотя мало пристали к затеям роскоши и моды. Те и другие лучшие летние и весенние дни убивают за картами»[9]. Наконец, мода с легкостью помогает достичь столь вожделенного для западноевропейских мыслителей и политических деятелей равенства: «Жан-Жак Руссо во всю жизнь изыскивал причины неравенства между людьми; *мода* каждый почти день уравнивает: богач беднеет, прислужники его богатеют»[10].

Преклонение перед иностранными модами и роскошествами создает невыгодный имидж России за ее пределами: «Многие приезжали к нам для на-

[1] Русский вестник. 1808. № 9. С. 339.
[2] Там же. С. 338.
[3] Там же. 1809. № 8. С. 205.
[4] Там же. 1812. № 2. С. 71–72.
[5] Там же. 1808. № 5. С. 218–219.
[6] Там же. 1811. № 7. С. 123–124.
[7] Там же. 1808. № 4. С. 39.
[8] Там же. № 3. С. 262–263.
[9] Там же. 1812. № 2. С. 67–68.
[10] Там же. 1808. № 9. С. 335–336.

сущного хлеба, а восвояси отправлялись блестящими *дамами*. В шутку или в истину рассказывают, что одна из сих *служительниц вкуса и моды*, уехав из стран холодного Севера, выстроила великолепный дом на наличные деньги добрых Россиян, и надписала у входа: *от щедрот Русских*. Поблагодарим за великодушие сей торговки; она и не то бы могла сказать…»[1].

Засилье иностранного воспитания оказало крайне негативное влияние на социальную ситуацию в стране. «Порабощенные» западноевропейской культурой и образом жизни привилегированные слои объединились в «общество людей, от всех прочих сословий отличенное одеждою, нравами, обычаями, и которое как будто бы составило в России область иноплеменную»[2], совершенно чуждую простонародью, все еще живущему в рамках национальных традиций и культуры[3]. Этот мировоззренческий конфликт, с точки зрения Глинки, был чреват возможностью социально-политических потрясений, ведь оказывалась нарушенной традиционная патриархальная связь между помещиками и крестьянами, которые теперь подвергались гнету со стороны своих хозяев[4]. Все это лишь усугублялось французской военной угрозой. В то же время, «новомодное» образование таило в себе и опасность размежевания внутри самого дворянства, которое выбирало «для воспитания детей своих учителей из того или другого народа. Всем известно, что Французы и Англичане изстари во вражде между собою. Учители сии так сказать прививают питомцам свой образ мыслей, нравы, склонности; что же из этого воспоследует? Двое Русских, напитанных сими правилами, поневоле будут чувствовать один к другому какую то *народную ненависть*, не свою, но чужую. Что же будет, когда они взойдут на степени государственные? О ком станут они заботиться; о Русских ли?.. и каждый из них не повлечется ли силою привычки к тому или другому народу?»[5].

Однако Глинка замечает, что нравственная деградация, охватившая верхушку российской социальной иерархии, начинает распространяться и ниже, например, на мелкопоместных дворян[6], городских слуг[7] и даже на торгующих господских крестьян, которые оказываются восприимчивы к такого рода влиянию в силу своего не вполне определенного общественного статуса. В одной из статей «Русского вестника» Глинка говорит, что «видел у одного из таких крестьян два тома Вольтеровых сочинений, конечно, совсем не нужных быть переведенными, о которых сей человек такие делал рассуждения, что нельзя было не поразиться его беззаконием. Сии самые крестьяне большую часть года ездят за своими делами по всем ярмаркам и по всем большим российским городам, редко живут дома, и часто, возвращаясь назад, вместо денег привозят развратные нравы; такой образ жизни, который не имеет уже сходства с образом жизни их семейств, испорченную кровь или болезни, вредные для деторождения: все это доказывается малым числом детей у сих крестьян… В селах торгующих крестьян находятся все нещастия, все печали, все страсти больших городов, банкруты, долги, эгоизм, зависть, злоба, стыд и отчаяние не иметь такого богатства, как его сосед… Подобно Столицам сии села служат примером для жителей других деревень, составляющих целую волость. У богатых сельских жителей, о которых я теперь упомянул, деревенские перенимают их моды, обычаи, и хотя они принадлежат одному помещику и все вообще составляют

[1] Русский вестник. 1808. № 9. С. 355.
[2] Там же. № 4. С. 37–38.
[3] Там же. 1812. № 2. С. 96–97.
[4] Там же. 1809. № 4. С. 22.
[5] Там же. 1808. № 3. С. 260.
[6] Там же. 1809. № 8. С. 200–201.
[7] Там же. 1811. № 9. С. 122–123.

одну собственность, сельский житель пренебрегает жителя деревенского и часто почитает за низость жениться на деревенской девке»[1]. Получается, что иностранное влияние фактически разрушает традиционный патриархальный уклад крестьянской жизни.

Таким образом, иностранное воспитание породило целый ряд нравственных, а вместе с ним социальных и экономических проблем, и грозит, по мнению С.Н. Глинки, крупными политическими проблемами в будущем. Особенно актуальной проблема иностранного воспитания становилась в обстановке ожидания войны с Францией, когда огромное влияние французской культуры на русское общество посредством французского образования становилось чем-то вроде «пятой колонны» внутри государства. На страницах своего журнала С.Н. Глинка предложил свою программу исправления несовершенной действительности российского общества.

§ 2. Консервативно-националистическая программа «Русского вестника»

Так как все недостатки современной ему России издатель «Русского вестника» связывал с «тлетворным» влиянием иностранного воспитания, панацею от них он нашел в «отечественном воспитании», программу которого подробно развил на страницах журнала.

«Каждый народ, – говорит Глинка, – должен иметь воспитание, приличное первообразному его свойству»[2], потому что, с его точки зрения, «есть отличительное свойство, Богом и природой каждому народу назначенное: с изменением сего свойства удаляемся от цели бытия своего, от отечественных добродетелей, склонностей и нравов, словом от истинного счастья, представленного каждому человеку в недрах родной его страны»[3]. Причем если первоначально «нравы и свойства» оказывают влияние на формирование системы национального воспитания, то впоследствии второе начинает определять облик первых, а так же политической системы общества[4]. Так, уже поляне, утверждает Глинка, ссылаясь на летопись Нестора, обладали такими чертами как «кротость, тихость, уважение к родству, благоговение к обычаям *отец своих…* стыдение или благонравие»[5], уже «в отдаленнейшей древности» русским были известны «две полезнейшие истины для рода человеческого: бессмертие души и воздаяние по делам, или суд Божий»[6]. Именно они составили основу русского *«особого воспитания»* и быстрого утверждения на Руси христианской веры, в свою очередь ставших «душой Русского правительства»[7]. Поэтому Глинка согласен с утверждением Руссо, что «истинное государственное хозяйство состоит в воспитании»[8], и в свою очередь заявляет, что «воспитание отечественное» составляет «могущество, верность и власть держав»[9]. Причем он не считает зазорным ссылаться на произведения одного из страстно критикуемых им французских просветителей, а именно на упомянутую нами выше работу «Соображения об образе

[1] Русский вестник. 1808. № 6. С. 80–82, 84–86.
[2] Там же. 1808. № 1. С. 44.
[3] Там же. № 7. С. 59.
[4] Там же. С. 51.
[5] Там же. № 2. С. 279.
[6] Там же. 1809. № 1. С. 177.
[7] Там же. 1808. № 9. С. 363.
[8] Там же. С. 126.
[9] Там же. 1812. № 6. С. 45.

правления в Польше», и делает это на страницах своего журнала не раз[1]. Таким образом, неверно утверждение М. Велижева о том, что Глинка «фактически… мог опереться» на это произведение, но «конечно, никогда не называя и не цитируя» его[2].

Особо следует отметить, что воспитание в трактовке Глинки представляло собой сочетание образованности и знаний с нравственностью, причем последней он отводил первенствующее место, так как знание, не подкрепленное нравственностью, могло быть использовано в деструктивном направлении[3]. Это продемонстрировало историческое развитие тех европейских стран (прежде всего Франции), которые оказались затронуты процессом секуляризации сознания, вызванного распространением атеистической в своей основе идеологии просвещения. Глинка называет такое просвещение «мнимым», при этом принципиально важным для него является тот факт, что оно уже дискредитировано Французской революцией. В качестве антитезы Глинка вводит понятие «истинное просвещение», которое «состоит в сообразовании склонностей и страстей наших с уставами Бога, рассудка и совести, и с устремлением оных ко благу человечества, особенно же к пользе сограждан наших»[4]. Именно такое истинное просвещение явилось основой «отечественного воспитания»[5]. Таким образом, он противопоставляет «иноземное воспитание», главной ценностью которого является рацио, и антирациональное, религиозное в своей основе «отечественное воспитание».

С организационной стороны «отечественное воспитание», по мнению С.Н. Глинки, предполагало, во-первых, исключительное внимание родителей к процессу обучения своих детей, к тому, кто, как и чему учит ребенка, причем это объявлялось их «первой обязанностью»[6]. Во-вторых, «Русский вестник» требовал подготовки русских педагогических кадров, учреждения русских училищ и пансионов, составления отечественных учебных пособий и преподавания на русском языке[7].

Что же касается содержательной стороны образовательного процесса, то его стержнем должно было стать изучение русской истории. Уже во вступительной статье к первому номеру «Русского вестника» Глинка говорил о намерении составить на страницах своего издания «новую отечественную историю: историю о добродетельных деяниях и благотворных заведениях»[8] как средоточие позитивных моделей поведения, которым родители должны были обучать своих детей. При этом решающую роль для автора имело следование традиции, опора на исторический опыт предков. Без этой опоры, с его точки зрения, невозможно благополучное развитие общества, что доказал трагический опыт «философов осьмагонадесять столетия», основывавших свои проповеди на «мечтах воспаленного и тщеславного воображения»[9].

«Бог. Вера. Отечество» – таковы, по мнению издателя, основы праотеческой нравственности[10]. Наши предки никогда не сомневались в существовании

[1] Напр.: Русский вестник. 1808. № 2. С. 173; № 5. С. 220 и др.

[2] *Велижев М.* Об источниках «петровской» концепции С.Н. Глинки // Петр Великий. М., 2007. С. 43.

[3] Русский вестник. 1808. № 7. С. 26–27.

[4] Там же. С. 21.

[5] Там же. С. 21, 38–39, 47–48.

[6] Там же. № 8. С. 190.

[7] Там же. 1811. № 7. С. 125–134.

[8] Там же. 1808. № 1. С. 4.

[9] Там же. С. 6.

[10] Там же. 1811. № 8. С. 71.

Бога, в его всемогуществе и знали, что всё в земной жизни предначертано Божественным Провидением, считал он. Явно противопоставляя «старинных русских» просветителям и многим своим современникам, Глинка утверждал, что первые «никогда не умствовали, будто бы познание видимого или вещественного мира, должно уничтожать бытие… Бога, и будто бы Тот, кто одним словом создал вселенную, ни в чем не отличается от вещества бездушного! Исповедуя Бога в простоте своего сердца они говорили, что видимое творение приводит к совершеннейшему познанию Творца, к прославлению имени его, и убеждает в том, что Бог создал мир, произвел все в нем находящееся и дал движение Твари»[1]. Поэтому в старину люди жили, следуя божественным законам и уставам Веры. Вера – краеугольный камень праотеческой нравственности. На протяжении многих веков она поддерживала гармоничное развитие Отечества. Вера, «учиняющая всех чадами Отца небесного»[2], во-первых, уравнивала всех людей перед Богом, во-вторых, превращала русское общество в братский союз. Поэтому «старинных русских» никогда не возмущало существование социального неравенства, ибо они осознавали свою причастность к высшему «християнскому равенству», то есть все они были равны перед Богом. Существование сословной системы в российском государстве виделось им явлением таким же нормальным и необходимым, как различное положение членов в семье. Они осознавали, что «малое семейственное владычество есть образец всех других владычеств. В Державе обширной и благоустроенной все то же, что и в тесном кругу семейства. Владыка есть отец-наставник, судия и распорядитель; подданные суть чада»[3]. Эту иерархию они воспринимали лишь как частное проявление природного неравенства, установленного на земле Богом. Поэтому «всякое старшинство было для них священно»[4]. Наши предки, утверждает Глинка, осознавали, что отсутствие общественного начальства и повиновения ему угрожает стабильности и безопасности государства. Поэтому русские люди всех сословий, как любящие и послушные дети, служили своим монархам-отцам. Монархическое государство они считали единственно возможным и легитимным, а потому «лучше желали умереть, нежели жить самоуправно и без главы законной»[5]. В свою очередь, русские государи «могущества своего не отделяли от щастия и великости своего народа», равно заботились обо всех сословиях[6], «старались о распространении правил необходимых для счастия человеческого и гражданского»[7]. Их отеческая опека над народом подавала пример нравственного взаимоотношения с подданными всем представителям высших сословий. Потому русские бояре и дворяне были любящими, милосердными отцами своим подчиненным[8], они «учреждали общенародные празднества, угощения и сближались с простолюдимством, не умаляя ни сана, ни достоинства своего»[9]. Таким образом, в концепции Глинки Вера являлась основой особого социального порядка праотеческой Руси.

Этот порядок воспроизводился благодаря тому, что Вера составляла основу праотеческого воспитания, ибо оно базировалось на священных и ду-

[1] Русский вестник. 1809. № 5. С. 165.
[2] Там же. 1812. № 6. С. 86.
[3] Там же. 1815. № 2. С. 16–17.
[4] Там же. 1812. № 6. С. 78.
[5] Там же. № 5. С. 64.
[6] Там же. № 6. С. 267.
[7] Там же. 1808. № 4. С. 29–30.
[8] Там же. № 9. С. 365.
[9] Там же. № 2. С. 130.

ховных книгах[1]. Обучением своих детей занимались родители, которые сообщали своим питомцам знания прежде всего о родной стране, свято чтимые «праотеческие предания», словом, все, что возбуждало в молодом поколении патриотические чувства[2]. «Любовь к Богу, к ближнему и к Отечеству» составляла «нравственное воспитание»[3].

Оно дополнялось «воспитанием физическим», заключавшимся в том, что предки «жили сообразно природе, употребляли здоровую, простую и отечественную пищу: привыкали с младенческих лет к трудам и непогодам»[4]. Отечественное воспитание готовило наших предков к «бытию гражданина», который жертвует своим частным благом ради общего, так как понимает, что первое без второго невозможно[5].

Особое внимание Глинка придает тому факту, что праотеческое воспитание было общенародным, то есть одинаковым «для земледельцев от сохи, и бояр от теремов княжеских»[6]. Причем Россия – единственная и «в древних», и «в новых областях» страна, где с момента принятия христианства воспитывались не только привилегированные сословия, но и простолюдины[7]. В результате в старой России не существовало того культурного разрыва, который Глинка видел в настоящем, и «голос России для всех… был равно понятен»[8]. Поэтому, как утверждает издатель, в старину представители верхушки общества не презирали простой народ. Руководствуясь нормами христианской морали, учившей, что «душа превыше всего»[9], наши предки оценивали человека не по богатству и чинам, а по его личным достоинствам и заслугам. Потому вышестоящие по социальной лестнице не боялись признать выдающихся качеств нижестоящих. Яркой иллюстрацией Глинка считал события Смуты, когда простой купец Минин возглавил дворянские дружины[10]. Не зная ни «мод», ни «роскошей», представители всех сословий вели одинаково простой образ жизни, были скромны и умеренны в своих желаниях, и все необходимое находили в своем Отечестве. Так, издатель утверждает, что даже русские цари «жили почти в таких же домах, как и подданные их»[11]. «Старинные русские» знали цену нажитому их предками имуществу, потому не спускали его на ветер, а были очень бережливы: «Платье прадеда переходило к правнуку»[12]. Не расточительные на предметы материального мира, наши предки обладали исключительной духовной щедростью. К ней Глинка относил милосердие, сострадание, гостеприимство и т.д. Например, в одной из статей Глинка рассказывал о том, как, узнав, что его подданные стали менее гостеприимны, царь Иван Васильевич Грозный облекался в рубище и «посещал отдаленные хижины», «стараясь чрез то восстановить в земле Русской гостеприимство»[13]. Квинтэссенцией всех этих качеств издатель представлял благотворение, то есть всемерную помощь ближним, прежде всего слабым и неимущим.

[1] Русский вестник. 1811. № 7. С. 22.
[2] Там же. 1812. № 6. С. 30–31.
[3] Там же. 1808. № 2. С. 294.
[4] Там же. С. 294.
[5] Там же. С. 295.
[6] Там же. 1812. № 5. С. 48.
[7] Там же. С. 45–48.
[8] Там же. 1808. № 6. С. 288.
[9] Там же. 1812. № 5. С. 47.
[10] Там же. № 6. С. 14–15.
[11] Там же. 1808. № 7. С. 33.
[12] Там же. № 3. С. 261.
[13] Там же. 1812. № 12. С. 62–63.

Глинка утверждает, что благотворительной деятельностью занимались все слои населения[1]. Особое же внимание издатель уделял благотворительной деятельности российских монархов. Видимо, таким образом он пытался произвести наибольший эффект на своих современников. Так, Михаил и Федор Романовы, писал Глинка, «не только с добрыми гражданами делились доходами и царским своим имуществом, но простирали отеческое попечение еще и на законопреступников»[2]. «Простота нравов, уважение к старости, стыдливость, истинная чувствительность, изъявляющаяся в спомоществовании несчастным, гостеприимство, откровенность, дружелюбие»[3] – таковы в общем виде черты национального характера русских, также сформированные религиозным мировосприятием.

Таким образом, Вера, которую Глинка считал основой особой «Русской нравственности»[4], являлась источником «единодушия и единомыслия» русского народа[5]. Эти две силы обеспечивали крепость и гармоничность общества и государства в допетровской России. Такое государство, как доказывает Глинка, могло противостоять любой внешней опасности: оно выстояло в период татаро-монгольского нашествия[6] и в Смутное время[7] (эти и вообще все «темные» моменты отечественной истории издатель считал следствием забвения некоторыми членами общества «уставов Веры»; но они были исключением и преодолевались благодаря тому, что все остальное население оставалось верным праотеческой нравственности[8]).

В рамках своей концепции исторического прошлого России Глинка воспроизвел утопическую модель общественного устройства. Его идеалом было сильное монархическое государство, интересы которого стояли выше интересов отдельной личности, но одновременно выступали и гарантом последних. Все социальные отношения в этом государстве уподоблялись отношениям семейным. В результате государь выступал не просто как глава своего народа, но как его любящий отец, неустанно заботящийся о благе своих подданных; последние, в свою очередь, должны были выступать как его послушные и преданные дети. В эту же схему Глинка укладывал все отношения начальства-подчинения. Иерархическая структура общества отводила каждому его члену четко и справедливо определенные в соответствии с его социальным статусом права и обязанности. Благодаря их выполнению, государственный механизм должен был действовать без сбоев, так как каждая его деталь работала на «общее благо». Это общество могло не опасаться возможности социальной напряженности, ибо регулятором взаимоотношений между людьми выступала общая для всех христианская мораль. Таким образом, эта модель имела отчетливо выраженную нравственную природу и утверждала господство над миром нравственных законов. Издатель «Русского вестника» надеялся, что достоинства этой «азбуки общежития», якобы доказанные опытом прошедших столетий, вызовут желание его соотечественников претворить данный идеал в современности.

Концепция русской истории, предложенная С.Н. Глинкой в «Русском вестнике», была сильно мифологизирована и идеализирована. Сам издатель, исходя из дидактического назначения истории, считал это вполне оправданным:

[1] Русский вестник. 1810. № 7. С. 40.
[2] Там же. 1808. № 7. С. 33.
[3] Там же. С. 64.
[4] Там же. 1815. № 2. С. 43.
[5] Там же. 1812. № 6. С. 80.
[6] Там же. 1808. № 4. С. 48.
[7] Там же. 1810. № 7. С. 13–45.
[8] Там же. 1811. № 9. С. 87–97.

«Мысленное начертание добродетельных и верных сынов Отечества не есть *обман*, – писал он – но *желание*, чтобы вместе с описанием их дел, и изображение их лиц переходило в потомство»[1]. При этом не стоит забывать, что исторические статьи Глинки базировались на обширной источниковой базе: в «Русском вестнике» были опубликованы рукопись о Задонском побоище[2], «Поучение детям» Владимира Мономаха[3], отрывки из Кормчей книги[4], многочисленные документы эпохи Смуты[5] и царствований первых Романовых[6] и др.[7] Своеобразным было авторское толкование этих материалов. С.Н. Глинка разделял «ученую критику» и «нравственное рассмотрение» исторического источника, и если первая акцентирует внимание на фактической достоверности документа, то второе «вникает в деяния, от которых зависит благо или вред общественный; оно изыскивает причины твердости нравов, силы добродетелей, прочности законов и единодушия народного»[8]. Сам Глинка руководствовался принципом «нравственного рассмотрения» источника. Поэтому принципиально важен характер идеализации им российского прошлого, так как добродетели, которые Глинка приписывал предкам, были очень созвучны с теми ценностями, которые он усвоил в кадетском корпусе благодаря изучению античной истории и европейской литературы. Хотя сама публикация документов по русской истории должна была опровергать точку зрения иностранных авторов, видевших в допетровской России варварскую страну и отстаивать тезис о самобытности и богатом историческом прошлом русской культуры, издатель не смог скрыть своей зависимости и своеобразного комплекса неполноценности в отношении западноевропейской

[1] Русский вестник. 1812. № 5. С. 2.

[2] Рукопись о Задонском побоище под заглавием: «Сказание о Задонском побоище как бысть то побоище» // Там же. 1810. № 3. С. 1–32.

[3] Правила русского воспитания, или нравственное рассмотрение духовной князя Владимира Мономаха // Там же. 1815. № 2. С. 3–45.

[4] Краткие выписки из Кормчей книги и замечания на оные // Там же. 1808. № 8. С. 189–200.

[5] Выписки из рукописи под заглавием: грамоты от 1610–1613 гг. // Там же. 1810. № 7. С. 13–45; № 8. С. 32–55; Отрывки о ратном деле из указов, изданных при царях Василии Ивановиче Шуйском и Михаиле Федоровиче, с некоторыми примечаниями, из книги: Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки, изданный Анисимом Михайловым // Там же. 1811. № 5. С. 11–34; Рассмотрение грамоты, писанной московскими обывателями в разные города в генваре 7119 г., во время междуцарствия // Там же. № 12. С. 40–65; Подвиги Прокопия Ляпунова во время междуцарствия // Там же. 1812. № 2. С. 1–12; № 3. С. 1–45; № 4. С. 1–38 и др.

[6] О запрещении продажи табаку и ревеню царями Михаилом Федоровичем и Алексеем Михайловичем из рукописи: «Грамоты в государствование царей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Феодора Алексеевича, 1613–1682 гг.» // Там же. 1809. № 4. С. 55–68; Наставление царю Алексею Михайловичу Симеона Полоцкого // Там же. № 11. С. 139–161; № 12. С. 280–315; 1810. № 2. С. 1–22; № 4. С. 36–56; № 9. С. 51–86; Грамота Алексея Михайловича в Туринск, об отдании чести святым дарам // Там же. № 11. С. 35–56; Поучительная грамота царя Алексея Михайловича в Туринск о божьем гневе и об учреждении поста, из рукописи // Там же. 1811. № 1. С. 56–71 ; Выписки и замечания из хитрости ратного дела или воинского устава, изданного в царствование царя Алексея Михайловича // Там же. № 2. С. 62–80.

[7] Военные наставления князя Игоря сыну Святославу, из рукописи «Царство Русское, сиречь подробное и обстоятельное повествование о всех деяниях, бывших в русском царстве, о различных судьбах оного и проч., от многих иностранных и русских летописей собранное по высочайшему повелению великого государя и царя Алексея Михайловича» // Там же. 1809. № 4. С. 36–55; Сила примера, выписки из рукописи Курбского // Там же. № 11. С. 190–194; Краткое рассуждение о поучительных словах и выписка из проповедей Гедеона // Там же. 1811. № 10. С. 42–68.

[8] Там же. № 4. С. 32–35.

культуры. Это выражалось в постоянном сравнении каких-либо фактов или явлений российского прошлого с аналогичными данными из западноевропейской культуры. Так, древние русские стихотворения Глинка уподобляет «поэмам Оссияновым и старым Французским балладам», и в тех и в других, с его точки зрения, изображены одинаковые добродетели, «которые хранят и подкрепляют общества»: «человеколюбие, правота, защищение слабого и невинного от хищной и сильной руки; гостеприимство, богобоязненность, нежность, сострадание к злополучию, и усердие к Отечеству»[1]. А педагогические методы воспитателя Петра I Зотова, по мнению Глинки, предвосхищали соответствующие теории Э.Б. де Кондильяка, И.Г. Песталоцци и Ж.-Ж. Руссо[2].

Следующим обязательным условием «отечественного воспитания» было преподавание на русском языке, проблема, которая в начале XIX в. выходила за рамки чисто лингвистической. Спор между сторонниками «старого» и «нового» слога, или архаистами и новаторами, по общему признанию исследователей, носил мировоззренческий характер, касаясь широкого круга общественно-политических проблем[3]. Начало его условно можно отнести к 1792 г., когда впервые была опубликована знаменитая повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». Посвященная любви простой крестьянской девушки и написанная ясным, доступным, простым языком, она положила начало новому сентиментальному направлению в литературе, а его лидер Н.М. Карамзин вскоре приобрел множество подражателей. Однако для некоторых литераторов «несерьезный, легкий» карамзинский подход, ориентированный на западные, прежде всего французские образцы, оказался неприемлем. Взгляды этой группы выразил А.С. Шишков в вышедшем в 1803 г. «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка»[4]. А.С. Шишков и его сторонники рассматривали язык как субстанцию, которая предопределяет миросозерцание человека. С их точки зрения, в природе, строе и духе национального языка содержится освященный национальной историей и традицией комплекс нравственных устоев, который автоматически вместе с языком вливается в сознание носителя и приводит его к определенным мыслям и поступкам, соответствующим духу нации[5]. Таким образом, в их критике карамзинистов речь шла не только о стремлении последних усвоить западную, прежде всего французскую словесность, но и о неизбежно сопровождавшей этот процесс переориентации русского общества на французские культурно-поведенческие модели и игнорировании национальной культурно-исторической традиции[6].

[1] Русский вестник. 1808. № 3. С. 374.

[2] Там же. № 7. С. 28.

[3] *Альтшуллер М.Г.* Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. М., 2007. С. 26–50; *Живов В.М.* Язык и культура в России XVIII в. М., 1996. С. 444; *Киселева Л.Н.* К языковой позиции «старших архаистов» (С.Н. Глинка, Е.И. Станевич) // Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. 1983. Вып. 620. С. 18–29 (далее – К языковой позиции…); *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры // Учен. зап. Тартус. гос. ун-та. 1975. Вып. 358. С. 168–254; *Минаков А.Ю.* Франкобесие // Родина. 2002. № 8. С. 18–19; *Проскурин О.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. С. 19.

[4] *Альтшуллер М.Г.* Александр Семенович Шишков // Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия. Воронеж, 2005. С. 35–40; *Минаков А.Ю.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка А.С. Шишкова – первый манифест русского консервативного национализма // Проблемы этнической истории Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в новое и новейшее время. Воронеж, 2002. С. 239–253 (далее – Рассуждение…).

[5] *Киселева Л.Н.* К языковой позиции… С. 24.

[6] *Минаков А.Ю.* Рассуждение… С. 240.

С.Н. Глинка примыкал к стану шишковистов. Однако вопросам языка он не отводил такого значительного места, какое те занимали в произведениях А.С. Шишкова. Если последний рассматривал язык как центральный элемент национальной культурно-исторической традиции, то для Глинки таким элементом было «отечественное воспитание» как средоточие и транслятор культурных, нравственных, общественно-политических ценностей, созданных конкретным народом за историю его существования; а национальный язык выступал лишь как одно из его звеньев. Тем не менее Глинка разделял взгляды А.С. Шишкова на роль языка в общественной жизни, поэтому его также волновала проблема повального увлечения русского образованного общества иностранными языками, когда «неусыпно занимаясь иностранными наречиями и не выезжая из России, мы живем и воспитываемся, как будто бы в земле иноплеменной»[1]. Глинка имел в виду не только языковые вопросы: в соответствии с шишковистской языковой концепцией чтение иностранной литературы и переводов оборачивалось превращением русской действительности в «*перевод* [здесь и далее курсив С.Н. Глинки – *Н.Л.*] мод, дел и умствований иноплеменных»[2]. Речь шла прежде всего о французском языке, который в обиходе русской аристократии той эпохи совершенно вытеснил родной язык. Поэтому, пытаясь вернуть своих читателей к отечественному языку, издатель «Русского вестника» не просто указывал на его достоинства, но делал акцент на его превосходстве перед французским языком.

Примечательно, что, решая этот вопрос, шишковисты исходили из сформулированного просветителями, прежде всего Ж.-Ж. Руссо, представления о том, что более совершенным является тот язык, который «естественнее», ближе к «Природе»[3]. Таким и представлялся им отечественный язык, и его «природность» они рассматривали с нескольких сторон. Во-первых, отечественный язык «образовался сам собою» или «сам из себя», то есть явился творением природы, а не человека[4]; с момента своего возникновения «изобилен был и богат, но еще более обогатился красотами, заимствованными от сродного ему Эллинского языка, на коем витийствовали гремящие Гомеры, Пиндары, Демосфены, а потом Златоусты, Дамаскины и многие другие Христианские проповедники»[5], то есть лингвистическими достоинствами создавшей высокую культуру античной греческой и высокую нравственность византийской православной цивилизаций. Французский же язык «изник из развалин языка Латинского, который пал от развращения нравов народа на нем говорившаго»[6]. Подобное «низкое» происхождение французского языка во многом объясняло для архаистов истоки революционных событий в этой стране, следовательно, «высокая» природа языка русского означала соответствующие перспективы развития России.

Второй аргумент А.С. Шишкова и его сподвижников в пользу «естественности» отечественного языка – это обилие в нем сложных слов, то есть слов с проясненной внутренней структурой. Таким образом, связь знака с денотатом в нем оказывалась более непосредственной. Согласно архаистам, такой язык как бы преодолевал условную природу человеческого языка. Как убедительно показывает Л.Н. Киселева, это положение языковой теории архаистов было ге-

[1] Русский вестник. 1811. № 7. С. 78.

[2] Там же. С. 79.

[3] *Киселева Л.Н.* К языковой позиции… С. 24. Подробнее о взглядах А.С. Шишкова на этот вопрос см.: *Виноградов В.В.* Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. М.; Л., 1935. С. 63–64.

[4] *Киселева Л.Н.* К языковой позиции… С. 26.

[5] Цит. по: *Минаков А.Ю.* Рассуждение… С. 245.

[6] *Киселева Л.Н.* К языковой позиции… С. 26; см. также: *Альтшуллер М.Г.* Александр Семенович Шишков. С. 40.

нетически связано с идеями Руссо, для которого «условная природа языка предопределяет человеческую ложь, а искренность связана с отказом от всякой условности, в том числе языковой. Развивая эту идею Руссо, «старшие архаисты» пишут о том, что языковая условность разрывает непосредственную связь между словом и действием, поступком, дает возможность, говоря одно, делать другое»[1].

С.Н. Глинка развивает этот тезис. С его точки зрения, вторжение французского языка в русский выражается не только в заимствовании французских слов, но и в изменении значения русских. Например, в статье «Нравственное объяснение некоторых слов и речений» он говорит, что слово «равнодушный» изменило свое значение с «равный, сходный душою» на «хладнокровный», а «утонченный» с отрицательного значения, производного от «умаления», приобрело значение положительное – «приятный, изощренный учением хороших образцов»[2]. Подобные метаморфозы отражаются в нравах общества: «С изменением значения слов изменяются и понятия; слова тесно соединены с мыслями, а мысли с делами. Что же воспоследует, если каждое столетие и полустолетие, *слова*, *понятия* и *деяния* наши будут изменяться; наконец, если каждый год и каждый месяц, будем *образовываться* по прихотям вкуса и мод заграничных?»[3].

Понятно, что влияние «безнравственного», «условного» французского языка автоматически ведет к порче нравов. В этом контексте Глинка подчеркивает «природность» и «естественность» русского языка в том смысле, в котором его понимали в лагере А.С. Шишкова: «Мы из двух или трех имен составляем одно, и тем самым не простое воспоминание вещи возбуждаем в памяти, но и образ ее представляется воображению: *сладкогласный, самодержавный, великосердый, громоносный* и проч. … Такого стихотворного соединения не терпит язык французский»[4]. Этот акцент усиливается введением антитезы: Глинка не просто говорит о бедности французского языка, но и ссылается на соответствующее мнение наиболее популярных в России французских просветителей. Так, в статье «Вольтерово рассуждение о бедности французского языка» он приводит следующее высказывание этого мыслителя: «Все доказывает варварство щеголеватого Французского языка»[5]. В этой же статье приводится мнение Вольтера о греческом языке, который он называет изящнейшим именно в силу обилия сложных слов. Глинка комментирует это следующим образом: «Тоже можно сказать и о Русском языке, присовокупляя к тому, что красоты оного усугубились богатством, занятым от Греческого слова»[6]. То есть издатель «Русского вестника» признает и первый из указанных постулатов последователей А.С. Шишкова. Однако взгляды Глинки обладали некоторой спецификой.

В отечественном языке А.С. Шишков выделял два слога или наречия: церковно-славянский язык, который посвящен важным предметам (это слог Священного Писания, торжественных од и пр.), и русский язык, на котором разговаривают и пишут тексты более простые (фольклор, сатиры и пр.). При этом он отталкивался от ошибочного с историко-языковой точки зрения положения о том, что церковно-славянский язык был «корнем и началом» российского языка, и именно через церковно-славянский язык русский обогатился красотами греческого слова[7]. Глинка же в одной из статей «Русского вестника» за 1810 г.

[1] *Киселева Л.Н.* К языковой позиции… С. 25.
[2] Русский вестник. 1811. № 8. С. 91–103.
[3] Там же. С. 91.
[4] Там же. 1808. № 7. С. 66; 1811. № 7. С. 69.
[5] Там же. 1808. № 7. С. 66.
[6] Там же. С. 72.
[7] *Минаков А.Ю.* Рассуждение… С. 245–246.

осмелился утверждать «еретическую» для архаиста мысль об историческом первенстве и самостоятельном существовании русского языка независимо от церковно-славянского: «Славянский язык в сродстве с Русским... *Какой же был старинный Русский язык, и не осталось ли от него хотя некоторых следов?* К счастью песнь о полке Игоря разрешает хотя отчасти сей вопрос; в ней находим свидетельство о коренном Русском слове»[1]. Можно согласиться с мнением Л.Н. Киселевой, отметившей здесь влияние на Глинку языковой позиции главы противоборствующего литературного лагеря Н.М. Карамзина. Согласно мнению этой исследовательницы, Глинка в данном пассаже фактически воспроизводил следующее высказывание лидера «новаторов»: «Авторы или переводчики наших духовных книг образовали язык их совершенно по Греческому... изменили первобытную чистоту древнего Славянского. *Слово о полку Игореве,* драгоценный остаток его, доказывает, что он был весьма отличен от языка наших церковных книг»[2]. Интересно, что о Н.М. Карамзине Глинка на страницах своего издания упоминал с не меньшим пиететом, чем об А.С. Шишкове.

На рубеже 1810–1811 гг. вышли две значительные работы А.С. Шишкова – брошюра «Рассуждение о красноречии священного писания и о том, в чем состоит богатство, обилие, красота и сила Российского языка, и какими средствами оный еще более распространить, обогатить и усовершенствовать можно...» и книга «Разговоры о словесности между двумя лицами Аз и Буки: а) Разговор I. О правописании; б) Разговор II. О русском стихотворении», в которых он развивал основные положения своей лингвистической теории[3], и их появление ознаменовало новый виток полемики между «архаистами» и «новаторами». В пятом и седьмом номерах «Русского вестника» за 1811 г. были напечатаны «Выписки из разговоров о словесности, сочиненных А.С. Шишковым», которые Глинка снабдил своими сочувственными комментариями[4]. Видимо, результатом размышления над ними можно считать статью «Замечания о языке славянском и о русском или светском наречии», появившуюся в том же седьмом номере «Русского вестника» за 1811 г. С.Н. Глинка осознавал идентичность своей общественно-политической позиции взглядам членов уже появившейся к этому времени «Беседы», как и то, что его схема развития русского языка выходит за рамки шишковистской системы и никак не согласуется с утверждением Шишкова, согласно которому славянский язык является корнем и началом языка русского. Поэтому Глинка попытался оправдаться: «Может быть *светский язык* неправильно назвал я *коренным словом*. Но если и погрешил я в том, то еще повторяю, что отнюдь не помышлял отделить Русского языка от Славянского»[5]. Пытаясь согласовать эти утверждения, Глинка заявляет: «Договоры Олега... предшествовали у нас преложению духовных книг: следственно язык или *слово светское* предварило *слог духовный.* В тех *договорах чистый язык* Славянский ибо нет ни одного иностранного слова»[6]. Таким образом, «коренной язык» – язык, лишенный заимствований из чуждых по духу иностранных языков. В этом смысле – «по духу» – русский и славянский – это один язык.

Однако вслед за Шишковым Глинка уточняет, что они составляют «два наречия, нераздельные по сродству, но различные по употреблению»[7]. Он предлагает следующую концепцию развития русского языка: «старинный», или «ко-

[1] Русский вестник. 1810. № 5. С. 129–130.
[2] Цит. по: *Киселева Л.Н.* К языковой позиции... С. 27.
[3] *Альтшуллер М.Г.* Александр Семенович Шишков. С. 50–53.
[4] Русский вестник. 1811. № 5. С. 80–130; № 7. С. 8–43.
[5] Там же. 1811. № 7. С. 57–58.
[6] Там же. С. 57.
[7] Там же. С. 90.

ренной», русский язык, который «служит к разговорам, к изображению мыслей и к начертаниям Природы»[1], существовал до принятия христианства, о чем свидетельствуют договоры русских князей с греками; он сохранился и после крещения Руси, это доказывает «Слово о полку Игореве», которое Глинка трактует как памятник светской литературы[2]. Первое вторжение «чужеязычия» произошло при переводе греческих книг, после которого можно говорить о существовании русского и славянского (церковного) языка. Причем Глинка рассматривает этот языковой симбиоз именно как вторжение, в чем опять же близок к позиции карамзинистов, считавших церковнославянский язык особым, которому надо учиться как иностранному, а славянизмы – заимствованиями, которые надлежит устранить из «чистого» русского языка[3]. Зато «под игом Татар, Славянский язык, охраняемой благочестием и Верою, пребыл неизменен и непоколебим: Русский начал заражаться чужеязычием»[4]. «Со времени тесного сближения России с Европою» пострадали оба языка: «Русский слог затмили чужеязычием; в язык Славянский начали вносить речи, величию его несвойственные»[5], хотя русский язык, безусловно, «пострадал» больше.

Таким образом, примыкая к лагерю А.С. Шишкова в языковой полемике начала XIX в., Глинка отличался и некоторой самостоятельностью взглядов, приближавшей его к противоборствующему лагерю во главе с Н.М. Карамзиным. Глинка был солидарен с Шишковым по вопросам о роли лингвистических заимствований и их влиянии на развитие русского языка, о красоте, богатстве и преимуществах русского языка перед французским, о функциональном предназначении различных слогов отечественного языка. Вместе с тем, он гораздо менее тенденциозен в своих лингвистических взглядах. Так, откровенно идеологизированное утверждение Шишкова, что «корнем и началом» российского языка является церковно-славянский, для главы архаистов означавшее установление преемственности с православными ценностями, было вначале отвергнуто Глинкой. Основываясь больше на знакомых ему исторических источниках и фактах, нежели движимый своими идеологическими убеждениями, Глинка первоначально занял позицию более близкую карамзинистам и настаивал на историческом первенстве светского русского языка. Однако в пору очередного обострения полемики в 1811 г., которое нагнеталось предчувствием событий 1812 г., ему пришлось окончательно определиться со своей позицией в этом споре и полностью согласиться с концепцией Шишкова, к лагерю которого он, несомненно, принадлежал по своим общественно-политическим позициям. Хотя, на наш взгляд, это согласие было скорее дипломатической мерой, нежели реальным признанием правильности позиции Шишкова. В любом случае, первостепенное значение для издателя «Русского вестника» имело возвращение своих соотечественников, говоривших по-французски, к «истинному» источнику нравственности – родному языку.

С помощью «отечественного воспитания» читатели «Русского вестника» должны были вернуться к традиционным для России нормам поведения и жизни в обществе. Важнейшей из них было исполнение своей «должности», то есть заложенных в социальном статусе каждого человека обязанностей, которым соответствовали и определенные права. С точки зрения Глинки, каждый человек должен трезво оценивать свои силы, недостатки, достоинства и характер

[1] Русский вестник. 1811. № 5. С. 86.

[2] *Киселева Л.Н.* Еще раз о С.Н. Глинке – читателе «Слова о полку Игореве» // Finitis luodecum lusris: Сб. ст. к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. Таллин, 1982. С. 97–100.

[3] *Живов В.М.* Указ. соч. С. 433.

[4] Русский вестник. 1811. № 7. С. 87.

[5] Там же. С. 70.

общения с другими людьми – с тем, чтобы «узнать назначение твое в сем мире, цель и должности жизни твоей»[1]. Исполнение своей должности было основой сохранения стабильности общественного порядка. Глинка утверждал, что все социальные потрясения были вызваны нарушением общественных границ и соответствующих каждому сословию обязанностей. Так, стрелецкие бунты конца XVII столетия, с точки зрения Глинки, были инициированы тем, что стрельцы оказались допущены к торговым промыслам, «несвойственным оборонителям Отечества», вследствие чего «прилепились к алчбе, буйству и своеволию»[2]. Поэтому «Русский вестник» С.Н. Глинки последовательно отстаивал необходимость сохранения жесткой иерархической структуры российского общества.

Издатель не ассоциировал ее с социальной несправедливостью и угнетением податных слоев населения на фоне процветания высших сословий. На страницах своего журнала он в законченном виде сформулировал один из стержневых принципов зрелой консервативной идеологии – принцип иерархии как регулятора требований, предъявляемых каждому члену общества в зависимости от его социального статуса: то есть чем выше положение человека, тем выше его ответственность и шире круг обязанностей[3]. Получалось, что различное положение сословий нивелировалось степенью долга и ответственности, которую несли на себе привилегированные слои. Соответственно, самой сложной должностью являлась должность монарха, который, согласно патриархальной модели общественного устройства С.Н. Глинки, был отцом всего народа и «примером своим учреждал нравы и мнение общественное»[4]. Потому значительное место в «Русском вестнике» было отведено проработке «должности» государя и образов русских государей. В статье «Свиток Вадима Храброго» Глинка подробно описал образ идеального главы государства:

«Слава Государя основана на счастье народа; власть его утверждается в сердцах подданных. Дух великого Государя возвышается величеством его сана; он имеет великие намерения и предприемлет подвиги, достойные его власти. Он созывает мужей мудрых на совет, выслушивает с благоволением их мнения и с благодарностью следует их совету. Он умеет разбирать достоинства своих подданных, и каждого употребляет по его способности. Бояре его мудры, судьи справедливы, воеводы храбры, народ послушен и верен. Владыка, сими качествами украшенный, ободряет и распространяет торговлю, покровительствует художества и науки; с людьми искусными обходится милостиво, производит в душах их благородное соревнование, и трудами их прославляется его владычество. Предприимчивость купца, распространяющего торговлю; трудолюбие земледельца, питателя государства, искусство художника, любомудрие в науках упражняющегося, все сие животворится и ободряется милосердием и щедротою его.

Великий Государь созидает новые грады, заселяет земли, до сего впусть лежавшие, соединяет реки и моря рвами, строит корабли, укрепляет пристани; народ его обогащается, и сила Государства ежедневно возрастает. Он издает мудрые законы и учреждения; подданные его пользуются трудами плодов своих в безопасности; всякого имущество для него есть свято и ненарушимо; счастье его народа состоит в исполнении закона; на суде он правдив и милостив; извиняет слабости, но не щадит злодейства; слух его всегда отверст к жалобам народа: он укрощает притеснителей его.

[1] Русский вестник. 1809. № 9. С. 283.

[2] Там же. № 10. С. 16; 1811. № 1. С. 41–42; 1812. № 5. С. 50–51.

[3] *Репников А.В.* Метаморфозы русского консерватизма: от С.С. Уварова до Никиты Михалкова // Отечественная история. 2001. № 3. С. 107–108.

[4] Русский вестник. 1812. № 6. С. 53.

Подданные почитают сего Государя отцом, взирают на него с любовью и почтением, и благословляют содетеля их благополучия. Между Государем и народом рождается взаимная доверенность; не слышен глас ропота и неудовольствия. Враги не смеют ввести подданных его в возмущение, готовых жертвовать последнею каплею крови своей. Мужество, верность и любовь составляют недремлющую стражу его Державы: от взора их с трепетом убегает враждебное злоумышление. Мир и спокойствие процветают внутри Государства; благодарность народа и слава предстоят лицу владыки»[1]. И еще одна важная характеристика образа идеального монарха заключалась в следовании национальным традициям во всех сферах общественной жизни – «в соображении деяний и учреждений своих с духом и коренными свойствами народа»[2].

С точки зрения С.Н. Глинки, все российские монархи соответствовали этому образу. Таковы представленные на страницах «Русского вестника» портреты Александра Невского[3], Владимира Мономаха[4], первых царей династии Романовых[5] и др. Однако наибольшее внимание уделялось монархам, с деятельностью которых были связаны ненавистные издателю европеизация России и пропаганда просветительских идей, – Петру I и Екатерине II. Вероятно, этот выбор можно объяснить тем, что в глазах современников Глинки фигуры этих монархов имели статус национальных икон, а потому назидательный потенциал их образов был максимально высок. С другой стороны, именно обращение к ним как представителям национальной традиции давало Глинке возможность проигнорировать неудобный для него факт коренного отличия Московской Руси от Петербургской России и таким образом рассматривать современное ему государство как прямого наследника политического строя допетровской Руси.

О важном месте фигуры Петра I в консервативно-националистической концепции С.Н. Глинки свидетельствует уже то, что статья о первом русском императоре следовала сразу за вступлением к первому номеру «Русского вестника»[6]. В ней автор обозначил все основные штрихи образа Петра I, которые в дальнейшем более подробно прорабатывались на страницах журнала. Прежде всего Глинка отступал от традиционной для XVIII в. трактовки императора как преобразователя России, открывшего новую страницу в отечественной истории. Петр позиционировался как продолжатель славных дел Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана IV, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, то есть оказывался вписан в русскую культурно-историческую традицию[7]. Глинка объяснял это тем, что будущий *русский* царь получил «истинное *русское* воспитание», идущее со времен Владимира Мономаха и основанное на любви к Богу, к ближнему и к Отечеству[8]. В строгом соответствии со взглядами издателя, воспитанием Петра занималась его мать – царица Наталья Кириллов-

[1] Русский вестник. 1809. № 9. С. 292–296.

[2] Там же. 1811. № 9. С. 78.

[3] Князь Александр Невский // Там же. 1808. № 8. С. 157–183.

[4] Правила русского воспитания, или нравственное рассмотрение духовной князя Владимира Мономаха // Там же. 1815. № 2. С. 3–45.

[5] Грамота из Тобольска в Нарым о единодушном избрании на царство Михаила Федоровича Романова // Там же. 1809. № 1. С. 83–93; О запрещении продажи табаку и ревеню царями Михаилом Федоровичем и Алексеем Михайловичем // Там же. № 4. С. 55–68; Царь Алексей Михайлович // Там же. 1810. № 1. С. 3–23; Сравнение правил и деяний Алексея Михайловича с правилами и некоторыми деяниями Людовика XIV // Там же. № 2. С. 22–40; Отрывки о ратном деле из указов, изданных при царях Василии Ивановиче Шуйском и Михаиле Федоровиче // Там же. 1811. № 5. С. 11–34 и др.

[6] Русский вестник. 1808. № 1. С. 11–22.

[7] Там же. С. 11–13.

[8] Там же. № 3. С. 294–295.

на, являвшая сыну лучший пример добродетели и приобщавшая его к «деятельному благотворению». Глинка часто рассказывал читателям о том, как Наталья Кирилловна обходила со своим подрастающим сыном все святые места, пытаясь привить ему глубокое религиозное чувство[1]; о том, как она всю жизнь помогала нуждающимся, и Петр, подражая примеру матери, собственноручно изготавливал дорогостоящие вещи, продавал их и раздавал полученные деньги в тюрьмы, больницы и беднякам[2]. Взойдя на престол, Петр получил возможность распространить свою благотворительную деятельность на все население страны. Таким образом, благодаря примеру своей матери, сама фигура которой в материалах журнала отождествляется с ценностями Московской Руси[3], Петр сформировался как высоконравственная, гуманная личность и усвоил бесценный нравственный опыт предков.

Обучением Петра конкретным наукам занимался «отечественный наставник» – Никита Зотов, которого Глинка представляет выдающимся педагогом, всерьез утверждая, что его воспитательная программа не уступала и во многом предвосхитила педагогические теории Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, и Э.Б. де Кондильяка[4]. Именно Зотов, наряду с информацией, касающейся России, сообщал своему ученику о новейших иностранных достижениях во всех сферах государственного устройства, в области военного дела, науки и техники. Полученное юным Петром образование представляло собой удачный, с точки зрения Глинки, синтез выборочной информации о действительно полезных изобретениях зарубежных, прежде всего западноевропейских стран, и исконно русских традиций служения ближним и Отечеству. Таким образом, неукоснительная реализация всех принципов «отечественного воспитания» подготовила Петра к образцовому исполнению «должности» монарха, который, «забывая личность свою, нигде не забывал подданных», «жил Отечеством и для Отечества»[5].

С.Н. Глинка оригинально интерпретировал государственную деятельность Петра Великого. Так, он полностью игнорировал факт проведения в его царствование крупномасштабных политико-административных реформ. Внимание издателя привлекали лишь некоторые направления его деятельности. Во-первых, внимательность Петра к крестьянам, его забота об их благосостоянии. Правда, Глинка никогда не представлял конкретных доказательств такой заботы, а ограничивался патетическими восклицаниями вроде следующего: «Ни в какое время не забывал Он хижин поселян, пашен и трудов их»[6]. Зато, следуя своим умозрительным построениям, Глинка рисовал перед читателями идиллические картины, в которых великий монарх посещал крестьянские хижины, сидел за одним столом с их жителями и угощался пищей простого наро-

[1] Русский вестник. 1808. № 12. С. 281.

[2] Там же. 1809. № 3. С. 482–483.

[3] Это можно проследить по многочисленным материалам журнала, посвященным русской царице: Царица Наталья Кирилловна, отрывок из послания к Вольтеру // Там же. 1808. № 2. С. 192–194; Воспитание Натальи Кирилловны Нарышкиной в доме боярина Матвеева // Там же. № 6. С. 291–306; Царица Наталья Кирилловна, или свойство матери россиянки // Там же. № 12. С. 261–317; Прощанье царицы Натальи Кирилловны с братьями во время стрелецкого бунта // Там же. 1810. № 11. С. 1–11; Сватовство царя Алексея Михайловича к дочери боярина Матвеева // Там же. № 10. С. 3–11. В этих статьях Наталья Кирилловна предстает как архетип истинной русской женщины – жены, матери, дочери, сестры – и олицетворение семейственных добродетелей.

[4] Зотов, наставник Петра I, или рассмотрение способа его учения и соображение оного с правилами Ж.-Ж. Руссо, Кондильяка, Локка и прочих писателей о воспитании // Там же. 1808. № 9. С. 299–330.

[5] Русский вестник.1810. № 4. С. 98.

[6] Там же. № 11. С. 65.

да[1]. Именно в таких сюжетах Петр воплощал базовые образы модели Глинки: он изображался как добрый, любящий отец своих подданных, как человек, вполне осознавший краеугольный для издателя принцип «християнского равенства» и не признающий социальных барьеров. Что же касается реального тяжелого положения крестьянского населения в петровский период, то его Глинка обходил стороной.

Во-вторых, концептуально важным для Глинки было уничтожение Петром Великим последних остатков местничества и выдвижение на первый план принципа личных достоинств и заслуг человека. Таким образом, при сохранении иерархической структуры общества, без которой, по мнению издателя, государство обязательно погрязнет в произволе и анархии, значительно повышался уровень социальной мобильности: теперь любой россиянин, обладавший выдающимися талантами в какой-либо сфере, мог занять в ней высокую должность, вне зависимости от своего происхождения. Это продемонстрировали судьбы А.Д. Меншикова, П.П. Шафирова и других сподвижников Петра, но особенно поучителен, с точки зрения Глинки, опыт самого государя, прошедшего через все ступени воинской службы[2].

Третья заслуга Петра I, отмеченная издателем «Русского вестника», – создание регулярной армии и военно-морского флота. Эти мероприятия потянули за собой целую цепочку других преобразований. Особое значение Глинка придавал становлению «отечественной промышленности», которую Петр называл «душой Государства»[3], «первым источником благоденствия общественного»[4]. Рассматривая этот вопрос, Глинка акцентировал в Петре ценное, с его точки зрения, качество – способность восторжествовать «над предрассудком, будто бы властителям народов стыдно и унизительно быть людьми»[5], «оставить престол и окружавшее его великолепие», снизойти до положения простого плотника и «странствовать по свету единственно для пользы своих подданных»[6]. Подобная интерпретация Петра опять же соответствовала принципу высшего «христианского равенства». Причем умение не только повелевать, но и повиноваться, когда того требуют нужды государства, с точки зрения Глинки, является продолжением семейных добродетелей Петра, который был «покорным» и «нежнейшим сыном попечительной и богобоязненной матери», во всем следовавшим ее наставлениям[7]. А на «службе» монарха он был таким же простым работником, как и все его соотечественники, с тем только отличием, что последние трудились на какой-то одной стезе, а Петр должен был вникать во все вопросы государственной жизни. Так, занимаясь становлением отечественной промышленности, он лично обучал ремесленников тому опыту, который приобрел в Европе[8], вникал во все вопросы, начиная от выбора подходящего сырья и заканчивая проблемой рабочей силы. Параллельно привлекал для работы на вновь создававшихся фабриках и мануфактурах «праздношатающуюся нищету» и, таким образом, «малолетним преграждал путь к разврату», а «взрослым доставлял труд и пропитание»[9]. То есть мудрый «Государственный Хозяин» наряду с экономическими разрешал проблемы социально-нравственного характера.

[1] См. напр.: Русский вестник. 1810. № 11. С. 65–66.
[2] Там же. 1808. № 6. С. 15.
[3] Там же. 1810. № 4. С. 107.
[4] Там же. 1808. № 3. С. 302.
[5] Там же. С. 303–304.
[6] Там же. № 6. С. 347–348.
[7] Там же. № 1. С. 17.
[8] Там же. 1809. № 3. С. 483.
[9] Там же. 1808. № 3. С. 305–306.

Затрагивая тему преобразований Петра I, С.Н. Глинка не мог обойти стороной факт европеизации России, произошедшей в петровское царствование и, с точки зрения Глинки, явившейся отправной точкой всех бед современного ему российского общества. Тем не менее издатель нашел аргументы для оправдания Петра. Прежде всего почти во всех статьях, где так или иначе затрагивается тема петровских преобразований, Глинка отстаивает право императора, как и любого другого человека, на ошибку[1]. Стараясь благоустроить Россию с помощью полезных западных нововведений, Петр, по убеждению Глинки, не видел в своей деятельности решительно никакой угрозы. И это должно полностью оправдывать монарха в глазах его потомков.

Глинка доказывает невиновность Петра I, отталкиваясь от тезиса, что все его преобразования были направлены вовсе не на то, чтобы «исторгнуть Россию из России; но чтобы укрепить и вознести ее в ней самой»[2]. Так, приглашая в свое Отечество иностранных специалистов в области промышленности, военного дела, образования, Петр желал лишь того, чтобы они обучили своему искусству его подданных, искренне надеясь, что трудолюбивые и ревностные к общему благу русские люди скоро превзойдут успехи европейцев, следовательно, нужда в их услугах исчезнет[3]. Объясняя петровские новации в светской жизни российского общества, Глинка то утверждал, что это была попытка проучить французов, считавших жителей России «медведями» и «неуклюжими увальнями»; то – расценивал как меру, направленную на сближение «спесивых бар»; а то и просто как «комедию»[4].

Согласно Глинке, Петр I имел полное моральное право надеяться на благоразумие и духовную стойкость своих соотечественников, так как сам якобы являл им пример высоконравственного поведения и обладал всеми истинно *русскими* добродетелями: скромностью, умеренностью, трудолюбием, бесстрашием и т.д.[5] Но особый акцент делался на ревностном Богопочитании Петра и его уважении и приобщенности к прошлому своей страны, к «праотеческой нравственности». Зная, что «ни природа, ни общество не могут существовать без воли и *разумения Всемогущаго»*, что «Бог движет и учреждает вселенную»[6], Петр за все свои достижения и победы благодарил Всевышнего[7]. Преклонение царя перед славной историей своей Родины, перед нравственностью и духовностью своих предков Глинка доказывает благоговейным отношением Петра к выдающимся историческим деятелям России («В бытность свою в Нижнем Новгороде, подходил он с благоговением ко гробу гражданина *Косьмы Минина;* в граде им самим основанном, с чиновниками своими встречал на Неве пренесение мощей *Александра Невского*»[8]); вниманием к «вековой опытности» русского народа, заключенной, например, в пословицах[9], которые Петр довольно часто цитировал. Таким образом, созданный Глинкой образ Петра I укоренен в традиции.

Принципиально важным для Глинки является тот факт, что все эти качества Петр обрел до своей поездки за границу в составе Великого посольства,

[1] Русский вестник. 1808. № 1. С. 20–21; *Глинка С.Н.* Зеркало нового Парижа. Ч. 1. С. 17; Русский вестник. 1810. № 4. С. 106 и др.

[2] Русский вестник. 1810. № 4. С. 108.

[3] Там же. 1808. № 3. С. 307; 1810. № 4. С. 100–101.

[4] *Глинка С.Н.* Зеркало нового Парижа. Ч. 1. С. 17.

[5] Тот же перечень качеств Глинка представляет при описании «добродетелей времен Богатырских» (Русский вестник. 1808. № 6. С. 325–340).

[6] Русский вестник. 1811. № 4. С. 17.

[7] Там же. № 3. С. 44.

[8] Там же. 1808. № 1. С. 17–18.

[9] Там же. 1811. № 11. С. 74.

и праотеческая нравственность составила своего рода иммунитет против «тлетворного» западного влияния. Это дало издателю возможность по-новому интерпретировать характер путешествия императора: «протекая чужеземные страны, Петр поучал народы и царей»[1] истинной нравственности, а не только обучался ремеслам. М. Велижев в связи с этим утверждает, что своим описанием великого посольства Петра Глинка «отвергал идею изоляционизма России. Путешествие Петра за границу, в ходе которого он обучил европейцев добродетели, становилось моделью для любого дальнейшего общения россиян с иностранцами. Отделенность России от Европы преодолевалась за счет смены актантов в дихотомии влияние/восприятие. Россия, по мысли Глинки, влияла на Европу, а та воспринимала через Петра пример истинной нравственности»[2].

Наиболее ярко иллюстрирует это положение статья «Разговор Петра Первого с Анною, Англинскою королевою», появившаяся в четвертом номере «Русского вестника» за 1810 год[3]. Статья написана в форме беседы двух монархов, в которой Анна выступает в качестве вдумчивого и внимательного собеседника, задающего «нужные» вопросы Петру. Она одновременно может служить и как образец восприятия западными монархами петровского образца поведения правителя. Так, Анна произносит, обращаясь к Петру: «Вижу сколь подвиг Твой превзошел деяния всех Царей... Многие из владык земных порочными делами помрачили блеск венца и порфиры; а Ты на обрубке дерева напечатлел следы бессмертной славы. Дивлюсь тебе, Государь!»[4]. В этой статье также затрагивается проблема вестернизации России и сопутствовавшей ей порче нравов. Глинка вкладывает в уста английской королевы следующее замечание: «Государь! Что будет, если твой народ, переняв ремесла, художества и искусства Европейские, переймет и все то, что послужит к истреблению первородного его свойства?.. Государь! стараясь обратить внимание Русских на области Европейские, Ты возбудишь любопытство, возрождающее страсти: вскоре может вторгнуться роскошь, питательница страстей, а с нею и все то, против чего вопиют теперь в странах, называемых просвещенными...»[5]. Примечательно, что здесь сквозит отрицательное отношение Анны к западноевропейскому просвещению. Характерно также, что она противопоставляет русского монарха французскому: «Кто более современника нашего, Людовика XIV, сиял славою и великолепием? Почти пятьдесят лет удивлял он Европу, блеском побед и велелепием престола своего; а теперь, скорбя о злополучии народа, стенящего под бременем лавров, он оплакивает мечты победоносной славы; с раскаянием взирает он на пышность Двора своего... он вещает Царям: “Умеренность и добродетель сохраняют Державы; честолюбие разрушает их”»[6]. Ответ Петра снимает с него всякую нравственную ответственность за европеизацию: «Государыня! Ты разительный предлагаешь пример ничтожности славы человеческой: Людовик XIV угасает в глазах наших! Да научит он, в чем же состоит неизменное благо народов! Государыня! Тобою свидетельствуюсь, того ли ищу, чего домогался современник наш, Людовик? Нет! Русские не укорят Петра исканием наружного блеска и приманок роскоши. Богу отверсто мое сердце; Он видит, какого истинного блага желаю моему Отечеству. Но я человек, я могу погрешить: вместе с полезным могу

[1] Русский вестник. 1808. № 1. С. 20–21.

[2] *Велижев М.* Об источниках «петровской» концепции С.Н. Глинки // Петр Великий. М., 2007. С. 52.

[3] Разговор Петра Первого с Анною, Англинскою королевою // Русский вестник. 1810. № 4. С. 56–68.

[4] Там же. С. 58–59.

[5] Там же. С. 62.

[6] Там же. С. 63–64.

ввести что-нибудь и вредное, могу увлечься быстрым стечением обстоятельств и нетерпением, да наслажусь скорее плодами трудов моих. Не скрываю сего чувства: оно есть единственная награда Петру за все предприятия его. Отдавая на суд потомства мои дела, скажу Россиянам: «Сыны России! Я оставляю вам пример мой и дела мои. Если, научась ремеслам и искусствам, вы обольститесь приманками роскоши Европейской, вспомните только, чем занимался Петр?.. В роскошах ли, в забавах ли провождал он жизнь свою? К твердости ваших душ, к крепости ваших мышц он желал присоединить *внутреннюю промышленность*: сии три силы вознесут Россию на верх возможного Государственного Благополучия. Не для того странствую, не для того тружусь, чтобы исторгнуть Россию из России; но чтобы укрепить и вознести ее в ней самой»[1].

Самым значительным в концептуальном плане сюжетом для Глинки являлось посещение Петром I Парижа. Пребывание Петра в других крупнейших городах Европы не вызывало такого пристального внимания. Визиту же в Париж посвящена и отдельная статья в «Русском вестнике»[2], и значительное место в «Зеркале нового Парижа», произведении, которое, как уже упоминалось, было создано в годы издания журнала Глинки и частично совпадало с ним по цели. Париж – цитадель просветительской идеологии, которую Глинка характеризовал как «лжеумствование французских злоумышленников» (то есть просветителей)[3], это место, где началось одно из самых страшных и трагических с точки зрения консерваторов событий в истории человечества – Французская революция. Этот город – источник «иноплеменной заразы», «мод», «роскоши» и «страстей». То есть для Глинки столица Франции – это родина и источник всего того, с чем он не мог примириться и против чего вел ожесточенную борьбу. Поэтому он считал необходимым показать, что Петр сохранял праотеческие добродетели, мудрость и проницательность даже в этом «гнезде разврата», которым Париж являлся уже в начале XVIII века. С этой целью Глинка красочно описывает, как среди блеска и пышности Парижа русский государь сохранял присущую ему простоту, которая проявлялась и в его одежде, и в его поступках; как своим проницательным взглядом он отметил «ропот» и «беспокойствие» парижан, «легкомыслие, суетность и праздность» их жизни, увидев в них ростки будущей революции[4].

Таким образом, изображенный С.Н. Глинкой портрет Петра I полностью соответствовал сконструированной им модели идеального государя в государстве-семье. Создавая образ Петра, Глинка следовал апологетической традиции XVIII в., мифу о «работнике на троне», оформившемуся в творчестве М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова, но у Глинки это уже не преобразователь России, не Демиург, его Петр – это «Божество-хранитель»[5], сконструированный в рамках националистического дискурса.

Образу Екатерины II Глинка уделяет не столь пристальное внимание, однако этот сюжет интересен тем, что издателю пришлось соединять «русскость» монархини с ее иноэтническим происхождением. Ссылаясь на то, что «расстояние веков не изменяет понятий здравых и созидающих возможное счастье людей» и что «истинные друзья общества, Отечества и человечества всегда согласно мыслили» об их пользах[6], издатель утверждал, что в вопросах воспитания и нравственности Екатерина II руководствовалась исконно русскими традиция-

[1] Русский вестник. 1810. № 4. С. 65–68.
[2] Там же. 1811. № 4. С. 3–20; № 5. С. 1–11.
[3] Там же. 1812. № 6. С. 93–103.
[4] Там же. 1808. № 1. С. 20–21; *Глинка С.Н.* Зеркало нового Парижа. Ч. 1. С. 16.
[5] Русский вестник. 1808. № 3. С. 303.
[6] Там же. 1815. № 2. С. 36.

ми. В статье «Правила русского воспитания, или нравственное рассмотрение духовной князя Владимира Мономаха»[1] Глинка проводит сравнение высказываний Екатерины и тех назиданий, которые мудрый князь оставил потомкам в своем «Поучении», и заключает, что оба государственных деятеля придерживались одной системы ценностей: в качестве основ воспитания оба видели страх Божий, охоту к труду и отвращение к лени, любовь и сострадание к ближним, уважение к старшим, исполнение своей «должности» и служение Отечеству[2]. Таким образом, Глинка убеждает читателей в том, что понятия Екатерины о целях воспитания соответствуют принципам «истинно русского воспитания».

Вступив на российский престол, Екатерина «поклялась Богу и России быть Монархиней-Россиянкой»[3] и действительно духовно сроднилась с Россией и русским народом. Глинка подкрепляет это утверждение целым рядом аргументов. Прежде всего издатель подчеркивает любовь Екатерины к старой столице – Москве, которую он считал средоточием и хранительницей исконно русских праотеческих традиций[4]. Следовательно, императрица любила и старинный образ жизни россиян. Она познакомилась с ним благодаря постоянному постижению коренных свойств и духа русского народа, познанию его подлинного образа мыслей и понятий[5]. Все это она, подобно Петру I, находила в народных поговорках и пословицах. Причем, уважая заключенную в них мудрость, Екатерина даже цитировала «общенародные изречения» в своих законах[6]. О тонкости восприятия государыней особенностей народного свойства своих подданных, по мнению Глинки, свидетельствует то, что она написала отечественную историю «для созидания русских душ и сердец»[7] и, вообще, «все произведения ее пера относились к изображению нравов и добродетелей предков наших»[8]. Кроме того, своими сочинениями она старалась покончить с представлениями иностранцев о России как о варварской стране[9]. То есть интересы новой родины стали ее собственными интересами. С этого времени, как утверждает Глинка, главной целью жизни Екатерины стала забота о счастье ее подданных и о процветании ее государства. Таким образом, Глинка связывал «русскость» не столько с этническим происхождением, сколько с определенным духовно-нравственным строем человека, который можно было приобрести, постичь путем проникновения в культурно-историческое наследие данного народа.

Конкретной государственной деятельности Екатерины в журнале отведено не так много места. Издатель отмечал лишь, что она явилась преемницей дел Петра Великого, и таким образом продолжила складывавшуюся веками традицию управления Россией. Как и все российские государи, Екатерина Великая занималась деятельным благотворением. Она «Матерь-благотворительница» народа, покровительница вдов, сирот и вообще всех страждущих[10]. Вслед за своим наставником Екатерина продолжила дело становления образования в своей стране; причем ее заслуга в том, что она способствовала распростране-

[1] Правила русского воспитания, или нравственное рассмотрение духовной князя Владимира Мономаха // Русский вестник. 1815. № 2. С. 3–45.

[2] Там же. С. 35–40.

[3] Там же. 1808. № 4. С. 7.

[4] См. статью: Взор на Москву // Там же. № 1. С. 23–35.

[5] Там же. 1815. № 2. С. 59–60.

[6] Там же. 1811. № 11. С. 74.

[7] Там же. С. 83.

[8] Там же. 1808. № 4. С. 42.

[9] Там же. 1811. № 9. С. 85.

[10] Там же. 1808. № 4. С. 8–10.

нию просвещения не только в высших слоях общества, но и среди простого народа, чему послужили основанные ею народные училища[1]. Для этих училищ она собственноручно написала азбуку, согласную с уставами православной веры. Глинка акцентирует тот факт, что за основу этой азбуки была взята книга, написанная государыней для воспитания своих внуков. По мысли автора, таким образом Екатерина пыталась возродить существовавшее некогда на Руси единство в воспитании всех социальных слоев.

Прозорливая императрица осознала, чем грозит социальная пропасть, разделившая русское общество в результате вторжения иностранного воспитания, «роскоши» и «мод»; она увидела, что все эти «наносные предубеждения» разрушают основы семейной жизни, а таким образом и государства[2]. Потому Екатерина всеми силами способствовала восстановлению в России «отечественного воспитания», пыталась «сблизить русских с русскими», возбудить в них чувство любви к Отечеству[3].

Наконец, главное направление деятельности Екатерины – законодательное. Здесь для Глинки первичен тот факт, что все законы «Монархиня-Законодательница» старалась соотнести со специфическими особенностями национального характера своих подданных[4]. Конкретные результаты работы императрицы на этом поприще Глинка не затрагивает.

Безусловно, Глинка не мог не коснуться проблемы увлечения Екатерины идеологией Просвещения и ее переписки с некоторыми просветителями, прежде всего с Вольтером. Издатель не умалчивал о том, что Екатерина «мечтала о невозможном», но лишь до тех пор, утверждал он, пока опыт не убедил ее в неосуществимости этих мечтаний. Сама жизнь убедила ее в ограниченности человеческого разума. Глинка доказывает это высказыванием императрицы, которое он часто цитирует: «Не моему перу переменить, что нинаесть в естестве»[5]; убеждение, прямо противоположное просветительскому рационализму. Даже «Наказ» императрицы Глинка трактует как документ сугубо антипросветительский, подкрепляя это тем, что документ был приговорен к сожжению во Франции, то есть на родине просветительской идеологии[6].

Вопрос об отношении Екатерины к Французской революции Глинка на страницах «Русского вестника» обходил стороной, видимо, в силу довольно пассивной реакции Екатерины II на это событие.

Таким образом, созданный С.Н. Глинкой образ Екатерины Великой, как и аналогичный образ Петра I, вполне соответствует его системе ценностей. Екатерина – «истинная Матерь народа», которая «отреклась от самой себя для блага россиян». Она – последовательница Петра I и истинно русских традиций управления. Это утверждение позволяло Глинке отрицать факт ломки политической системы допетровской Руси.

Именно рассматривая екатерининское царствование, Глинка открыто затронул проблему крепостного права в России. В статье «Напоминание о Екатерине II»[7], упомянув о том, что императрица поднимала вопрос, «полезнее ли в России быть крестьянам вольными или крепостными?»[8], Глинка задается вопросом: «Может быть некоторые спросят: почему же Екатерина не дала свободы

[1] Русский вестник. 1808. № 4. С. 30.
[2] Там же. 1810. № 8. С. 143.
[3] Там же. 1808. № 4. С. 38.
[4] Там же. С. 17.
[5] Там же. 1815. № 2. С. 50.
[6] Там же. 1808. № 4. С. 15–16.
[7] Там же. С. 3–45.
[8] Там же. С. 36.

крестьянам?» И дает следующий комментарий: «Разрешение сего вопроса не относится к рассуждениям частного человека»[1]. В этой же статье Глинка цитировал рассуждение Ж.-Ж. Руссо о том, что правовому освобождению крестьян должно предшествовать «расторжение душевных оков, обременяющих тела»[2]. Таким образом, не правы те дореволюционные и советские исследователи, которые изображали С.Н. Глинку откровенным крепостником и его «Русский вестник» как «орган крепостнического консерватизма», подразумевая, что журнал выступал в защиту эксплуатации крестьян со стороны помещиков[3]. О том, что Глинка отрицательно относился к институту крепостного права, свидетельствуют и факты его собственной биографии. Так, получив от родителей наследство в размере тридцати душ, он отдал его сестре[4], а в 1808 г. дал вольную своему последнему человеку[5] и больше никогда не был душевладельцем. Один богатый друг С.Н. Глинки хотел подарить ему шестьдесят крепостных, но тот отказался со словами: «Не возьму, я никогда не буду иметь человека как собственность»[6]. Однако политико-правовое разрешение вопроса о крепостном праве издатель журнала относил к компетенции верховной власти, причем считал необходимым длительный период соответствующей подготовки и просвещения крестьян. До этого момента требовался поиск альтернативных путей устранения имеющихся антагонизмов. После вышеупомянутой статьи в открытой форме Глинка не касался проблемы крепостничества в «Русском вестнике», но, судя по тому, как часто на страницах журнала встречаются идеализированные образы «истинного русского помещика» и «истинного русского крестьянина», раздумывал над этой проблемой на протяжении всего периода издания «Русского вестника». Предложенная издателем модель взаимоотношения помещиков и крестьян должна была, по его мнению, снять наиболее острые проблемы крепостничества.

Глинка начинал с утверждения о том, что отношения между помещиками и крестьянами вписывались в традиционную для России патриархальную модель общественного устройства. В частности, «истинные русские помещики», утверждал он, «были всегда помещиками человеколюбивыми. Они знали и старались напечатлевать в сердцах детей своих, что *крестьяне суть такие же люди, как и они*»[7], что подтверждалось многочисленными примерами из русской истории. Так, боярин времен царя Алексея Михайловича Федор Ртищев, «во всю свою жизнь облегчая жребий крестьян», был их «другом, отцом и братом» и завещал своим детям и родственникам: «воспоминайте о мне любовью и милосердием к поселянам: являйте им отеческий покров; не отягчайте их работою и оброками: они братья ваши»[8]. Русские православные, крестьяне в свою очередь, всегда и во всем повиновались «Богу, Государю, помещикам, отцам и матерям», потому что «Бог велит повиноваться старшим»[9].

«Звание» «отца-помещика» – одна из составляющих «должности» русского дворянина, которая также включает военную, государственную службу и

[1] Русский вестник. 1808. № 4. С. 42–43.

[2] Там же. С. 37.

[3] Например: *Мельгунов С.* Глинка С.Н. // Энциклопедический словарь Русского Библиографического Института Гранат. Т. 15. Гирке – Город. С. 143; *Предтеченский А.В.* Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. М.; Л., 1957. С. 232; История русской журналистики XVIII–XIX вв. / Под ред. проф. А.В. Западова. М., 1973. С. 114.

[4] *Глинка С.Н.* Записки. С. 222.

[5] Там же. С. 287.

[6] Там же. С. 211.

[7] Русский вестник. 1809. № 2. С. 208.

[8] Там же. 1808. № 4. С. 34–35.

[9] Там же. 1812. № 10. С. 58.

примерное выполнение обязанностей отца, сына, брата и мужа в рамках своей семьи[1]. Причем по своему статусу «попечение о крестьянах есть такая же служба, как и служение на ратном поприще. Отечество вверяет крестьян в человеколюбивый и отеческий присмотр; он отвечает за них совести, Богу и Отечеству»[2]. На помещике лежит ответственность за нравственность, здоровье и благосостояние своих крестьян.

«Нравственная власть» помещика подразумевает «сближение поселян с Богом и благонравием»[3]. В качестве показательного Глинка приводит пример помещика, который приступал к началу всех сельскохозяйственных работ совместным с крестьянами богослужением «Подателю и Виновнику всех благ земных»[4]. Одна из статей журнала рассказывала о помещике, который построил для своих крестьян баню и больницу, причем, когда крестьяне отказались делать своим детям противооспенные прививки, считая их слишком опасными, сделал такую прививку своему двухлетнему сыну и таким образом доказал ее эффективность[5]. Экономический достаток крестьян обеспечивается «умеренностью» помещика, который должен вести максимально простой образ жизни: «городским затеям», балам, дорогим экипажам, одежде по последней моде предпочитать семейный образ жизни в отцовском поместье, наследственное имущество, скромную одежду, «почти такую же» как у крестьян[6]. Помещик должен планировать график выполнения сельскохозяйственных работ, контролировать процесс их выполнения и все связанные с ним вопросы, заниматься повышением эффективности производства, например, удобрением полей[7].

Глинка стремился доказать, что подобное отношение непременно вызовет благодарность и признательность крестьян, так как «сии люди умеют живо чувствовать силу любви и благодетельности»[8]. В одной из статей, рассказывающей об образцовом помещике, приводится такой отзыв о нем его крестьян: «Он родной нам отец! За ним и за Богом живем как в Раю»[9], а также описываются их переживания за своего хозяина, раненного в сражении: «Вдруг разнеслась молва, что уж его нет на свете! Пристигла нас лютая печаль и тоска. Помнили мы все ласку и милости его, когда он к нам приезжал. С горькими слезами пошли всем миром в церковь Божию, отслужили панихиду, и все от чистаго сердца говорили к Господу Богу: *почто мы за него не умерли!*»[10]. Чтобы понять роль этого положения в концепции С.Н. Глинки, важно учесть литературный и бытовой контекст эпохи. Долгое время вопрос о внутреннем мире, переживаниях и чувствах простого, по терминологии первой половины XVIII в. «подлородного» человека в России не рассматривался вообще. Его начали обсуждать лишь к концу XVIII столетия, а этапным для русской литературы стало открытие, сделанное Н.М. Карамзиным в повести «Бедная Лиза», что «и крестьянки любить умеют»[11]. Таким образом, в общественном сознании россиян проявился куль-

[1] Русский вестник. 1808. № 4. С. 24–25.

[2] Там же. 1810. № 1. С. 121–122.

[3] Там же. С. 123.

[4] Там же. С. 123–124.

[5] Там же. 1811. № 8. С. 80–84.

[6] Там же. С. 85–86.

[7] Там же. 1810. № 1. С. 122.

[8] Там же. 1809. № 2. С. 208.

[9] Там же. 1811. № 8. С. 80.

[10] Там же. С. 78–79.

[11] *Казаков Р.Б.* Крестьянство и власть в сочинениях Н.М. Карамзина: проблемы источниковедения // Народ и власть: исторические источники и методы исследования: М., 2004. С. 96.

тивировавшийся просветительской литературой пафос следования нравственным законам в отношении к человеку независимо от его сословной принадлежности. Подобный подход открывал возможность новой, надсословной оценки достоинства человека: достоин тот, кто выполняет заложенные в его статусе обязательства перед обществом. Так, Глинка настаивал, что «название благородного человека… часто неправильно употребляется… Простой воин, земледелец, усердно и терпеливо переносящие обязанности свои, суть достойные и благородные сыны Отечества»[1]. Наделяя крестьян, наряду с другими сословиями, долгом не только перед их непосредственными хозяевами, но и перед Отечеством, Глинка подчеркивал их гражданский статус и встраивал в общую социально-политическую структуру. Он акцентировал проявление гражданской позиции крестьян их мужеством и рвением участвовать в обороне Отечества, что, в отличие от дворянства, вообще не подразумевалось их «должностью». Глинка утверждал, что «воинский дух и неустрашимость суть природные… свойства»[2] крестьян. Особенно часто Глинка описывал рвение, с которым крестьяне поставляли ратников в земские войска. Так, один из крестьян, имея возможность не отдавать на службу своего уже женатого сына, не воспользовался ею, сказав: «И барин; пусть он служит Богу и Государю! У меня остался другой сын; а коли надо, ей Богу, барин! за Веру, за Государя, хоть я и стар, а теперь же пойду с последним сыном»[3]. Однако самое яркое воплощение гражданственности русского крестьянина Глинка находил в историческом прошлом России: в подвиге Ивана Сусанина, ценой собственной жизни в конце Смуты спасшего от гибели царя Михаила Федоровича[4]. Причем М. Велижев и М. Лавринович в своем исследовании утверждают, что именно С.Н. Глинка в своем «Русском вестнике» сформулировал сусанинский миф в том виде, в котором он вошел в отечественную историографию[5].

Подобный образ крестьянина, с точки зрения Глинки, должен был мотивировать помещиков на образцовое поведение. Заметим, что помещик является активной стороной в этих отношениях, что соответствует консервативному принципу общественной иерархии. Поэтому образ идеального помещика в трактовке Глинки связан с многочисленными обязанностями, для образа крестьянина важнее прорисовка положительных, «облагораживающих» его черт. Следование предложенным моделям поведения, по мнению Глинки, должно было восстановить утраченную гармонию взаимоотношений помещиков и крестьян. Эту систему отношений Глинка считал одинаково выгодной для обеих сторон. Во-первых, с моральной точки зрения: зависимость крестьян оказывалась «сладостнее всякой мечтательной свободы», так как отеческая опека помещиков снимала с них лишнюю ответственность, даже за сохранность собственной добродетели[6]; в то время как наградой владельцев становится «любовь и приверженность подчиненных»[7]. Во-вторых, с экономической: «умеренность, человеколюбие и пример помещиков, побуждающий крестьян к трудолюбию и благонравию, вернее всякого нововводимого земледелия послужит к взаимному и

[1] Русский вестник. 1808. № 6. С. 315.

[2] Там же. № 8. С. 219.

[3] Там же. № 3. С. 352–353; см. схожие сюжеты в статьях: Наследственное мужество русских // Там же. С. 221–223; Русской крестьянин, гражданской анекдот // Там же. С. 315–319.

[4] Крестьянин Иван Сусанин, победитель лести и Избавитель Царя Михаила Федоровича Романова // Там же. 1812. № 5. С. 72–94.

[5] *Велижев М., Лавринович М.* «Сусанинский миф»: становление канона // Новое литературное обозрение. № 63.

[6] Русский вестник. 1809. № 4. С. 22.

[7] Там же. № 2. С. 207.

истинному благоденствию помещиков и крестьян»[1]. В-третьих, с политической, так как являлась одним из факторов сохранения жесткой социальной иерархии и стабильности государственной системы в целом.

Важным элементом социальных отношений «Русский вестник» считал «благотворение», которое «сближает и соединяет души. Сие равенство, не нарушая порядка, доставляет способ одним благотворить, а другим – любить благодетеля своего»[2], и таким образом препятствует возникновению социальной напряженности и скрепляет общество на высшем духовно-нравственном уровне. Глинка агитировал читателей на активную благотворительную деятельность: «Мы можем встречать счастье почти на каждом шаге и каждую минуту: оно близ нас, оно всегда с нами. Пресытились ли вы отравами роскоши и сладострастия? Из великолепных палат своих ступайте под кров нищеты и злополучия; осушите слезы страждущих; отвлеките от пропасти погибающее семейство: благодарные его восторги возбудят сердце ваше к удовольствию и наслаждению. Поражены ли вы сами бедственным роком; лишились ли супруги, детей или друга? Делите скорбь вдовицы и сирот: утешая их, вы сами утешитесь. Благотворение исцеляет от отрав роскоши и облегчает болезни душевныя»[3]. «Русский вестник» сам являл наглядный пример деятельного благотворения. В конце каждого номера помещалась информация о нуждающихся людях или семьях, и рассказы о помощи читателей журнала в ответ на такие объявления. Если верить «Запискам» С.Н. Глинки, то благодаря многочисленным откликам читателей в период с 1808 по 1816 г. через издание оказавшимся в затруднительном положении людям было направлено более 40 тысяч рублей[4].

Таким образом, консервативно-националистическая программа «Русского вестника» представляла собой конструктивную альтернативу революционному преобразованию действительности. Очевидно, что она была ориентирована прежде всего на дворянское сословие. По убеждению издателя, ее реализация могла снять все социальные противоречия при сохранении существующего в стране политического устройства. С другой стороны, она должна была способствовать единению общества в преддверии военной угрозы.

Из Главы III.
Деятельность С.Н. Глинки в период Отечественной войны 1812 года

§ 3. Отечественная война 1812 года в воспоминаниях С.Н. Глинки

События 1812 года оставили неизгладимый след в душе С.Н. Глинки. Для него, как и для многих его современников, Отечественная война – это целая эпоха и центральное событие жизни. В своих мемуарах Глинка писал: «Для меня продолжается еще 1812 год. Спасение Отчества успокоило мое сердце, но я отжил для радостей земных»[5]. Знавший Глинку с 1812 г. С.Т. Аксаков, так вспоминал о встрече с ним в конце 1815 г.: «При первом взгляде мне кинулось в глаза какое-то особенное выражение в лице Сергея Николаевича Глинки, которого я прежде не замечал: как бы след прожитого необычайного

[1] Русский вестник. 1809. № 4. С. 22–23.
[2] Там же. № 2. С. 208.
[3] Там же. № 8. С. 231–232.
[4] *Глинка С.Н.* Записки. С. 363.
[5] *Глинка С.Н*. Записки о 1812 годе… С. 259.

времени; это выражение сохранилось навсегда»[1]. Осмысление войны началось еще на страницах «Русского вестника»[2], так или иначе он обращался к этой теме в различных произведениях на протяжении всей жизни. Но среди его работ есть две книги, которые наиболее полно и отчетливо раскрывают восприятие Глинкой 1812 года в контексте российской и всеобщей истории. Это «Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения», изданные в 1836 г., и появившиеся годом позже «Записки о Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 года до половины 1815 года». В них со свойственной стилю Глинки эмоциональностью, с большим чувством изложены все подробности военного времени: детально описаны сражения и движения войск, изображены подвиги русских воинов и полководцев (причем эти изображения зачастую полностью повторяют аналогичные в «Русском вестнике» за 1813–1816 гг.), показаны людские судьбы в это непростое время, страдания обеих воюющих сторон. Не случайно «Записки о 1812 годе» явились одним из основных источников для написания знаменитого романа Л.Н. Толстого «Война и мир»[3]. Для нас самое интересное в этих книгах то, что интерпретация войны встраивается в консервативно-националистическую концепцию С.Н. Глинки и является ее кульминацией.

Глинка рассматривает катастрофу, постигшую человечество в 1812 г., с точки зрения провиденциализма. Эта война, страшная, вовлекшая в свой круговорот десятки народов, с точки зрения автора, не что иное, как урок Провидения всем странам, где нет «задушевного быта человеческого», основанного на христианской морали[4]. Согласно Глинке, это естественное следствие распространения атеистической идеологии Просвещения, пропагандировавшей всесилие человеческого разума. Результатом этого учения стала «безбожная» Французская революция. Олицетворением революции и того идеологического ряда, который стоял за ней, явилась фигура Наполеона Бонапарта, поэтому Глинка уделяет ему пристальное внимание. Стремление Наполеона к всемирному господству он трактует как проявление эгоистической этики просветительской философии: это человек, ослепленный личными «страстями» и мечтами[5]. Глинка выделяет в Наполеоне две ипостаси: с одной стороны, это великий полководец; с другой – «человек суда Божия»[6]. Характерна эволюция личности Наполеона, предложенная Глинкой. Юный Бонапарт был добродетелен и чужд светского общества[7]. Но его многочисленные военные победы, сдобренные лестью ближайшего окружения, убедили его в собственном всесилии, в результате чего он сперва принял титул императора, а затем загорелся идеей всемирного обладания[8]. В этом заключается трагедия Наполеона как личности: Глинка признает, что он был гениален, но его гений заключался в таланте законодателя, не случайно созданное им Уложение было принято и Людовиком XVIII[9]. Но самоуверенность, стремление к неограниченной власти и лесть сподвиж-

[1] *Аксаков С.Т.* Указ. соч. С. 22.

[2] См. роспись номеров «Русского вестника» за 1813, 1814, 1815 и 1816 гг. в книге: *Колюпанов Н.* Биография А.И. Кошелева. М., 1889. Т. I. Кн. 2. С. 391–401.

[3] *[Евдокимов И.В.]* Сергей Николаевич Глинка (жизнь и деятельность). Исследование // РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 5 об. – 6; *Кулешов В.И.* История русской литературы. М., 2005. С. 552.

[4] *Глинка С.Н.* Записки о 1812 годе… С. 91.

[5] Там же. С. 240.

[6] *Глинка С.Н.* Записки о Москве и о заграничных происшествиях… С. 197.

[7] Там же. С. 200.

[8] Там же. С. 206–218.

[9] Там же. С. 251.

ников, которая возвела его «на одну чреду с волею Всетворящего»[1], сбили его с предназначенного ему пути[2]. Вот почему он стал орудием «суда Божия»[3]: сокрушительное ниспровержение его планов должно было стать лучшим «уроком смирения силы человеческой»[4], способным вернуть людей к мысли о всесилии Божественного промысла. Глинка утверждает, что Бог лишил Наполеона разума в наказание за недовольство тем многим, что он уже имел. Навязчивая идея императора покорить Россию и взять Москву, с точки зрения Глинки, являлась проявлением «суда Божия» над Наполеоном и той рационалистической и материалистической идеологией, которую он олицетворял[5].

1812 год – это урок и для России, внутри которой возникло как бы второе государство «с иными нравами, обычаями, мнениями и действием мыслей»[6], продиктованными Западной Европой и просветительской идеологией. Сама дата для Глинки глубоко символична: в истории страны это «второй двенадцатый год». В этом также видна «тактика Провидения», которое напоминает России о «первом двенадцатом годе» – 1612-м[7].

Аналогия этих двух эпох для автора абсолютно очевидна. В «наш двенадцатый год», так же как и в «первый», перед Отечеством стоял один вопрос – «быть или не быть земле Русской на лице земли»[8]. В 1612 г. Россия спаслась только единением всего населения, основанном на религиозной общности и предполагающем верность Богу, Царю и Отечеству. Поэтому цель Провидения, с точки зрения Глинки, заключается в обращении всей России к национальной почве, в пробуждении «русского духа», для Глинки означавшего прежде всего гармоничное сосуществование всех сословий русского общества и их духовное единство[9]. Отсюда эсхатологическое толкование московского пожара. Автор убежден, что Москву сожгли и не русские, и не французы; Москва не была оставлена, она была «отдана на суд Божий»: «…тут огнь небесный. Горели палаты, где прежде кипели радости земные, стоившие и многих и горьких слез хижинам. Клубились реки огненные по улицам, где рыскало тщеславие человеческое на быстрых колесницах, также увлекавших за собою быт человечества. Горели наши неправды, наши моды, наши пышности, наши происки и подыски»[10].

Победу России в войне, с точки зрения Глинки, обеспечило, во-первых, то, что нравственная правда была на ее стороне, так как Россия вела войну оборонительную, а не захватническую[11]. Во-вторых, народный характер войны. Выше уже упоминалось о воспоминаниях С.Т. Аксакова, который говорил, что Глинка изначально надеялся на народную войну[12]. С.Н. Дурылин утверждал, что записки Глинки о 1812 г. «посвящены одной теме: народной войне. Основная мысль Глинки в том, что ни усилия правительства, ни искусство полководцев, ни мастерство дипломатов, а единодушный и повсеместный народный отпор был причиною гибели Наполеона… Глинка любовно выискивает, тщательно отмечает в своих «Записках» все факты, в которых особенно ярко проявляется основ-

[1] *Глинка С.Н.* Записки о Москве и о заграничных происшествиях… С. 298.
[2] Там же. С. 253.
[3] *Глинка С.Н.* Записки о 1812 годе… С. 131–135.
[4] Там же. С. 246.
[5] Там же. С. 133–134.
[6] Там же. С. 24, 119–120.
[7] Там же. С. 24–25.
[8] Там же. С. 270.
[9] Там же. С. 49–50, 101–108, 119–120, 232–233, 269–270, 275–276.
[10] Там же. С. 78–79.
[11] Там же. С. 192–194.
[12] *Аксаков С.Т.* Указ. соч. С. 23.

ная особенность войны 1812 г., что ее вел и довел до победы народ»[1]. Причем С.Н. Дурылин под народом подразумевал исключительно непривилегированные социальные слои. Однако для Глинки это понятие шире. Он действительно значительное место уделяет описанию подвигов выходцев из простонародья, прежде всего крестьян, подчеркивая тем самым, что без них победа могла не состояться[2]. «Записки о Москве и о заграничных происшествиях» в качестве эпиграфов предваряют три цитаты: М.И. Кутузова: «Русские крестьяне истинные, почтенные сыны Отечества»; Екатерины II: «Народ русский отличается силою, догадкою, умом»; обращение Лесепса к Наполеону, относящееся ко времени пребывания французов в Москве: «Я сулил золота мужикам, а они наотрез мне сказали: «хоть головы сними с нас, мы не отыщем ни хлеба, ни мяса, ни овса, ни сена»[3]. Однако ничуть не меньшее внимание Глинка уделяет подвигам русского офицерства[4], выдающихся полководцев М.Б. Барклая-де-Толли[5], М.И. Кутузова[6] и многих других. Для автора народная война – это война всех сословий русского общества, сплотившихся перед угрозой завоевания, и вклад каждого из них в победу над войсками Наполеона в равной степени важен. Не случайно Глинка акцентирует внимание на обращении его современников к временам и именам Минина и Пожарского, «мясного продавца» и князя, спасших Россию от гибели в начале XVII в.

Это обращение важно еще и потому, что как бы сближает два столетия, и 1612 г. проявляется в 1812 г.[7] Глинка постоянно проводит параллель между этими событиями. Так, и в тот, и в другой двенадцатый год Смоленск стал первой жертвой неприятеля[8]. 23 августа «наши предки» сражались в стенах Москвы, а современники назначили место решающей битвы; таким образом, это «достопамятный день двух веков», когда над Россией «засветилась заря избавления»[9]. И в тот, и в другой «двенадцатый год» англичане первыми вызвались в союзники русским[10]. Посещение Москвы Александром I в июле 1812 г. Глинка сравнивал с избранием на царство Михаила Федоровича Романова[11]. Таким образом, в 1812 г. ожил «самобытный дух русский». Все население сплотилось вокруг одной мысли – «Бог и Отечество»[12]. Народ снова объединился в одну семью во главе с отцом-монархом[13].

Правда, в отличие от 1612 г., война 1812 г. «должна была сочетаться с войною заграничною»[14]. Так как в России после отражения нашествия «продолжился прежний *обыкновенный* ее быт; а в Европе все было *необычайно*. Уверенный в России, Александр знал, что она отстоит себя и устоит; знал он также по прозорливой дальновидности и сберегал в себе силы свои, чтобы бороться в Европе с целым *политическим миром* Европейским, где каждое лицо вправе

[1] *Дурылин С.Н.* Русские писатели в Отечественной войне 1812 года. М., 1943. С. 18.

[2] *Глинка С.Н.* Записки о 1812 годе... С. 44–47, 76–77, 111–119, 285–290 и др.

[3] Вступление к: *Глинка С.Н.* Записки о Москве и о заграничных происшествиях...

[4] *Глинка С.Н.* Записки о 1812 годе... С. 57–63, 177–191, 223–226.

[5] Там же. С. 36–40, 236–240, 296–319.

[6] Там же. С. 34–36, 40–41, 65–67, 100–101, 177–189, 236–240, 251–252, 296–319.

[7] Там же. С. 217–220, 275–276.

[8] Там же. С. 101–108.

[9] Там же. С. 49–50.

[10] Там же. С. 232–233.

[11] *Уортман Р.С.* Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. М., 2004. Т. 1. С. 291.

[12] *Глинка С.Н.* Записки о 1812 годе... С. 179, 268–269.

[13] *Глинка С.Н.* Русское чтение: Отечественные исторические памятники XVIII и XIX столетия. СПб., 1845. Вып. 3. С. 243.

[14] *Глинка С.Н.* Записки о Москве и о заграничных происшествиях... С. 13–14.

было думать, что оно вполне изучило весь ход жизни мира своего. А тут и явилась *эпоха*, не существовавшая дотоле на лице земли… Но в Европе XIX столетия, известен был каждый ее шаг; все было исследовано, все было на чертежах географических, все было в тысячах книг; все, кроме того, что написано было в книге Провидения. И так Александру I одному, собственными усилиями ума своего надлежало убедить умы Европейские, что они не все еще видели, не все знали… Борьба была сильная и упорная… против всезнания самолюбивого; против тщеславия высокомерного и притязательного; и эта борьба была и сильнее и труднее борьбы с целым нашествием вооруженным»[1]. Таким образом, если Наполеон выступал олицетворением западноевропейской атеистической, рационалистической и материалистической морали, то Александр I был выразителем иной духовности, основанной на покорности воле Всевышнего и вере в его всесилие. И если первый был орудием «суда Божия», то второй был призван способствовать нравственному перерождению Европы: «Десница Провидения крепит Царя Северного: она сокрушит пред ним все преграды; она проявит очам его невидимое. И изумленная Европа увидит, что тот, кто не перелетал за вершины гор заоблачных, тот, кто не заносил оружия в пески знойные, кто не величался счастливою своею звездою, тот новый вождь внезапно укрепится *опытом* (курсив мой – *Н.Л.*) и преобразит в Европе Европу Наполеонову… На что Царю Северному содействие ума постороннего: его Бог ведет»[2].

Таким образом, события 1812 г. были восприняты С.Н. Глинкой как осуществление того идеала общественного устройства, к которому он призывал в «Русском вестнике». И на какое-то время эти события способствовали укреплению его консервативных взглядов. Так, в «Записках о 1812 годе» он писал, что война заставила его мечтать о том, что, во-первых, «сближение дворян с крестьянами к взаимной обороне Отечества сблизит их и на поприще жизни нравственной, и что, не посвящая их в философы, они, по крайней мере, уступят им чреду людей». Во-вторых, «что владельцы тысячей душ, брося прихоти мод столичных и городских, заживут в поместьях своих, чтоб от различных управлений не гибли имущества и не страдали наши почтенные питатели рода человеческого и Отечества, то есть земледельцы». В-третьих, «что уничтожение всепожирающих мод и перемена безжизненного воспитания сроднят души всех сословий и вдохнут в них новое бытие»[3]. Однако сразу по окончании Отечественной войны Глинка с горечью констатировал возрождение всех тех общественных пороков, против которых он боролся на страницах «Русского вестника»[4]. Не случайно после изложения своих мечтаний военных лет он с грустью приписывает: «Утопия! Утопия! Мечта! Мечта!»[5]. Это разочарование породило известный пессимизм относительно реалистичности его прежних воззрений и способствовало эволюции его взглядов, начиная с 20-х гг. XIX столетия.

[1] *Глинка С.Н.* Записки о Москве и о заграничных происшествиях… С. 264–265.
[2] Там же. С. 92–93.
[3] *Глинка С.Н.* Записки о 1812 годе… С. 91–92.
[4] *Глинка С.Н.* Записки о Москве и о заграничных происшествиях… С. 116–123.
[5] *Глинка С.Н*. Записки о 1812 годе… С. 92.

Из главы IV.
Эволюция идейно-политических взглядов С.Н. Глинки (вторая половина 1810-х – 1840-е гг.)

Из § 4. Последние годы жизни. Эволюция идейно-политических взглядов С.Н. Глинки

В 40-х гг. XIX в. С.Н. Глинкой был написан ряд сочинений, скорее всего не предназначавшихся для печати, так как те же проблемы, которые он излагал в опубликованных сочинениях этих лет, здесь получали кардинально иное решение. Речь идет о книге «Исторический взгляд на общества европейские и на судьбу моего отечества», датированной 1844 г.[1], о статье «Взгляд на русскую народность в XVIII столетии», рукопись которой не датирована[2], и о рукописи двух глав, обозначенной в личном фонде С.Н. Глинки в отделе рукописей Российской национальной библиотеки как часть его новой версии истории России «Глава первая. О быте русских крестьян до Петра I и вопросы и ответы о полагаемом новом состоянии русских крестьян. Глава вторая. Временное прекращение Юрьева дня и торжественное возобновление царем Борисом Юрьева дня и вольности перехода крестьян», предположительно относящейся к 1844 г.[3]

Как было указано во второй главе нашего исследования, консервативно-националистическая концепция С.Н. Глинки носила полемический характер, и ее исходной точкой являлись антирационализм и связанная с ним критика рациональной в своей основе философии Просвещения, прежде всего французского, так как Глинка был убежден, что именно она спровоцировала Французскую революцию. В неопубликованных сочинениях он заявил обратное, признавшись, однако, что для него это «самый щекотливый вопрос»[4]. Глинка указал на то, что в истории Франции было множество печальных и кровавых страниц и до появления философов-просветителей, например, Варфоломеевская ночь в XVI в., гонения против протестантов в XVII в.[5] Причем, упоминая об этих событиях, он был склонен оправдывать известный антиклерикализм Вольтера, вызывавший его бурную критику в период издания «Русского вестника»[6]. Кроме того, «крамольные» идеи, пропагандировавшиеся просветителями, зачастую являлись лишь развитием размышлений их предшественников – мыслителей более ранних эпох[7]. Это не значит, что теперь Глинка был склонен оправдывать деятельность просветителей. Однако он сделал вывод, что ее содержание явилось отражением неблагоприятной социально-экономической и культурно-нравственной ситуации, сложившейся во Франции к концу XVIII столетия и грозившей серьезными общественно-политическими потрясениями даже без интеллектуальных усилий со стороны философов[8]. В качестве

[1] *[Глинка С.Н.]* Исторический взгляд на общества европейские и на судьбу моего отечества. 1 января 1844 г. // ОР РНБ. Ф. 191. Оп. 1512. Ед. хр. 18. 212 л.

[2] *Глинка Сергей Николаевич.* Взгляд на русскую народность в XVIII столетии // РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 671. Б/д. 24 л.

[3] *[Глинка С.Н.]* История России. Отрывки: Глава 1. О быте русских крестьян до Петра I и ответы о полагаемом новом состоянии русских крестьян. Глава 2. Временное прекращение Юрьева дня и торжественное возобновление царем Борисом Юрьева дня и вольности перехода крестьян. ОР РНБ. Ф. 191. Оп. 1512. Ед. хр. 12. 1844 (?). 32 л.

[4] ОР РНБ. Ф. 191. Оп. 1512. Ед. хр. 18. Л. 107.

[5] Там же. Л. 112.

[6] Там же. Л. 113–114.

[7] Там же. Л. 121 об.

[8] Там же. Л. 108 об. – 110 об.

причины деградации социально-экономической и духовной жизни Франции Глинка назвал отсутствие Конституции[1]. Таким образом, если в консервативный период своей деятельности Глинка исходил из идеи господства над миром нравственных законов и возможности регулирования с их помощью политической сферы, то теперь он пришел к убеждению, что политическая система государства может хорошо функционировать только при условии ее регулирования политико-правовыми мерами.

С.Н. Глинка стал обосновывать мысль о необходимости конституционного устройства всех обществ и суть этого устройства толковал следующим образом: «*Здравый смысл* (курсив мой – *Н.Л.*) управляет обществами человеческими; а этот здравый смысл давно сказал: «человека не должно и не можно никогда позабывать. Чего же желает человек? Чтобы его личность, его собственность, его честь, его жизнь обеспечены были ясными, охранительными средствами: словом, чтобы и каждый член общества и все его сочлены боялись законов, и никого бы кроме них не боялись». А тут и вся Конституция»[2]. Причем Глинка теперь настаивал на том, что «вера» не должна оказывать никакого влияния на «законоучреждение», так как это противоположные друг другу понятия: «Вера – порыв души от земли к небу, а законы гражданские приковывают к земле и каждое помышление, и каждое обязательство, и каждый шаг. И чем сильнее их действие, то есть: чем тверже скрепляют они союз взаимных польз, тем надежнее и безопаснее жизнь обществ человеческих»[3]. Конституция, с точки зрения Глинки, охраняет общества от двух страшных явлений – резкой социальной дифференциации, разделяющей всех жителей на угнетателей и угнетаемых, и деспотизма или абсолютизации власти государей, которые всегда ведут к падению обществ[4]. Последнее утверждение Глинка проиллюстрировал царствованием Людовика XIV, который, провозгласив, что государство – это он, царствовал фактически для удовлетворения своих честолюбивых замыслов, еще больше распаляемых придворными льстецами, а не для благоустройства жизни своих подданных[5]. Именно с него во Франции начался кризис социально-экономической и духовной сфер, приведший в конце концов к революции[6]. Но и сам Людовик «во всем пережил себя при себе»[7], он узнал «мечту своего *Я*» и «советовал внуку своему и наследнику не подражать ему в страсти к войне и расточительности»[8]. С точки зрения Глинки, завершение царствования Людовика XIV не было бы столь плачевным, поставь он закон выше своего «Я», так как «если глава постановительных областей не посягает сам на узаконенные права всех и каждого, тогда на него не падает никакая укоризна, тогда он вполне свободен, ибо воля его в воле законов, а не в порывах самоуправства, уловляемых ухищрением» и мечтанием, «что она *все* и что в ней *все*»[9].

Отталкиваясь от новых убеждений, С.Н. Глинка пересмотрел свою трактовку российской истории. Прежде всего он ввел в арсенал рассматриваемых им явлений такое понятие, как «народность». С точки зрения Глинки, она находила свое преимущественное проявление в «родном языке каждого народа»[10].

[1] ОР РНБ. Ф. 191. Оп. 1512. Ед. хр. 18. Л. 6, 109, 129–156.
[2] Там же. Л. 24 об. В данном отрывке С.Н. Глинка цитирует статьи Наказа Екатерины II.
[3] Там же. Л. 26.
[4] Там же. Л. 42–48.
[5] Там же. Л. 32–37 об.
[6] Там же. Л. 108 об.
[7] Там же. Л. 35.
[8] Там же. Л. 36 об. –37.
[9] Там же. Л. 48 об.
[10] РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 671. Л. 7 об.

Глинка утверждал, что русское народное слово выражало две «особые мысли» – «внимание к летописям народным», которое можно трактовать как традиционализм, и склонность русского народа к законотворчеству[1]. Он заявлял, что с момента появления первого писаного свода законов на Руси – «Русской правды», отечественная законотворческая деятельность не прерывалась. Он предполагал, «что и в смутное время Удельного княжения были какие-нибудь узаконения, но они утратились в переходе веков, но из последствий видим, что и Иоанн Грозный в Судебнике, составленном на общем совещании тогдашних сословий, с точностью означил все узаконения, относившиеся к быту Русских поселян и вообще Русского народа»[2]. Здесь для Глинки принципиально важным был тот факт, что русское законодательство в равной степени учитывало права всего населения государства, и в частности крестьян, которые, по мнению автора, на протяжении многих веков российской истории были лично свободными. Подразумевая события IX в., Глинка утверждал, что уже «в колыбели народа русского сиял луч личной свободы»[3]. Это состояние население Руси сохраняло вплоть до царствования Ивана Грозного, о чем свидетельствовала 88-я статья его Судебника, в которой оговаривалось существование весеннего и осеннего Юрьева дня, то есть периода, в который крестьяне могли переходить к другому землевладельцу (неделю до весеннего и неделю после осеннего)[4]. Лишь при Борисе Годунове в 1592 г. Юрьев день был временно отменен, но в 1601 г. царь Борис, по мнению Глинки, не только возобновил оба Юрьевых дня, но и продлил их срок еще на две недели[5].

Закрепощение крестьян Глинка связывал с государственной деятельностью Петра I. Именно этот государь «неосторожною и заторопленною рукой двинул народ русский на крепостной быт, дотоле не существовавший», так как при нем была проведена первая поголовная перепись, прикрепившая крестьян к той земле, на которой они находились на момент переписи[6]. Причем Глинка резко отрицательно оценивал это событие. Вообще, в своих неопубликованных сочинениях С.Н. Глинка стал трактовать деятельность Петра Великого совершенно иначе, нежели в «Русском вестнике». Теперь он утверждал, что «вырвав с корнем старинный быт земли Русской», Петр ничего не оставил «в основание жизни народа русского»[7]. Как об ошибке Глинка отзывался о Великом посольстве Петра в Европу, целью которого было «привесть с собою сокровища для преобразования России»[8]. Ссылаясь на мнения европейских историков, Глинка заявлял, что Европа в этот период «час от часу более дряхлела в обветшалой жизни своей»[9], а потому цель Петра была обречена изначально. Соответственно, негативную оценку получала социокультурная европеизация России: «Целое поколение в новой России переодевалось: превращалось из себя не в себя. Люди взрослые были младшими на шутовских ассамблеях, неуклюже передразнивавших обветшалый, больной Парижский свет. Все было маскарадом и быстрой перестановкой театральных декораций»[10]. Последнее утверждение можно ассоциировать с представлением Глинки об общем итоге царствования

[1] РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 671. Л. 9.
[2] Там же. Л. 9–9 об.
[3] ОР РНБ. Ф. 191. Оп. 1512. Ед. хр. 12. Л. 2 об.
[4] Там же. Л. 4 об.
[5] Там же. Л. 14 об., 20 об. – 21 об.
[6] Там же. Ф. 191. Оп. 1512. Ед. хр. 18. Л. 53 ; Ед. хр. 12. Л. 31 об.
[7] Там же. Ед. хр. 18. Л. 50.
[8] Там же. Л. 50 об.
[9] Там же. Л. 51.
[10] Там же. Л. 55 об.

российского императора, создавшего лишь внешние формы новой жизни, но не обеспечившего ее соответствующим законодательным базисом: «Не утвердил Петр Первый внутренней жизни новой России ни на каком очевидном и прочном основании, и все исчезло с ним, кроме флота и войска. Исчез народ, окованный цепями крепостными: личность людей стала жертвою самоуправства»[1].

Однако обвинения Глинки в адрес Петра I были не столь резки, как разоблачение государственной деятельности Екатерины II, так как если первый «не готовился быть законодателем», то вторая «подавала надежду России, что упрочит будущую ее судьбу. Никогда ни один из владык земных не писал подобного ей Наказа… она при жизни своей бралась… доставить новой России новое постановление для внутренней ее жизни. Казалось, что сама судьба предоставляла ей дополнить то, чего не сделал Петр I»[2]. Однако созывом Уложенной комиссии Екатерина лишь «обманула и себя, и народ. Мирно собирались депутаты, мирно и разошлись. Голоса некоторых из их членов, заменились пушечными выстрелами. Временщики одержали верх над пользою общенародною… Но и домогательства и своекорыстие тогдашних временщиков не были б помехою Екатерине в деле законодательства, если б она родилась законодательницей. Не надела она этого венца. Она была только очень умною писательницею о законах. Пришлось и ей, говоря просто: «идти на попятный двор». То есть: подобно Петру Первому не положа никаким постановлением никакого прочного основания, перестраивать внешнее здание России»[3].

При Екатерине, утверждал Глинка в своей неопубликованной книге, положение русских крестьян ухудшилось, так как эта императрица «или потворством к барам, или неосторожною рукою проложила новые пути и к роскоши, и к мотовству, и ко всем злоупотреблениям, поражающим быт земледельческий»[4]. «При новом учреждении Губерний, – продолжал Глинка, – оставя быт сельский, избыточные дворяне ринулись в Губернские города. Закипели и там балы, карты, моды»[5]. А это, в свою очередь, привело к увеличению оброчных крестьян и «чужому управлению» ими, под которым Глинка понимал любое управление, осуществляемое не лично помещиком и которое оценивал как тягостное для земледельцев[6].

Делая вывод о екатерининской эпохе, Глинка, как и в случае с Петром I, проводит сравнение ее деятельности с театральной постановкой: своим «творениям» Екатерина радовалась, как «радуется театральный писатель, когда при громких рукоплесканиях разыгрывают его произведение и когда в честь его раздается торжественный вызов… При ней все было ее и все было для нее»[7].

С.Н. Глинка верно оценил рубеж XVIII–XIX столетий с точки зрения становления европейских национализмов. Ряд исследователей этой проблемы утверждает, что Французская революция и последовавшие за ней наполеоновские войны, охватившие всю Европу, явились и проявлением, и катализатором развития националистических тенденций в Европе[8]. В этой связи интересен следующий фрагмент неопубликованной книги Глинки: «При начале Французской революции время царей отжило… Пришла очередь народов… шли отыски-

[1] ОР РНБ. Ф. 191. Оп. 1512. Ед. хр. 18. Л. 63 об.

[2] Там же. Л. 65 об.

[3] Там же. Л. 71–71 об.

[4] Там же. Л. 87 об.

[5] Там же. Л. 90 об.

[6] Там же. Л. 89 об.

[7] Там же. Л. 91 об. – 92.

[8] *Смит Э.* Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М., 2004. С. 234–236.

вать свои права, свою душу, свою свободу. Буква **Я** час от часу более исчезала в молниях военных; не жизнью, смертью народов утверждалось слово **мы**; не **мы** так называемых самодержцев, но **мы** народное и природное слово **мы**. Я говорю **мы**: ибо человек не создан ни для ярма рабства, ни для жизни одинокой. Первый его законодатель Бог дал ему волю и свободу избирать себе пути своего существования»[1]. Единственным государством, последовавшим в конце XVIII столетия «духу времени», по мнению Глинки, была Польша: «Главные ее деятели, Костюшко и другие, хотели весть свое отечество на настоящую, прямую дорогу... перевесть его на поприще постановления, Конституции с наследственным, а не избирательным королем. Конституция польская 1792 г. 2 мая явное тому свидетельство»[2]. Поэтому автор скептически относился к опасениям России относительно радикальности Польши и отрицательно оценивал участие екатерининского правительства в разделах этого государства[3].

Историческая ошибка российских монархов, с точки зрения Глинки, заключалась в том, что они не изменили основ своей политики в соответствии с требованиями эпохи: «Павел... хотел царствовать полномочно, нераздельно»[4], а его сын Александр, хотя и заявил, что будет царствовать по сердцу своей бабки, но «все царствование Екатерины рушилось 1802 года учреждением министерства... безответственного», которое «учредило в России гидру олигархического правления: оно заслонило престол от народа новыми властелинами»[5]. Вообще, царствование Александра I Глинка подвергал особой критике. Так, он критически оценивал его внешнюю политику, считая, что русский император больше шел на поводу западноевропейских государств, прежде всего Англии, реализовывая их интересы в ущерб национальным интересам России[6]. С точки зрения Глинки, «после 1805 года, России так сказать надлежало в самой себе затаить себя от Европы: выслать... всех чужестранных послов; разорвать все связи торговые; укрепиться в пределах своих собственными своими силами и не мешаться ни в какие дела Европейские»[7]. Так же критически он оценивал заграничные походы русской армии после Отечественной войны 1812 г.[8] По мнению Глинки, с изгнанием из России Наполеона, в год двухсотлетия дома Романовых, Александру предоставлялся лучший шанс даровать России «заветное законоучреждение для всех и каждого»[9], но он не воспользовался этим шансом, и «вместо новой жизни в стенах Москвы закипел новый разврат; новое заторопление мелких страстей»[10].

Еще большим преступлением Александра I, по мнению Глинки, было пообещать России даровать ей Конституцию, – автор имел в виду знаменитое выступление императора перед варшавским сеймом в 1818 г., – и не сдержать своего обещания[11]. Результатом именно этой ошибки стало восстание 14 декабря 1825 г., которое, в отличие от Французской революции, вспыхнувшей от того, что «снизу... раздался голос, требовавший преобразования Франции», вспыхнуло от того, «что первое в ней (России – *Н.Л.*) лицо; что сам импера-

[1] ОР РНБ. Ф. 191. Оп. 1512. Ед. хр. 18. Л. 166, 174 об.
[2] Там же. Л. 160.
[3] Там же. Л. 160 об. –161.
[4] Там же. Л. 166 об.
[5] Там же. Л. 182.
[6] Там же. Л. 203 об.
[7] Там же. Л. 194 об.
[8] Там же. Л. 206 об.
[9] Там же. Л. 206–207 об.
[10] Там же. Л. 207 об.
[11] Там же. Л. 208 об.

тор Александр распустил молву о преобразовании России и потом Бог знает почему, домогался заглушить ее неуместным самовластием. Закрыли двери залы масонской: но общество осталось. Закрыли масонские ложи, состоящие под надзором правительства. За то возникли тайные общества, мимо надзора правительства»[1]. Критикой царствования Александра I заканчиваются неопубликованные сочинения С.Н. Глинки. Но, как было указано во втором параграфе данной главы, еще в конце 1820-х гг. С.Н. Глинка высказывал мысль о том, что принятие Конституции должно лечь на плечи Николая I.

Таким образом, в последние годы жизни С.Н. Глинки его взгляды заметным образом эволюционировали. Об этом свидетельствуют его неопубликованные сочинения, где им выдвигались либеральные по сути идеи естественных прав человека, рационализма, верховенства закона в общественно-политической жизни. В конце предшествующей главы нашего исследования уже говорилось, что эволюции взглядов С.Н. Глинки способствовало его разочарование в возможности реализации предложенной им консервативно-националистической концепции общественно-политического устройства, наступившее после окончания Отечественной войны. Анализ материалов данной главы позволяет предположить, что этому также способствовали обсуждение вопроса о российской Конституции Александром I, жесткое подавление выступления декабристов, а также кодификация российского законодательства М.М. Сперанского и мероприятия николаевского правительства в области крестьянского вопроса. Тем не менее систему воззрений Глинки данного периода стоит трактовать как консервативный либерализм, так как источником и гарантом прав должна была выступать личность монарха. В опубликованных сочинениях Глинка продолжал следовать своей патриархальной концепции общественного устройства, вероятно, в силу сознательной авторской установки и возможных цензурных запретов.

В эти годы С.Н. Глинка не переставал писать статьи в различные журналы. Так, на рубеже 20–30-х гг. XIX в. он сотрудничал в «Дамском журнале» П.И. Шаликова под псевдонимом Мечтатель, в 1837 г. – в «Сыне Отечества», в 1841-м – в «Репертуаре русского театра», в 1843–1844 гг. – в «Современнике», в «Журнале Министерства народного просвещения» и в «Маяке»[2]. Особое значение он придавал сотрудничеству с возобновленным «Русским вестником». Инициатором возрождения журнала в 1841 г. стал Н.И. Греч, а его ближайшими помощниками в редакторской работе были Н.А. Полевой и Н.В. Кукольник. Журнал не был успешным, и в конце 1841 г. Н.А. Полевой взял руководство изданием в свои руки. В 1842 г. он выпустил лишь шесть книжек, а затем журнал вообще не выходил около года. В 1843 г. журнал перешел к П.П. Каменскому, который в конце 1843 г. издал оставшиеся шесть книжек за 1842 г. В 1844 г. вышли еще два номера журнала, после чего «Русский вестник» прекратился.

С.Н. Глинка с энтузиазмом воспринял весть о возобновлении журнала, который он небезосновательно считал «своим». Тем более что целью нового издания провозглашалось «содействие своему монарху в его боголюбивых подвигах водворения в России истинного просвещения, любви к правде и добру и наслаждения благородными и высокими науками и изящными искусствами». Глинка начал активно интересоваться возрождением журнала уже тогда, когда «Русский вестник» еще не был одобрен правительством. В феврале 1840 г. он справлялся у К.С. Сербиновича о судьбе журнала, причем из письма видно, что «переходы о “Вестнике” происходят около двух лет по министерству народного

[1] ОР РНБ. Ф. 191. Оп. 1512. Ед. хр. 18. Л. 210–210 об.

[2] *[Евдокимов И.В.]* Сергей Николаевич Глинка (жизнь и деятельность). Исследование // РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 227–232.

просвещения»[1]. Глинка сразу же начал писать для журнала и помещать в нем отрывки своих «Записок»[2]. Но сотрудничество оказалось не очень удачным для Глинки в финансовом отношении: судя по переписке, Греч задерживал авторские гонорары, что сильно раздражало нуждавшегося Глинку. В письме от 13 октября 1842 г. он прямо требовал от сына издателя выплаты хотя бы части долга, в противном случае грозился подать жалобу в Главное Управление цензуры об уничтожении журнала[3]. По этому факту можно предположить, что само возобновление издания и его существование требовали юридического согласия его первого издателя. Об этом же могут свидетельствовать те усилия, которые Глинка предпринимал для спасения «Русского вестника» в 1844 г.: из переписки с А.В. Старчевским видно, что на протяжении июля-августа Глинка, к тому времени уже старый и больной человек, пытался организовать совещание о судьбе «Русского вестника», руководство которым, видимо, предполагал взять на себя А.В. Старчевский, Глинка же обещался распространить объявления о журнале[4]. Но все усилия оказались напрасны.

В последние годы жизни Глинка часто тяжело болел[5] и ослеп. К.А. Полевой, видевший его незадолго перед смертью, зимой 1846–1847 г., был изумлен смирением и преданностью Провидению, с какими этот некогда огненный человек переживал свое ужасное несчастье. Чтобы хоть как-то двигаться, С.Н. Глинка велел протянуть через комнату веревочку и расхаживал, держась за нее, сколько ему было угодно. Дочь его, находившаяся всегда при нем, читала ему или писала под его диктовку. Из прежних знакомых, кроме Полевого, только П.А. Вяземский посетил слепого Глинку[6].

С.Н. Глинка умер 5 апреля 1847 г. Похоронен он на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.

Заключение

Сергей Николаевич Глинка – яркая и самобытная фигура общественной и культурной жизни России начала XIX в. Он был драматургом, поэтом, писателем (одним из самых плодовитых в свое время, как указывал П.А. Вяземский[7]), переводчиком, издателем, педагогом. По своим личным качествам это был привлекательный человек: современники в один голос отмечали его доброту, необыкновенное бескорыстие, искренность, честность, преданность, и т.д. Но особенно примечателен он был благодаря своей неизменной приверженности «русскому направлению».

Общественно-политические взгляды С.Н. Глинки позволяют отнести его к ключевым фигурам русского консерватизма первой четверти XIX столетия. При этом они обладали заметной специфичностью. Эта специфика являлась след-

[1] Письмо Глинки С.Н. Сербиновичу К.С. 18 февраля 1840 г. // Русская старина. 1895. № 2. С. 222; а также: Письмо Глинки С.Н. Гречу Н.И. 24 июля 1841 г. // Русский архив. 1869. С. 606.

[2] *[Евдокимов И.В.]* Сергей Николаевич Глинка (жизнь и деятельность). Исследование // РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 230–231.

[3] Глинка С.Н. – Гречу А.Н. 13 октября 1842 // Вестник всемирной истории. 1900. № 6. С. 86–87.

[4] Глинка С.Н. Письма (3) к Старчевскому А.В. 1844, июля 7 – августа 10 // РО ИРЛИ. Ф. 583. № 375. Л. 1–5.

[5] См.: Письма Глинки С.Н. к Глинке Ф.Н. с приписками Глинки М.В. 13 марта 1831 г. – 16 января 1845 г. 12 писем // РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 220. 20 л.

[6] *Полевой К.А.* Указ. соч. С. 258.

[7] *Вяземский П.А.* Глинка Сергей Николаевич // *Глинка С.Н.* Записки. М., 2004. С. 435.

ствием влияния на Глинку полученного в Сухопутном Шляхетном кадетском корпусе эклектичного образования, основное место в котором занимали принципы идеологии Просвещения. Наиболее четко специфичность взглядов С.Н. Глинки прослеживается на фоне основных черт магистральной линии русского консерватизма. К ним относятся апология православия, идеал мощного централизованного государства с жесткой иерархической структурой, национализм, сформировавшийся в результате неприятия западной культурной традиции[1].

Пожалуй, в классическом виде в консервативном проекте С.Н. Глинки воспроизводится второй признак. По своим политическим убеждениям Глинка, без сомнения, был последовательным сторонником самодержавной монархии и жесткой общественной иерархии. Любой другой социальный порядок, с его точки зрения, был чреват опасностью анархии. Причем особую роль в этой системе он отводил монарху, который как бы задавал импульс развитию общества. Отсюда пристальное внимание автора к образу идеального государя, который *обязан* (здесь и далее курсив мой – *Н.Л.*) заботиться обо всех своих подданных и, таким образом, подавать им пример. Следовательно, социальная функция монарха самая сложная (в силу его наивысшего социального статуса). Фактически Глинка сформулировал один из стержневых принципов зрелого консерватизма – принцип иерархии как регулятора требований, предъявляемых каждому члену общества в зависимости от его социального статуса (чем выше положение человека, тем выше его ответственность).

Некоторая специфика характерна для православной составляющей консервативных взглядов С.Н. Глинки. Отводя значительное место религии как нравственному стабилизатору общественной жизни, он, в отличие от А.С. Шишкова, Н.М. Карамзина, Ф.В. Ростопчина, А.С. Стурдзы, не делает особенного акцента на православном вероисповедании. Это отчетливо проявляется в терминологии Глинки: слово «православие» в его публицистике встречается крайне редко; подчеркивая важную роль религиозного фактора в общественной жизни, он употребляет более абстрактный термин «Вера». Не упоминал Глинка и роли церкви как института; его «Вера» не подразумевает строгой обрядности, а больше соответствует масонскому учению о внутренней церкви. Кажется символичным и тот факт, что роль нравственных наставников, служащих позитивным примером обществу, Глинка в рамках своей концепции отводил светским, а не духовным лицам. Он создавал пантеон *светских* святых, что также роднило его с А.С. Шишковым, Н.М. Карамзиным, Ф.В. Ростопчиным[2].

В том числе слабостью православного элемента можно объяснить отсутствие в сочинениях С.Н. Глинки критики масонства (наиболее отчетливо выраженной у Ф.В. Ростопчина и А.С. Шишкова), индифферентное отношение к экуменическому эксперименту Александра I, вызвавшему острое неприятие со стороны А.С. Шишкова, видевшего в нем угрозу православию. Для Глинки же важно распространение христианской морали как таковой, вне зависимости от проповедующей ее конфессии.

Своеобразные особенности присущи и национализму Глинки. В нем нет ярко выраженных устойчивых национальных антипатий, как в случае антисемитских, антипольских настроений Г.Р. Державина, А.С. Шишкова, Н.М. Карамзина. Антизападническая, а точнее антифранцузская направленность национализма Глинки носила скорее ситуативный характер и была обусловлена конкретны-

[1] *Аленов С.Г., Минаков А.Ю.* Предисловие // Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее. Воронеж, 2001. Вып. 1. С. 6–7.

[2] *Минаков А.Ю.* Возникновение русского консервативного национализма в первой четверти XIX в. в России // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2009. Вып. 12. С. 14.

ми историческими событиями: войнами с Наполеоном и особенно заметной и ставшей казаться опасной на их фоне галломанией русского образованного общества. Но в последующие годы его жизни антифранцузский элемент в его взглядах постепенно тускнеет.

Тем не менее именно внешнеполитическая угроза стала основным фактором складывания националистической концепции С.Н. Глинки, как и других консерваторов этого периода. И то, что страна, от которой эта угроза исходила, была в глазах ранних русских консерваторов живым олицетворением политической бесперспективности реализации либеральных ценностей (это с их точки зрения доказал опыт Французской революции), предопределило консервативное содержание их собственных концепций общественно-политического устройства. Каждый из них пытался предложить свою основу национального существования России и освятить ее авторитетом исторического опыта. И если А.С. Шишков в этом качестве видел язык, а точнее «старый слог», Н.М. Карамзин – самодержавие[1], то С.Н. Глинка за субстанцию народности представлял особую «русскую нравственность», духовность, основанную на «христианской» морали и отраженную им в особом национальном характере, который отождествлялся с добродетелями предков допетровской Руси. Подобное видение русской нации было отражено Глинкой в публицистике «Русского вестника», и это был уже не только культурный национализм, за ним стояла определенная политическая программа. Приобщение к «русской нравственности» предполагало осознание самодержавия как лучшей для России формы политического бытия. Этот политический аспект националистической концепции С.Н. Глинки был наиболее ярко и последовательно выражен в его «Русской истории», в которой отечественное прошлое раскрывалось как процесс поступательного развития истинно русской политической системы – самодержавия. Таким образом, если следовать одной из разработанных в западноевропейской литературе схем деления истории националистических движений на определенные этапы[2], деятельность С.Н. Глинки можно отнести не к первому этапу, который характеризуется интересом националистов к сфере культуры, фольклора и литературы, а к следующей стадии развития националистической идеологии, когда появляется группа активных сторонников национальной идеи и первые признаки политической агитации в ее пользу.

Однако здесь также можно отметить воздействие просветительской идеологии на убеждения С.Н. Глинки. В первой главе настоящего исследования было отмечено, что на становление его антифранцузской националистической программы существенное влияние оказали взгляды Ж.-Ж. Руссо, отраженные им в книге «Соображения об образе правления в Польше». Просветительский субстрат присутствовал и в самом консервативно-националистическом проекте С.Н. Глинки. Так, выдвинутая им триединая формула «Бог. Вера. Отечество», являвшаяся квинтэссенцией «русской нравственности», по сути, представляла собой консервативное толкование знаменитого лозунга Французской революции «Свобода. Равенство. Братство», перенесенное из политической плоскости в плоскость нравственно-этическую. Потому что свобода для Глинки – это способность человека отречься от собственных «страстей» ради исполнения долга, предназначенного ему Божественной волей; равенство рассматривалось им как ответственность каждого человека за исполнение своего общественного долга перед общим отцом по Вере – Богом; а братство предполагало принадлежность населения страны к единой для всех религии «праотцов», что являлось важней-

[1] См. подробнее: *Минаков А.Ю.* Возникновение русского консервативного национализма в первой четверти XIX в. в России. С. 12–17.

[2] *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. С. 23.

шим признаком государственного строительства. И само представление о том, что на политическую сферу можно влиять из сферы нравственной, также роднило Глинку с просветителями.

Сильный просветительский элемент во взглядах С.Н. Глинки во многом повлиял на эволюцию его идейно-политических взглядов. Так, С.Н. Глинка проявил себя довольно либеральным цензором во второй половине 1820-х гг., а в неопубликованных сочинениях, писавшихся на протяжении 1830–1840-х гг. отрицал консервативно-националистические взгляды периода издания «Русского вестника», ратуя за введение в России конституции. Но этому способствовали и многие другие факторы: осознание утопичности своей общественно-политической концепции; разочарование в непоследовательном политическом курсе Александра I; так, особое негодование Глинки вызвал тот факт, что император не сдержал обещание даровать России Конституцию. Последнее обстоятельство вполне могло предопределить оформление конституционных взглядов С.Н. Глинки, которые в дальнейшем могли быть укреплены кодификационной деятельностью николаевского правительства.

Все вышеозначенные особенности консервативных взглядов С.Н. Глинки не стоит преувеличивать, мы хотели подчеркнуть лишь степень их проявления на фоне воззрений других ранних консерваторов. Так или иначе, Глинка типологически близок и А.С. Шишкову, и Н.М. Карамзину, и Ф.В. Ростопчину, и наряду с ними обозначил тезис, согласно которому Россия является самобытным миром и должна развиваться по особому пути, независимому от Запада. Это положение впоследствии проявилось в различных направлениях русской общественной мысли. Оно ярко отразилось в официальной идеологии николаевского царствования, в концепциях славянофилов, во взглядах на государственное устройство К.П. Победоносцева[1].

Можно констатировать, что историческая концепция С.Н. Глинки стоит у истоков патриотической линии русской историографии. По его мнению, изучение истории должно было вызывать чувство национальной гордости и воспитывать любовь к родине. В частности, прослеживается довольно отчетливое влияние исторических взглядов Глинки на выдающегося русского историка М.П. Погодина. Последний в письме к издателю «Русского вестника» сам признавался в большом влиянии, оказанном журналом Глинки на становление его мировоззрения. Известно также, что издание «Русского вестника» было первым полным собранием юного Погодина, на которое он потратил свои первые деньги[2]. Тема данной преемственности заслуживает дальнейшего, более пристального внимания.

Характер идеализации Глинкой русской старины и нравственного облика русских очень напоминает позднейшие взгляды славянофилов[3]. Утверждение Н.И. Цимбаева о том, что, «называя достоинства старой Руси, которые следует воскресить, Хомяков не столько идеализировал прошлое, сколько перечислял преобразования, необходимые николаевской России»[4], вполне можно повторить в отношение публицистики С.Н. Глинки периода издания «Русского вестника» и восприятия им александровского царствования.

Таким образом, Сергей Николаевич Глинка явился одним из общественных деятелей, внесших значительный вклад в процесс становления консер-

[1] *Минаков А.Ю.* Глинка Сергей Николаевич // Общественная мысль России XVIII – начала XX века: Энциклопедия. М., 2005. С. 109.

[2] *Можаева Г.В.* Погодин М.П. // Историки России: Биографии. М., 2001. С. 138.

[3] См. подробнее: *Цимбаев Н.И.* Славянофильство (из истории русской общественно-политической мысли XIX века). М., 1986.

[4] *Цимбаев Н.И.* Либералы сороковых годов // Очерки русской культуры XIX века. М., 2003. Т. 4. Общественная мысль. С. 178.

вативной мысли и начало формирования националистической традиции. Его публицистическая, литературная и общественная деятельность стали важным фактором пробуждения национального самосознания (преимущественно накануне Отечественной войны и в первые послевоенные годы). Некоторая противоречивость и эклектичность его взглядов во многом отражают сложный характер процесса становления раннего русского консерватизма и неоднозначность этого феномена, проявившего себя в различных направлениях, нередко противостоявших друг другу.

Несмотря на важность определения идеологической направленности взглядов и деятельности Сергея Николаевича Глинки, в завершении книги хотелось бы сосредоточиться не на этом и привести цитату из его воспоминаний: «Любовь моя к отечеству не мечтой витала в душе моей. Смотрю на небо, и небо не обличит меня во лжи»[1]. Думается, эта фраза лучше всего раскрывает характер деятельности С.Н. Глинки, который был прежде всего пламенным патриотом и все что делал – делал для блага Отечества так, как понимал это благо. Неслучайно, знавший и высоко ценивший Глинку Петр Андреевич Вяземский в одной из своих заметок назвал его «добродушным и добросовестным отечестволюбцем»[2], тем самым метко определив и позицию Глинки в важнейших идейных спорах начала XIX в., и цель его главных проектов – «Русского вестника», «Русской истории», патриотической пропаганды в Москве в 1812 г.

[1] *Глинка С.Н.* Записки. М., 2004. С. 289.

[2] *Вяземский П.А.* Старая записная книжка. 1813–1877. М., 2003. С. 357.

В поисках самобытности: опыт К.Н. Леонтьева

Часть вторая

Фетисенко О.Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). СПб.: Пушкинский Дом, 2012. 782 с.: ил.

Часть I. Гептастилизм

Из Главы первой. «Высокая публицистика» (с. 21–35, 44–52)

Из Главы второй. Гептастилизм, учение о новой восточной культуре (с. 53–85)

Из Приложения. Новообретенные тексты Леонтьева (с. 114–116, 120–123, 133–134)

Оглавление

Часть первая. Гептастилизм

Глава первая. «Высокая публицистика»
Глава вторая. Гептастилизм, учение о новой восточной культуре
Глава третья. «Эстетический мятеж против обмещанившегося века»
Приложение. Новообретенные тексты Леонтьева

Часть вторая. Константин Леонтьев и его современники, собеседники и совопросники

Глава первая. О том, чего нет в этом разделе
Глава вторая. Иван Аксаков и «фанатик-фанариот»: Реконструкция спора
Глава третья. Из московских встреч: Леонтьев и Н.П. Гиляров-Платонов
Глава четвертая. Единомысленное братство: Леонтьев и Тертий Филиппов
Глава пятая. Нескончаемый спор: Леонтьев и Достоевский
Глава шестая. «…С Львом Толстым я не тягаюсь и не равняюсь»
Глава седьмая. Катков, Победоносцев, Мещерский
Глава восьмая. Литературные знакомства 1870-х – 1880-х годов
Глава девятая. «…Человек, который во всех отношениях выше меня
Глава десятая. «Православный мирянин» Николай Дурново
Глава одиннадцатая. «Бедный рыцарь» славянофильства: Сергей Шарапов
Глава двенадцатая. Поздние обретения: Ю.Н. Говоруха-Отрок, Л.А. Тихомиров, В.В. Розанов

Часть третья. Школа? Кружок? «Тайное общество»?

Глава первая. «Иезуитский орден» Константина Леонтьева и его «новиции»
Глава вторая. «Дитя души»: Ваничка Кристи
Глава третья. «Милый поэт»: Анатолий Александров
Глава четвертая. «Благородный юноша» в «не по чину барственной шубе»: Григорий Замараев
Глава пятая. «Хитрый Дениска» и «унывающий россиянин» Николай Уманов
Глава шестая. «Совершенно светские молодые люди»
Глава седьмая. «Германский дух на православной почве»: отец Иосиф Фудель
Глава восьмая. «Обращенный нигилист»: Федор Чуфрин
Глава девятая. «Поехал искать человека и нашел фонарь…»: История одного путешествия
Глава десятая. «…„Нашего полка“ все понемножку прибывает…»: Евгений Погожев и Иосиф Колышко
Глава одиннадцатая. В благословенной Оптиной
Глава двенадцатая. …И в пределах преподобного Сергия

Заключение. Сочувствие, содействие и «посмертный» прозелитизм

Часть I. Гептастилизм

Из Главы первой. «Высокая публицистика»

Созидатель будущего

И.С. Тургенев в 1876 г. советовал Леонтьеву предаться этнографии, поскольку у него нет беллетристического дара[1], а Н.Н. Страхов, напротив, за шесть лет до того объявил будущего автора «Записок отшельника» неспособным к серьезной публицистике («…едва ли <…> когда-нибудь напишете статью достаточно твердую и сложную, чтобы она произвела на читателя впечатление») и заключил советом: «Все мне кажется – с Вашим талантом, с Вашими богатыми и высокого достоинства средствами – я бы писал великолепные повести и романы»[2]. Леонтьев же шел своим путем, продолжая оставаться и публицистом, и прозаиком, и литературным критиком.

Его первые, несохранившиеся литературные опыты 1850–1852 гг. – это комедия, поэма, написанная «плохими гекзаметрами», и незавершенный роман. За ними последовали повести и рассказы в духе натуральной школы, которых позднее сам автор стыдился и просил не переиздавать (современный читатель не поймет такой строгости в отношении по крайней мере двух ранних произведений: «Сутки в ауле Биюк-Дорте» и «Второй брак»), два романа – лирический, опередивший свое время на полвека, а то и больше («Подлипки»), и социально-философский («В своем краю»), первые критические опыты (1861–1863) и повесть «Исповедь мужа», опубликованная в 1867 г. под названием одной из своих ранних редакций («Ай-Бурун»). Печатался тогда Леонтьев главным образом в «Отечественных записках». Из произведений этих лет утрачены незавершен-

[1] *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М., 1966. Т. 11. С. 258.

[2] Цит. по: 7(2), 558. [*Леонтьев К.Н.* Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Подгот. текста и коммент. В.А. Котельникова и О.Л. Фетисенко. СПб., 2000 – (изд. продолжается). К моменту выхода книги О.Л. Фетисенко вышло восемь томов в одиннадцати книгах. Далее ссылки на это издание даются в тексте. В скобках указывается том (при необходимости – книга) и страница. Ссылки на собрание сочинений, подготовленное прот. И. Фуделем (*Леонтьев К.Н.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1912; СПб., 1914), также даются в скобках, том указан римской цифрой.] Всегдашние замечания Страхова: «неопределенность и отрывочность» (7(2), 558), «беспорядок изумительный» (7(2), 578; об «Афонских письмах»). В рецензии 1876 г. на «Византизм и Славянство»: «Замечания иногда беглы и не вполне точны…»; «Некоторая беспорядочность изложения…» (цит. по: 7(2), 676). Ср.: П.Е. Астафьев находил у Леонтьева «парадоксы, недоумения, недомолвки, самопротиворечия и ненужные резкости» (цит. по: 7(2), 679).

ный экспериментальный роман «Война и юг» и начатая в 1857 г. эпопея «Река времен» (пять уже готовых романов Леонтьев сжег в 1871 г.), а также несколько статей, пропавших в редакциях журнала «Время» и газеты «День».

В 1867–1868 гг. написаны корреспонденции в «Одесский вестник» «С Дуная», начата статья «Грамотность и народность». С публикации «Очерков Крита» (1867) начинается многолетнее сотрудничество Леонтьева в «Русском вестнике»[1], оборвавшееся в начале 1880-х гг. Сотрудничество с почвеннической «Зарей» было прервано, поскольку в этой редакции были отвергнуты две его статьи, а статья о грамотности пролежала до публикации в конце 1870 г. больше года. Свои статьи до 1873 г. Леонтьев вообще впоследствии не признавал «серьезными»[2], отсчет вел от статей, которые называл «политическими»[3], то есть от «писем» о панславизме, опубликованных в катковском журнале в 1873 г.[4]

В годы дипломатической службы Леонтьев не только составлял текущие донесения в константинопольское посольство и Азиатский департамент, но и отредактировал несколько статистических обзоров и написал ряд проектов («Записка о необходимости литературного влияния во Фракии», «Записка об Афонской горе и об отношениях ее к России», 1865 и 1871–1872 гг. соответственно). Даже конным переездом из одного места службы в другое он воспользовался как поводом для развернутой записки, также имевшей прикладное значение, почему и оцененной в департаменте[5].

«Проективно» Леонтьев мыслил еще с молодых лет. Первым его проектом, скромно подписанным «лекарь Леонтьев», оставшимся погребенным во входящих бумагах Министерства народного просвещения и впервые опубликованным только в 2006 г. (7(2), 286–324), был подробно обоснованный план устройства «учебницы естествоведения в Крыму» (1857–1859)[6]. Основная задача этого труда такова: представить Крымский полуостров как уникальное место для создания учебного заведения нового типа – или самостоятельного, или в виде факультета Одесского университета (о его предполагаемом учреждении тогда было заявлено, но открылся Новороссийский университет лишь в 1865 г.). Наиболее интересный раздел записки посвящен антропологии. Характеризуя Крым как страну «по преимуществу антропологическую» (7(2), 278), Леонтьев показал себя человеком, следящим за «последним словом» современной науки. Он – чтитель Карла Бэра – подчеркивал, что ни в одном университете нет кафедры антропологии, тогда как именно этой науке, понимаемой широко (в нее Леонтьев включал анатомию, физиологию, этнографию, «рациональную психологию»), принадлежит будущее, именно она осуществит предсказанное Т.Н. Грановским в статье «Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году» слияние гуманитарных и естественных наук. «Антропология <…>

[1] В 1876 г. выходит изданный М.Н. Катковым трехтомник его повестей и рассказов «Из жизни христиан в Турции». Все собранные в нем произведения, за исключением рассказа «Хамид и Маноли», впервые были опубликованы именно в «Русском вестнике» и «Московских ведомостях» (в последних – рассказ «Капитан Илиа»).

[2] Литературные изгнанники. С. 332 (письмо к В.В. Розанову от 8 мая 1891 г.). В записке «Хронология моей жизни» ранние статьи вовсе не упомянуты.

[3] Там же. С. 352.

[4] Панславизм и греки // Русский вестник (РВ). 1873. Т. 103, № 2. С. 904–934; Панславизм на Афоне // Там же. Т. 104, № 4. С. 650–702.

[5] «Записка о путешествии надворного советника Леонтьева от Янины через Фессалию до Салоник» (1871).

[6] См. подробнее: *Фетисенко О.Л.* Крымский проект Константина Леонтьева // Крымский текст в русской культуре: Материалы международной научной конференции, Санкт-Петербург, 4–6 сентября 2006 г. СПб., 2008. С. 146–157.

должна стоять на рубеже наук духовных и естественных. <…>…не ей ли быть звеном всех факультетов? – Если на факультете естествоведения ей следует дать одно из первых мест, как науке, одухотворяющей посредством эстетического символа фатализм праха, – то разве излишня она врачу, юристу и филологу?» (7(2), 307–308). «Время не ждет <…> антропологии надобно спешить», – восклицал Леонтьев в черновой редакции проекта (7(2), 278).

В своей «записке» Леонтьев не проектировал собственно технические подробности устройства «учебницы», а дал лишь обоснование выбора места для нее, опираясь на данные разнообразных наук – от геологии и палеонтологии до этнографии. В тексте есть все приметы научного стиля: четкая рубрикация, ссылки на труды отечественных и зарубежных ученых, множество статистических сведений и таблиц с латинской номенклатурой; но есть и характерная для нашего автора примета – он не боится присутствия в научной работе поэтического начала[1]. Это останется характерным и для позднейших, прежде всего этнопсихологических и социологических, штудий Леонтьева.

После июня 1869 г. из-за проволочек в журнале «Заря» у Леонтьева наступил долгий перерыв в работе. Было ощущение, что некуда, не для кого писать. Попытка обратиться в новый московский журнал «Беседа» в 1871 г. тоже потерпела неудачу. Прорыв произошел после «обращения». Осенью 1871 г. по пути на Афон (это была вторая, более длительная поездка после первой, июльской) и на самой Святой Горе были начаты произведения, составившие, собственно, имя и славу Леонтьева: «Византизм и Славянство» и отпочковавшаяся от него книга, над которой он работал потом до 1889 г., но так и не завершил, – «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения». На Афоне же создаются и первые опыты «духовной прозы» Леонтьева («Афонские письма», первая редакция которых, к сожалению, утрачена, вторая опубликована посмертно под другим названием). В Константинополе зимой 1872–1873 гг. начат роман «Одиссей Полихрониадес». После возвращения в Россию он не оставляет беллетристики (о которой всегда подчеркнуто заявляет, что занимается ею для денег[2], но ценители – а среди них о. Павел Флоренский, В.В. Розанов, С.Н. Дурылин и многие другие – увидят в его художественных произведениях сокровища русской прозы в ее пушкинской ветви), завершает и издает трактат о византизме, пишет новые работы. В 1885–1886 гг. вышло тщательно подготовленное автором двухтомное издание статей «Восток, Россия и Славянство».

Розанов в 1900 г. писал о том, что публицистика – самое естественное выражение времени и поэтому в последнюю четверть XIX в. заняла «королевское место в литературе», поставив «в подчиненное к себе отношение решительно все остальные виды литературы»[3]. В случае Леонтьева это было именно так.

Публицист обращается «вообще к читателю», желая убедить как можно большее количество людей. В этом нет особых различий между консервативным и либеральным направлением. Леонтьеву всегда желателен персонифици-

[1] См., например, описание прилета птиц на Сиваш (7(2), 305–306). Художественное начало в статьях Леонтьева подмечали иногда и рецензенты (см.: *Марков Е.Л.* Литературная летопись // Голос. 1878. 6 апреля. № 96. С. 2).

[2] Особенно много упреков досталось от автора (за отвлечение от философских и публицистических трудов) роману «Египетский голубь», печатавшемуся у Каткова в покрытие давнего долга редакции. Сейчас это незавершенное произведение – признанный шедевр русской прозы. См., например: *Иванов Вяч. Вс.* Повести Константина Леонтьева о православных на юго-востоке Европы и борьба с европейским неогуманизмом // *Иванов В.В.* Избранные труды по семиотике и истории культуры: В 3 т. М., 2000. Т 2: Статьи о русской литературе. С. 110–119.

[3] *Розанов В.* Умственные течения в России за 25 лет // Новое время (НВр.). 1900. 21 марта. № 8644. С. 2; то же: *Розанов В.В.* Юдаизм. СПб., 2009. С. 398 (Собр. соч. Т. 27).

рованный адресат, а не абстрактный «читатель», поэтому он так часто избирал форму письма (письмо в редакцию, циклы статей, названных «письмами» и часто имеющих указанного в заглавии или подзаголовке адресата). Как выяснилось, с писем к конкретному лицу начиналась даже теоретическая книга («Византизм и Славянство»). С эпистолярной формы начинался в 1850-х гг. первый набросок к роману «Подлипки».

Публицистику Леонтьев предпочел художественному творчеству потому, что полагал этот путь более действенным для достижения своей самой заветной цели – «направить всю жизнь на путь бо́льшей красоты и выразительности»[1]. Так объяснял это о. Иосиф Фудель, увидевший именно здесь корень «трагизма» леонтьевской биографии: публицист должен *иметь влияние*, а слово Леонтьева оказалось тогда «мало влиятельно»[2]. Под влиянием, конечно, подразумевается не слава и не завоеванное право корректировать сиюминутную политику[3], а возможность, сказав «свое слово», быть услышанным, необходимая как первооснова для дальнейшего – прокладывания новых «путей жизни». В таком контексте яснее становятся вечная тоска по отзыву, *пониманию*, которых в «литературной судьбе» Леонтьева было так мало[4], его постоянные жалобы на «fatum». В них не только по-человечески оправданные обида и боль, но еще и что-то вроде горечи от неудавшегося эксперимента, где одной из причин неудачи была всего лишь невозможность *проверки* его правильности[5].

Что сам Леонтьев считал своими главными достижениями? Узнать это легко, поскольку дважды обстоятельства сложились так, что ему пришлось быть «аржаной кашей», которая сама себя хвалит[6]. В имеющихся литературных автопортретах – «Для биографии К.Н. Леонтьева» (1879) и «Список сочинений К. Леонтьева с характеристикой» (1887) – оценки почти не отличаются. Приоритет остается за книгой «Византизм и Славянство», где предложено «почти математическое средство для определения возраста и падения Государств» (6(2), 10). Отмечены статьи, предупреждающие об опасностях панславизма, и «опыт национальной психологии» («Русские, греки и юго-славяне»). И то и другое не оставляет «никаких иллюзий насчет „братьев-славян“» (6(2), 24). Выделены такие достоинства, как «*дальновидность* определений» (6(2), 11), «ясно изложенные взгляды на нашу текущую политику», «совершенно новый и смелый взгляд на историю Государств и обществ» (6(2) 24), «религиозное чувство», которое «просвечивает везде» (6(2), 26). Все это качества, о которых Леонтьев редко

[1] РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1046. Л. 53–53 об.

[2] Там же. Л. 53 об. Это лишь одна из сторон. Как неоднократно писал тот же о. Иосиф, «истинный трагизм» жизни Леонтьева – в его предсмертном разочаровании в осуществимости собственного идеала («культурного призвания России»).

[3] Хотя, несомненно, Леонтьев желал бы, чтобы его слово слышали «люди власти и влияния» (8(1), 524; 8(2), 99), люди «*силы*» (7(2), 65).

[4] Ученик Леонтьева называет литературную, да, вероятно, и житейскую его судьбу «жалкой до ужаса»: «…он жил в жутком одиночестве. Его немногие читали, очень немногие слышали о нем, и совсем немногие знали его подлинным, каким он действительно *был*, а не казался» (Преемство от отцов: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания / Сост., вступ. ст., подготовка текста и коммент. О.Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 416). Ср.: «…Я уже давно почти что только сам себе критик, и порицатель, и одобритель… *Я никогда не знаю даже приблизительной ценности моих трудов*» (Там же. С. 211; письмо к о. Иосифу Фуделю от 23 мая 1890 г.).

[5] «*Цепенеет* мысль, и начинаешь сомневаться в самых основаниях своей деятельности…» – писал Леонтьев о своем состоянии, когда не слышал «никакого даже частного словесного мнения» (Пророки Византизма: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова. Сост. О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 513; письмо к Т.И. Филиппову от 4 октября 1888 г.).

[6] Ср.: 6(2), 635.

мог прочесть в рецензиях на свои книги. Там все больше говорилось о его «оригинальности» и «парадоксальности».

Был и еще один случай автопортретирования: когда Леонтьев редактировал и дополнял сделанный одним из его молодых друзей, А.А. Александровым, перевод статьи А. Портье д'Арка (Чернова) из «Nouvelle Revue» (1889), а потом и статью «по поводу» созданного французом литературного портрета, которая была опубликована только в 1892 г.[1] Леонтьев был не просто консультантом, но почти соавтором Александрова, поэтому мы смело можем отнестись к приведенному ниже фрагменту как к проверенному и одобренному философом суммарному изложению его роли в русской культуре.

«1) *В области политической*: а) *Определение характера юго-славян,* б) *Протест и предостережение против либерального панславизма*, в) *Идеал нашей восточной политики.* <…>

2) *В области истории и философии или, иными словами, в области философии истории*: а) т*ребование новой культуры*, б) *указание, где должно искать для нее начал*, в) *разъяснение противоположности идей развития и прогресса,* г) *указание триединого процесса*, д) *открытие закона смешения или вторичного смесительного упрощения*, е) *теория долговечности государств*.

<…> Он требует от России, главной представительницы православного Востока, создания новой культуры, имеющей прийти на смену отживающей романо-германской, и верит, что она ее создаст. <…> <Начала византизма>, значительно уже усвоенные нами, остается только развить и довести до пышного своеобразного цвета. <…>

3) *В области религии:* а) *указание и разъяснение важности и необходимости страха Божия*, б) *о том, что христианство всеобщего благоденствия на земле не обещало*; в) *общий взгляд на истинное христианство*. <…>

4*) В области общественной: требование большей сословности*. <…> Это находится у него в тесной связи, во-первых, с *религией*, а во-вторых, конечно, и с общей теорией его *единства в разнообразии*. <…>

5) *В области литературы: требование чистоты языка и эстетическое возмущение некоторыми современными литературными оборотами и приемами*»[2].

К этому перечислению можно прибавить еще по крайней мере один немаловажный пункт: Леонтьев предвосхитил появление или пути развития ряда современных гуманитарных дисциплин и отраслей знания. Например, он указал, что психология, социология («столь незрелая еще *социология*» – 7(1), 441), эстетика приблизятся к точным наукам[3], и это произойдет так же естественно, как естественно, само собой совершается приложение идей «реальных» (естественных) наук к исторической, психической жизни «людей и обществ»[4]. Он надеялся, что именно русские дадут «более противу прежнего сознательную постановку будущей *социологии*» (8(1), 410), и предвидел появление науки «соци-

[1] См. с. 546 представляемого издания.

[2] *Александров А.* К.Н. Леонтьев (по поводу статьи о нем в «la Nouvelle Revue») // РВ. 1892. № 4. С. 275–284. Для иллюстрации к последнему пункту приведу один пример. Леонтьев был против ненужных заимствований. В газетном варианте одной своей статьи он употребляет слово «садик» и тут же поясняет: «…и я знаю, что есть слово сквер, но нахожу его совершенно излишним» (7(2), 475). В другой раз он писал: «…я очень боюсь напоминать языком даже моим паяцов и хлыщей Петербургской демагогии» (7(2), 442).

[3] Ср.: «…*история* <…> как *естественная*, реальная наука» (7(2), 238). «И социологические, и психологические, столь тесно связанные с ними истины могут стать, я полагаю, столь же точными, как и физические» (8(1), 410). Об эстетике он еще в 1861 г. писал: «Нет сомнения, и эстетика будет со временем довольно точною наукой; но для этого она должна исходить из антропологического начала…» (VIII, 25).

[4] Ср.: 7(1), 373.

альная психология» (8(1), 500). В его текстах встречаются новаторские термины, о чем я еще скажу дальше. Часто это были термины естественных наук, ранее не применявшиеся в гуманитарной сфере.

Газетно-журнальная работа «на злобу дня» никогда не была особенно интересна Леонтьеву, хотя он попробовал себя и в ней. (Причем к такой работе он относил и статьи о панславизме[1].) Он – «не публицист „дипломатических“ фраз *в угоду завтрашнему дню*» (8(1), 617). Скорее Леонтьева можно назвать политическим мыслителем. У него встречается понятие «высокая публицистика», приближающее публицистику не к литературе, а к науке[2]. Публицистика «высокая» противостоит «газетной», которая «думает о целях, но не об истине» (7(1), 123). Журналист видит только одну сторону (текущие проблемы), «одна же сторона никогда не исчерпывает предмета» (Там же). «…Не надо судить завтрашний день *по-вчерашнему*…» – говорит Леонтьев (8(1), 126), а именно так судят живущие «вчерашней *остылой новизной*» (7(1), 170). Публицист-мыслитель должен владеть «более или менее всеми средствами наук естествен<ных>, историче<ских> и богословских» (8(1), 408).

«Политические писатели, – объяснял Леонтьев, – не облечены никакою властью, – это не их назначение; их призвание не принуждать, а *убеждать* своих сограждан; руководить общественным мнением, воспитывать это мнение; – а вовсе не подчиняться ему и не потворствовать вздору только потому, что многие в настоящую минуту этому вздору сочувствуют. <…>…политическая русская печать должна <…> *своих* просвещать, своих убеждать, своим облегчать ясное разделение понятий, часто спутанных и темных в наше время…» (8(1), 242). От публициста требуется «говорить пояснее правду более *общую*»: «Нам надо публику воспитывать[3], нам, больше ее во всем этом смыслящим и этому себя посвятившим, а не Правительство учить[4], которое само, я думаю, знает, или должно знать, что возможно и что удобно *теперь*» (8(1), 259). В отвергнутой издателями и опубликованной лишь в 1996 г. статье «Еще о греко-болгарской распре» Леонтьев писал, что политическая литература «должна иметь в виду гораздо более отдаленные цели», чем ближайшие нужды, она «обязана не стесняясь и не лукаво вразумлять своих читающих соотчичей для грядущего» (7(1), 273).

Леонтьев, пугавший своих современников заявлениями о необходимости запретить газеты[5], тем не менее верил в роль печатного слова, даже газетного, только, говорил он, это слово нужно верно направить, чтобы оно выражало «высший русский идеал» (ср. 8(1), 7, 8). Печать «имеет возможность, при помо-

[1] «…Я в 73 году <…> обязан был <…> в печати являться более дипломатом или политиком *завтрашнего дня*, чем *социологом* или политиком более широкого грядущего…» (7(1), 270; примеч. 1884 г.).

[2] Ср.: 8(1), 409. Примером такой публицистики он считает произведения Вл.С. Соловьева, причем не его газетные статьи, а большие труды: «Ведь и лучшие сочинения г. Соловьева <…> при всей их учености – сочинения только полунаучные по духу, а по цели совс<ем> уж не научные» (Там же).

[3] Вот еще два высказывания о педагогической роли «высокой публицистики»: «Большинство не умеет ни *отвлеченно предвидеть*, ни *художественно предчувствовать*; большинству нужны *наглядные* примеры…» (8(1), 99); «Не только большинство, менее способное, но и все самые способные люди нуждаются в помощи чужого ума, чужого наблюдения, чужого творчества для более всестороннего и ясного понимания природы и жизни» (8(1), 312).

[4] Хотя в более ранней статье он не исключал и задачи (возможности) «давать советы практической политики» (8(1), 67).

[5] Ср. с. 414 представляемого издания. Вот еще одно свидетельство: И.Л. Леонтьев-Щеглов запомнил его слова: «Газета не возбуждает благородные чувства, а усыпляет их, как моль выедает самые горячие убеждения, самые светлые порывы» (ИРЛИ. Архив И.Л. Леонтьева-Щеглова. № 1418. Л. 78).

щи целого ряда посредствующих действий и влияний, доходить до самых недр или корней национальной жизни» (7(2), 74). Он видел культурную ценность «политической печати», «ее серьезное значение для общественной жизни» (8(1), 242). «Высокая публицистика», по его мысли, должна противостоять «ежедневному мельканью полуистин, полу-лжи и общепринятых фраз» (8(1), 258).

Очень важно высказанное писателем пожелание говорить «правду» «*пояснее*»[1], особенно актуальное в эпоху «выветривания» смыслов, когда «вся мудрость в том, чтоб и самому не очень ясно понимать, и другим не объяснять ничего резко», «ничего не называть по имени» (7(1), 61). Много раз и очень настойчиво (и именно в газетах, что важно) Леонтьев будет говорить о своей позиции: «…нам хотелось только назвать вещь по имени…» (7(2), 45); «…если мы назовем некоторые вещи по имени» (7(2), 54); «…мы будем *пытаться* говорить все *яснее* и *яснее*…» (7(2), 62); «…Россия переживает такое критическое время, что гораздо лучше называть вещи по имени, чем говорить с ужимками, обманывая и себя, и других» (7(2), 90); «…*постараемся назвать вещи по имени!*..» (8(1), 170).

Вещи по имени рискуют называть юродивые[2] и пророки. Последнее слово Леонтьев часто применял к себе, но, как мы увидим дальше, он понимал слово «пророк» и производные от него довольно широко. В принципе его представление о политической литературе, о «высокой публицистике» предполагает пророческую миссию, но это не только миссия «угадчика», предсказателя: политический мыслитель может быть «*созидателем будущего*» (8(1), 188). Леонтьеву случалось быть и предсказателем (диагностом)[3], и созидателем.

Один из учеников Леонтьева вспоминал: «Он иногда называл себя „пророком“, указывая этим на свою новую проповедь и вместе на то, что он не был ни понят, ни оценен по достоинству в любимом им отечестве. Впрочем, Константин Николаевич мог быть по справедливости назван пророком и в смысле предсказателя. По крайней мере, все писанное им о славянах Балканского полуострова подтвердилось впоследствии до мельчайших подробностей»[4].

[1] За этим стоит еще и напоминание о высоких требованиях к стилю. Остроумие, изящество, замечательные мысли, блестящее, оригинальное освещение (ср.: 7(2), 39), чистый, простой язык, без «выходок», «вывертов» и «хамских слов», – вот требования Леонтьева к литератору и публицисту.

[2] Немудрено, что Леонтьеву не раз приходилось видеть в газетах отзывы о себе как новом Иване Яковлевиче Корейше (см.: 7(2), 797, 863–864). Но здесь он не одинок, до него в «корейшах» побывал в начале 1860-х Иван Аксаков (см., например: *Знаменский Пр.* <*Курочкин В.С.*> Газета «День» и Иван Яковлевич Корейша // Искра. 1861. № 45. С. 653–658). Леонтьев относился к таким сравнениям с юмором и даже подыгрывал в том же ключе: «…спокойно *пророчествую*, как и следует „безумному мистику“» (8(1), 266).

[3] В письме к Розанову от 13 июня 1891 г. он сравнивает себя с метеорологом и врачом, которого не приглашают на консилиум, но он «*знает*, как идет болезнь» (Литературные изгнанники. С. 356 [*Розанов В.В.* Собр. соч. / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. <Т. 13> Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. Переписка В.В. Розанова с Н.Н. Страховым. Переписка В.В. Розанова с К.Н. Леонтьевым.]). Здесь нужно помнить важный момент: врач предсказывает (пророчит), например, смертельный исход болезни. Он не «одобряет» его, он о нем сообщает. Так и в политических пророчествах: «Я могу поверить <…> в торжество рационалистического космополитизма; но никогда не сочту благом это *торжество*» (8(2), 80). Эти слова хорошо бы почаще перечитывать тем, кто видит в Леонтьеве чуть ли не предтечу сталинизма.

[4] *Замараев Г.И.* Памяти К.Н. Леонтьева // Pro et contra. Кн. 1. С. 200 [К.Н. Леонтьев: pro et contra: Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология: В 2 кн. / Изд. подгот. А.П. Козырев, А.А. Корольков. СПб., 1995].

Да, предсказания на славянскую тему стали сбываться при жизни Леонтьева, и он был этим горько «утешен»[1]. Это пророчества в прямом смысле слова[2]. Таких у Леонтьева много, что хорошо известно, поскольку его прогнозы, предсказания и предупреждения как раз и являются тем, что поддерживает неизменный интерес к мыслителю. А в 1990-х гг. тема предсказаний будущего и вовсе была одной из главных в литературе о нем, так что одна из книг и название соответствующее получила: «Пророчества Константина Леонтьева»[3]. Писали в ту пору даже так: «Пророческий смысл суждений Леонтьева заставляет ныне с вниманием вдумываться в каждое слово, даже недоговоренное или невзначай оброненное плохо понятым при жизни мыслителем»[4].

Много предсказаний сбывшихся, много – «отложенных» или сбывающихся сейчас, как вот это – о китайцах – в исключенном при издании сборника «Восток, Россия и Славянство» фрагменте из статьи 1880 г.: «*Будущее* принадлежит им, если славяне не перестанут все так же умильно и глупо служить обще-европейским гражданским богам…» (7(2), 515). Леонтьев, по выражению О.Э. Мандельштама, орудует «глыбами времени» и «покрикивает» на столетия[5]. Что, например, за государство или культура, которое не может простоять крепко 1000 лет? Так и со сроками «сбытия» пророчеств: «А если пророчество, хотя бы и в приблизительной форме, осуществляется через 200–100 или 75 лет, то неужели это пророчество будет вовсе поверхностное в идеализме своем?» (8(1), 361). Леонтьев полагал, что определение сроков «очень трудно; однако не совсем уж невозможно» (8(1), 328). «…Вся трудность в *сроках*. И определить их с точностью редко возможно, и не признать их могущества нельзя» (8(1), 360). Л.А. Тихомиров сказал о нем: «…человек, забежавший очень далеко „вперед“, в такое будущее, что средний глаз плохо его даже схватывает»[6].

[1] «Во многом я оказался пророком, и седины мои теперь многим утешены!» (8(1), 150); «…я уже не раз был пророком» (ИП. С. 443; письмо кн. Е.А. Гагариной от 24 апреля 1889 г. [*Леонтьев К.Н.* Избранные письма / Публ., предисл. и примеч. Д.В. Соловьева; вступ. ст. С.Н. Носова. СПб., 1993]). «Вспомните мои *пророчества* о болгарах и сербах. Я постоянно оправдан позднейшими событиями, но не людской догадкой и не своевременной справедливостью критики» (8(1), 499). Пример такого сбывшегося пророчества Леонтьев привел в дополнении 1885 г. к статье «Русские, греки и юго-славяне»: «…живя в Царьграде, среди глубокого военного затишья в 73 году, пророчил, что *первые восстанут против Турции не болгары и не греки, а сербы*» (7(1), 491). Здесь имеется в виду указание в пятой главе «Византизма и Славянства» на то, что сербы скорее могут восстать против турок, чем греки или болгары (7(1), 366–367). И прямо к этому месту в 1884–1885 гг. тоже сделано примечание: «Не был ли я и в этом пророком? Через год после этой книги сербы восстали. Они *начали* движение» (7(1), 366).

[2] О. Иосиф Фудель писал, что Леонтьев и Вл. Соловьев «обладали даром художественного прозрения, доходившего до пророческого ясновидения» (Преемство от отцов. С. 415).

[3] *Корольков А.А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991.

[4] *Булычев Ю.* Вольнолюбивый певец деспотизма: (О предназначении власти и смысле свободы в воззрениях К.Н. Леонтьева) // К. Леонтьев, наш современник. СПб., 1993. С. 409. Хорошо еще, что тот же автор призывает не превращать наследие Леонтьева «в сборник ответов для решения социально-политических задач», тем более что «русский космос разрушен настолько, что без творческих усилий его не возродить» (Там же. С. 420, 421). А ведь превращают! В 2010 г. на сайте «Русский журнал» появилась, например, статья М.А. Тюренкова под заглавием «Леонтьев и постманежная Россия» (http://www.russ.ru/pole/Leont-ev-i-postmanezhnaya-Rossiya). Это пример как раз из области вчерашней новизны; может быть, теперь и название этой статьи нуждается в комментарии.

[5] *Мандельштам О.Э.* Шум времени // *Мандельштам О.Э.* Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. / Сост. А.Г. Мец. М., 2010. Т. 2: Проза. С. 257.

[6] *Тихомиров Л.* Русские идеалы и К.Н. Леонтьев // Русское обозрение. 1894. Т. 29, окт. С. 868. Далее у него же: «проповедник и, надеюсь, пророк нашего будущего» (Там же. С. 881).

Кроме пророчеств-предсказаний есть пророчества-гипотезы. «…Это нечто вроде пророчества, если не совсем уже научного, то полунаучного, *гипотетического, по индуктивному способу из примеров исторических выведенного*» (8(1), 99). Так, «по индуктивному способу», Леонтьев пророчил «разрушение Парижа» (там же), о чем, судя по всему, даже молился[1].

Но есть среди леонтьевских «пророчеств» то, чему и примеров исторических не было (как Восточному союзу и соборной централизации на Босфоре; ср.: 8(1), 359–360). Здесь вступают в силу третьего рода пророчества. Здесь синонимами слова «пророчества» являются «идеал» (8(1), 44, 56, 90)[2], «мечта»[3], «идеи и мечтания» (7(2), 117), надежды[4], «предвидения и предчувствия» (8(1), 82). В таком же смысле (идеи, мечтания, надежды) он говорил о пророчествах Достоевского (7(2), 187, 195; 8(1), 337, 479; предсказания прозорливые: 8(1), 478), Н.Я. Данилевского (множество примеров), Вл. Соловьева (8(1), 361, 392), А.Н. Майкова (7(2), 188), Ф.И. Тютчева (8(1), 580).

Употреблял Леонтьев и популярное сейчас слово «проект», но чаще для того, чтобы от него оттолкнуться, о чем свидетельствует и курсив[5]. При этом слово употреблено в прямом смысле («фантастический проект» (7(2), 116) в контексте статьи о памятнике 25-летия царствования Александра II есть проект архитектурный). Хотя слово «проект» и оставалось для Леонтьева чужим, мыслил он, как уже было сказано выше, проективно. И можно было бы даже отнести его к утопистам (тем более что еще недавно в гуманитарных науках была так модна тема «консервативной утопии»)[6], если бы не одно важное обстоятельство: любой утопист, кто

[1] По словам Леонтьева, сохраненным в дневнике И.Л. Леонтьева-Щеглова, познакомившегося с ним в Оптиной пустыни в июне 1891 г., так молился «некий афонский монах» (не он ли сам? Он ведь не раз и в статьях говорил о себе в третьем лице): «Некий Аф<онский> монах: „О мире всего міра…. и о разрушении города Парижа, Госп<оду> пом<олимся>! Подай Господи!“» (ИРЛИ. Архив И.Л. Леонтьева-Щеглова. № 1419. Ч. 1. Л. 25). В другой записи среди реплик Леонтьева снова те же слова: «О разрушении города Парижа!..» (Там же. № 1418. Л. 77 об.).

[2] Один из наиболее ранних примеров – письмо к Вс.С. Соловьеву от 18 июня 1879 г.: «С одной стороны, я чувствую, что все напечатанное мною есть только жалкая и бедная доля того „океана“ чувств, идей самобытных и верных, тех образов, теней, *пророчеств*, которые живут и бесследно гаснут во мне… <…> Я сам виноват; *идеал мой* был не сообразен ни с веком, ни с здоровьем моим…» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 28). Другой случай: готовясь в 1883 г. к отдельному изданию своих сочинений, Леонтьев не оставлял и замысла издания отдельных брошюр. Сохранился ряд свидетельств о его плане издать брошюру «Прогресс и развитие», видимо, на основе «теоретических» глав книги «Византизм и Славянство», но однажды упоминается и начало названия другой задуманной брошюры: «Исторический идеал и…» (ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 288. Л. 8; письмо В.М. Эбермана к Леонтьеву от 17 января <1884 г.>).

[3] См.: 7(2), 111; 8(1), 77. Друг Леонтьева Т.И. Филиппов, помнивший об отрицательных оттенках слова «мечта» в христианской культуре, употреблял в таких случаях слова «чаяние», «упование». Но и у Леонтьева, собственно, «мечта» означает «идеал». Ср. еще: «*мечты*» славянофилов (7(1), 101; ср.: 7(2), 45–46); «высокая мечта» (7(2), 46); «*мечты* Руссо» (7(1), 172); благоденственная надежда, эвдемоническая мечта (7(2), 175, 176). В письме к Фуделю от 6–23 июля 1888 г. сам «эптастилизм» назван «патриотической мечтой» (Преемство от отцов. С. 91).

[4] «…К моим мечтам и надеждам на независимость *русской мысли* вообще» (8(1), 409).

[5] «…Я и не претендую предлагать *проект*»; «Я повторяю, что не претендую предлагать *проекты*, а лишь *ищу* и делаю намеки» (7(2), 111, 114).

[6] О проектах Леонтьева так и говорят: «футурологическая утопия» (*Гоголев Р.А.* «Ангельский доктор» русской истории. М., 2007. С. 103, 117). Да и вне всякой моды (задолго до нее) о. Иосиф Фудель тоже говорил об «утопичности» Леонтьева, объединяя его с другим утопистом, Вл. Соловьевым: «Оба всю жизнь *мечтали*, и оба всю жизнь бо-

бы он ни был по своей политической принадлежности и что бы ни проповедовал, проповедует в конечном счете «рай на земле», а уж это к Леонтьеву никак не применимо[1] (разве что мы будем использовать слово «утопия» в бытовом значении: «нечто неисполнимое»)[2]. Он сам ответил на предполагаемый вопрос о своем утопизме в заметке «Письмо к П.Е. Астафьеву. По поводу его книги „Психический мир женщины“» (1883), написанной «как будто от одной *читательницы из Тулы*»[3]: «Что я не утопистка – это я знаю, потому что я ни в какой *будущий идеал человеческого счастья* на земле не верю и даже, как исповедающая Христианство, ничего подобного на земле не обещавшего, верить не имею права» (VIII, 129).

«Мечты», или «смелые пророчества», все же, на взгляд Леонтьева, «гораздо скромнее непрошеного совета», который дают обычные публицисты: это ведь «нечто вроде предсказания» (8(1), 82) об обстоятельствах возможных или желательных. И делать такие предсказания – тоже одна из задач политического писателя. «…Неустранимая потребность сознательного отношения к жизни не может (именно вследствие силы своей) удовлетворяться только одними объяснениями прошедшего, но ей естественно нужны и реальные пророчества будущего, хотя бы ближайшего» (8(1), 357).

В книге «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» есть важный фрагмент, где говорится, о чем можно и о чем не должно «мечтать» (не должно – о неосуществимом): «…мечтать и заботиться об оригинальной <…> культуре можно, и позволительно даже *искать* ее. – Позволительно и логично мечтать о государственной силе и славе <…> позволительно и логично желать для *действительной* жизни больше *поэзии*, более изящных и красивых *форм* <…>. Позволительно надеяться на глубокие перевороты в области философского мышления <…>. Все это возможно.

Но с точки зрения *умственной*, непозволительно мечтать о всеобщей *правде* на земле, о какой-то *всеобщей* мистической любви, никому ясно даже и не понятной; нельзя мечтать о равномерном благоденствии» (8(1), 221–222).

Поскольку Леонтьев мечтает об осуществимом[4] (пусть и в необозримо далеком будущем) или об имевшем исторические прецеденты, он и называет свои пророчества «реальными». (В следующей главе речь пойдет о

ролись всеми доступными им средствами за осуществление своей мечты, за приближение идеала к земной действительности. Оба к концу жизни глубоко *разочаровались* не в своем идеале, а в *возможности* его достижения, его реализации *здесь* <…> вообще когда бы то ни было… <…> Оба были утописты, искавшие только точку опоры, чтобы своим рычагом повернуть ход мировой истории. И сколько действительной красоты в этой трагической борьбе одиноких мыслителей, благородных мечтателей, утопистов, фантазеров <…> в их отчаянной борьбе с несокрушимой броней медленно движущейся колесницы Истории!..» (Преемство от отцов. С. 415); «Это мечтатели, утописты, романтики, „смешные люди“, с обывательской точки зрения, и в то же время это гении человечества, своими утопическими мечтами согревающие нашу жизнь, которая без них превратилась бы в глыбу льда, это крылатые безумцы…» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1046. Л. 105. См. также: Л. 126 об., 143–143 об.).

[1] Ср.: «…я пришел к убеждению, что никогда люди „справедливо и приятно“ устроиться не могут, на каких бы то ни было основаниях. Да и не *должны*; ибо в случае успеха они забыли бы *Бога и вечность*…» (6(1), 362).

[2] Так, снисходительно, современный православный философ говорит о «мечте» Леонтьева – «соборной централизации»: «Конечно, и Леонтьева „заносило“ <…>. Но с кем из действительно крупных мыслителей этого не бывает!» (*Адрианов Б.* Место и значение К.Н. Леонтьева в русской философии // К. Леонтьев, наш современник. С. 5).

[3] Имеется в виду М.В. Леонтьева.

[4] Ср.: «Но для того, кто ни на минуту не хочет забыть заветной, исполинской и вместе *с тем весьма осуществимой мечты о независимой, многосложной и новой Славяно-Восточной цивилизации, долженствующей заменить Романо-Германскую*…» (8(1), 77).

задуманной Леонтьевым книге, которую он определял как «*реальные* пророчества будущей культуры»[1].) Они должны быть ясными, без «излишнего предрешения *подробностей*»[2], но учитывающими все обстоятельства времени («*не забывая силы сроков*»; 8(1), 357): «…важно не только какое-нибудь событие само по себе, но важно и то время, в которое это событие случается» (8(1), 624).

Его пророчества «реальны» еще и потому, что *трезвы*. «Когда мы судим о более или менее близком будущем, – писал он, обращаясь к своему дипломатическому начальству, – тогда, чтобы не ошибиться и не попасть на ложный практический путь, мы должны брать в расчет не одну статистику данной минуты как нечто вечное и непреложное, но и то течение обстоятельств, те залоги, на которых может зиждиться будущее»[3]. Эту «статистику» он дальше называет «*обманчивой*»[4].

Трезвость пророка оставляет течению событий свободу: «…в жизни никакое начало до конца не доводится; – всегда остается хоть небольшое место и для действия других начал» (8(2), 40). «Не все правильное сбывается и не все желательное правдоподобно» (8(1), 362).

Наконец, есть четвертое понимание «пророчества», а именно пророчества-проповеди[5] (ведь любой пророк посылается на проповедь). Но я не имею здесь в виду только пророчества о гибели царств или проповедь о покаянии, о Царстве Божием. В Апостольских посланиях «пророчество» означает вообще проповедь Слова Божия. Ср.: «…а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 14: 3).

О годах своего созревания как политического мыслителя (1873–1878) Леонтьев писал: «Было время <…> я еще мечтал своими статьями сделать какую-то „пользу“… Я верил тогда еще наивно, что я *кому следует* „открою глаза“…» (8(1), 499). В 1888 г. «оптинский отшельник» понимает: «Не надо писателю-христианину воображать себя слишком полезным…» (Там же).

Несмотря на то, что считать себя «полезным» *не полезно* для души, Леонтьев всегда заботился о приложимости, применяемости к действительности теорий, в том числе и своих. Этот аспект важен для пророчества-проповеди. О «практическом выходе в жизнь» различных философских теорий на примере Э. фон Гартмана и Вл. Соловьева Леонтьев подробно рассуждает в письме к К.А. Губастову от 5–7 июня 1889 г.[6] О Достоевском в письме к Розанову от 8 мая 1891 г. он заявляет: «Слишком сложно, туманно и к жизни неприложимо»[7]. Вообще понятие жизненной пользы того или иного явления, видимо, сильно заботило Леонтьева, хотя утилитаристом, как известно, он не был. Политическую пользу, политическую заслугу он видел даже… в романах Толстого (8(1), 309; VIII, 235–236), рассуждал «о социальной ценности и лично психическом значении разных русских героев XIX века» (VIII, 222). Собственная проповедь Леонтьева полезна и жизненна была уже тем, что развеивала иллюзии благополучия и призывала «тревожиться и неустан<но> бороться» (8(2), 14).

[1] Пророки Византизма. С. 305.

[2] Ср.: «…о частностях <…> пророчествовать еще нельзя, но о сущности <…> можно наверное сказать…» (7(2), 201).

[3] *Леонтьев К.Н.* Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 13.

[4] Там же.

[5] Ср. с высказываниями Леонтьева о двух классиках: Достоевский «писать и проповедывать правильно еще не мог» (VIII, 214), Толстой «желал проповедывать *свое*!» (VIII, 168).

[6] См.: ИП. С. 463–467.

[7] Литературные изгнанники. С. 336.

Проповедь, нацеленная на то, чтобы быть услышанной, должна быть настойчива (порой до назойливости)[1] и понятна. Поэтому Леонтьев так заботился о «наглядности»[2], запоминающихся примерах: «…когда я пишу, то больше думаю о живой психологии человечества, чем о логике; больше забочусь о наглядности изложения, чем о последовательности и строгой связи моих мыслей» (8(2), 120). «Для большинства читателей (да и для меня самого в *роли читателя*) – гораздо нужнее ясность и наглядность, чем все эти непрерывные и часто ложные и натянутые извороты отвлеченной диалектики» (8(1), 483)[3]. Обратим внимание на его похвалы Н.А. Любимову за то, что в его книге «Против течения» «так удачно соединены серьезность и самостоятельность исторического исследования со всей завлекательностью оживленной беседы и художественного рассказа» (VIII, 125), и упреки П.Е. Астафьеву, читатели которого вязнут в паутине метафизики. То, что Леонтьев говорит об избранной им форме изложения в предисловии к «Четырем письмам с Афона» («*писать – что писалось и как думалось*… без системы и очереди», – 7(1), 132), подходит практически ко всему, что он написал. Ср. в статье о Толстом: «Что делать!.. Как мыслится, – так и пишется…» (VIII, 223). Вот откуда проистекала та «прелесть и сила речи, которою, независимо от всякого содержания, мы любуемся в <…> многочисленных статьях К.Н. Леонтьева»[4].

Назову еще несколько свойств, отличающих Леонтьева – публициста-проповедника.

1. *Дерзновение* («Я говорю из вежливости, что я *подозреваю это*; в самом же деле, я в этом уверен, я готов пророчествовать это». – 7(2), 133), *смелость мысли*[5]. Один из его постоянных призывов: необходимость «глубокого поворота в духе» (8(1), 562) и «*эмансипации мысли*» (8(1), 48). «Русская мысль[6] должна, наконец, решиться стать смелой…» (8(1), 8). «Необходимо нам дерзновение ума и полезен нам каприз фантазии… <…> Ошибки в сфере искусства и мысли,

[1] «Есть вещи, – говорил он, – о которых необходимо напоминать как можно чаще, особенно в газетах, которые читаются вообще небрежно и торопливо» (7(2), 92). Теперь, отчего-то забывая об этой понятной и характерной для публицистики установке, исследователи, читающие Леонтьева «в книжке», порой упрекают его за множество повторов.

[2] Наглядностью своих очерков, полных «*живых, живописных осязательных примеров*», способностью «к изобразительности» Леонтьев пытался заинтересовать редактора «Зари» Страхова (см.: 7(2), 553–555), но все втуне: в этом журнале, как писал современник, «находили, что скучно все несерьезное и, напротив, все серьезное в высшей степени завлекательно» (*Авсеенко В.Г.* Кружок // Исторический вестник. 1909. № 5. С. 443).

[3] Всегда и везде у Леонтьева – образность, лиризм, запоминающиеся картины и примеры. При этом никогда он не забывает о том, что хочет внушить, проповедовать читателю. Нотки (а порой целые «мелодии») политической проповеди присутствуют даже в легком жанре мемуарного очерка для газеты, в его «консульских рассказах».

[4] *Розанов В.В.* Европейская культура и наше к ней отношение <1891> // *Розанов В.В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М., 1996. С. 179.

[5] Его раздражала «наша робкая литература» (письмо к Страхову от 12 марта 1870 г.; цит. по: 6(2), 268) и огорчало то, что «вообще в России люди не смелы умом», «делают много хорошо и смело; – мыслят – робко…» (5, 619), что «ни на каком поприще» не обнаруживается у нас «*умственной дерзости*, свойственной всем истинно культурным, творческим народам» (7(1), 512). «В самих себе мы ничего открыть не умеем; принять меры, неслыханные нигде, мы никогда не дерзнем…» (7(2), 97). «Мы вообще действуем лучше, чем мыслим; а мыслим нередко все-таки много смелее и яснее, чем пишем» (8(2), 44). «…Любовь к смелости и своеобразию мысли, – писал он, – так остыла в наше время…» (7(1), 118). Этой «нашей вечной умственной робости» (7(1), 501; примеч. 1885 г.) он опасался как самой большой преграды для культурной будущности России.

[6] В другом месте он говорит: «Увы! Пора убедиться, что именно *мысли-то русской* так мало на свете! <…>…*мысли* русской, того, что заслуживает названия мысли, не будет до тех пор, пока мы не перестанем быть *европейцами!*..» (7(2), 85).

даже самые грубые, если они явятся рядом с живыми указаниями, и те гораздо плодотворнее вечной осторожности, вечного terre-à-terre[1], вечного какого-то озирательства» (7(2), 117).

Известно, что Льву Толстому нравилось, как Леонтьев в своих статьях «все точно стекла выбивает»[2]. Несомненно, его (наряду с Вл. Соловьевым) Толстой отнес к «тому малому полку русских людей, которые позволяют себе думать своим умом». «Я уже насчитываю теперь 5-рых таких», – писал он Страхову 23 декабря 1874 г.[3] (Не ясно только, был ли Леонтьев уже тогда в числе этих пятерых или присоединен к ним позже, например, после «Византизма и Славянства»[4].) М.П. Погодин передавал в 1874–1875 гг. Леонтьеву, что после появления статей о панславизме многие «обрадовались <…> что вот, мол, *наконец-то человек мыслит!*» (цит. по: 7(2), 606).

2. *Независтливость* и *сорадование* за современников, стяжавших больший успех (укажу в пример на примечание 1885 г. к одной из статей из «Варшавского дневника»: «Мне очень приятно напомнить здесь, что замечательная статья г. Пазухина[5] <…> подтвердила с таким блеском и такой практической силой пять лет позднее эти самые мысли мои, выраженные при условиях, столь невыгодных и по времени и по месту моей деятельности в этом ужасном 80-м году!» – 7(2), 99)[6].

[1] Приземленности (*фр.*).

[2] Александров привел эти слова в предисловии к отдельному изданию статьи Леонтьева о Толстом (*Леонтьев К.* О романах гр. Толстого. М., 1911. С. 8). Знал их от Александрова и сам Леонтьев, сообщавший Розанову: «Он <Толстой> <…> за глаза всегда меня хвалит и предпочитает многим другим писателям за то, что я „стекла бью“ (это его слова)» (Литературные изгнанники. С. 359). Кажется, никем еще не отмечалось (может быть, за очевидностью?), что Толстой подразумевал в своем отзыве французский фразеологизм «cassser les vitres» (бить стекла), означающий «скандалить», «поднимать шум», «идти напролом». Соответственно, в продолжении цитаты («…но такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся») используется калька с французского «casseur de vitres». Между прочим, именно этот оборот обнаруживается в рецензии М.А. Загуляева на леонтьевскую статью о Толстом: «Этот блестящий писатель уже своими литературными дебютами продемонстрировал то, что называется „непокорностью“. У него просто дар бунтовать против устоявшихся мнений. <…> Но его бесспорная искренность и глубокое презрение к мнению читателей не позволяют приклеить ему эпитет „бьющего стекла“, которого заслуживает столько современных писателей, добивающихся популярности именно подобными проказами. <…> Да, он бьет стекла, но не из любви к разрушению, а из необходимости говорить без обиняков все, что в данный момент ему кажется справедливым и верным. <…> В сущности, это „романтик“ чистейшей воды…» (*L.V. <Загуляев М.А.>* Chronique littéraire // Journal de St. Petersburg. 1890. 22 Juillet (3 Août). № 193. P. 1; пер. с фр. Л.В. Дмитриевой).

[3] *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1953. Т. 62. С. 128.

[4] Не оставляет места для гаданий насчет того, входил ли Леонтьев в эту «пятерку», позднейший отзыв Толстого (22 июля 1905 г.), сохраненный Д.П. Маковицким: «Леонтьев стоял головой выше всех русских философов» (*Маковицкий Д.П.* У Толстого, 1904–1910: Яснополянские записки // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 1. С. 352).

[5] Речь идет о статье А.Д. Пазухина «Современное состояние России и сословный вопрос», вышедшей как раз тогда (Русский вестник. 1885. № 1. С. 5–58). В конце следующего года Леонтьев познакомился с Пазухиным лично и узнал, что тот его статей не читал. Но и в 1885 г. он подразумевал просто совпадение мыслей.

[6] Ср. в письме к Филиппову от 4 октября 1888 г.: «Обвинять себя только в самолюбии, в желании „успеха для успеха“ не имеет основания ни добросовестная мать, ни убежденный проповедник. Тут есть одно прекрасное средство проверить свою совесть; рада мать, если видит, что гувернантка или начальница училища лучше берется за дело, чем она? Если рада, то, конечно, совесть ее чиста. Рад писатель, увидавши, что другой, более его способный или счастливый, – говорит с успехом почти то же, что он „вопиял в пустыне“? Если рад, то он чист совестью. *Я всегда был рад*, когда это случалось. Примеров мог бы привести много» (Пророки Византизма. С. 513).

3. *Щедрость* («…*воруйте* на здоровье что понравится и с чем сердце ваше согласится», – в шутку призывал он ученика к заимствованию своих идей[1]). Он готов был *другу* передать не только свои темы (как Тихомирову – тему социалистической монархии), но даже сами неоконченные рукописи – для окончания[2].

4. *Требовательность к себе*[3].

Последнее свойство (его можно также назвать «осторожностью»[4], особенно удивительной в сочетании с «дерзновением ума» и «капризами фантазии») как нельзя лучше проявилось при подготовке отдельного издания статей в 1884–1885 гг. Авторедактирование – чрезвычайно интересная филологическая тема, полезная и для изучения писательской психологии. Если в художественных произведениях правка касалась в основном стиля (лишь в повести «Исповедь мужа» Леонтьев дважды пытался переписать финал), то в публицистике заметна многоуровневая серьезная правка, о которой, на примере статей 1880 г., рассказано в отдельной подглавке. Коснуться этого текстологического сюжета в начале книги необходимо потому, что это, во-первых, сразу покажет нам писателя, как раньше выражались, «в его лаборатории», а во-вторых, может побудить внимательнее относиться к его текстам, замечать в них разные временны́е слои.

<…>

Терминология и образность публицистики Леонтьева

Об основных категориях и терминах философии Леонтьева («единство в разнообразии», «веяние», «процесс развития», «цветущая сложность», «вторичное смесительное упрощение» и т. д.), об их генезисе – от античной философии и эстетики до Ап. Григорьева[5] – написано уже очень много[6].

[1] Преемство от отцов. С. 272 (письмо к о. Иосифу Фуделю от 19 января – 1 февраля 1891 г.)

[2] Так, Розанову он предлагал рукопись «Среднего европейца…». См.: Литературные изгнанники. С. 366.

[3] Вот один из показательных случаев: перечитывая после публикации свою статью «Анализ, стиль и веяние», Леонтьев обнаружил там негативный отзыв о писателе Успенском и задумался, кого из двух – Глеба или Николая – он имел в виду. А потом понял, что не имел права задевать ни того, ни другого. В «Гражданине» он поместил тогда заметку «Какой Успенский – Глеб или Николай?», где упрекал себя: «*Надо знать твердо то, о чем пишешь. А если не достаточно знаком с каким-нибудь автором, то не надо зря и с порицанием упоминать его имя в печати*» (VIII, 357–358).

[4] О. Иосиф Фудель отмечал: «До какой степени К. Л<еонтьев> был осторожен в своем слове, в своей проповеди! Какая противоположность с современными „мыслителями“!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1046. Л. 121).

[5] У последнего Леонтьев позаимствовал термин «веяние». См., например: *Славин И.К.* Литературно-критическая деятельность К.Н. Леонтьева: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 2004. С. 14. Здесь же, кстати, рассматриваются и другие категории леонтьевской эстетики.

[6] См. классические работы: *Гайденко П.П.* Наперекор историческому процессу: (К. Леонтьев – литературный критик) // Вопросы литературы. 1974. № 5. С. 159–205; *Бочаров С.Г.* «Эстетическое охранение» в литературной критике: (Константин Леонтьев о русской литературе) // Контекст, 1977. М., 1978. С. 142–193; *Бочаров С.Г.* Литературная теория Константина Леонтьева // Вопросы литературы. 1999. Вып. 2. С. 63–109; Вып. 3. С. 188–203 (то же, с «постскриптумом» «Заметки к теме „Леонтьев и Фет“»: *Бочаров С.Г.* Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 276–340). Из новейших исследований стоит выделить монографию Р.А. Гоголева, уже упоминавшуюся в начале книги [«Ангельский доктор» русской истории (М., 2007)].

К влиянию славянофилов современный историк относит употребление Леонтьевым термина «начала», который тот использовал в 1870-х гг.[1] (в конце жизни мыслитель будет говорить, что не понимает, что такое «начало» в смысле философской категории)[2]. Думается, что корни, конечно, надо искать гораздо глубже, поскольку и у славянофилов были свои образцы – прежде всего в немецкой философии и в традиции романтизма.

Свидетельства тому, что и Леонтьев «романтизму отдал дань», находим в использовании им таких понятий, как «племенной гений» (ср.: 3, 8), «исторические течения века» (7(2), 18), «дух времени» с его «течениями» и «веяниями» (7(2), 140–142), «*общее течение* исторического потока» (7(2), 158).

Разные трактовки вызывают то противопоставленные, то синонимичные у Леонтьева термины «культура» и «цивилизация»[3].

Мне бы хотелось обратить внимание на менее привлекавший внимание исследователей терминологический ряд (главным образом из области социологии и социальной психологии[4]) и попытаться выявить в нем некоторые закономерности. О серьезном анализе речь сейчас не идет. Это лишь материал для дальнейших наблюдений.

* * *

У Леонтьева не было серьезной научной подготовки в области истории и философии, но были интуиция художника и отличная память. Он редко запоминал точное название статьи или книги, мог вообще забыть его, мог назвать очень приблизительно или вовсе спутать время ее выхода, затрудняя задачу будущим комментаторам. При этом он поразительно точно через много лет до деталей помнил содержание прочитанного. Он умел, кроме того, по детали достраивать картину. Иногда одна статья, на которую современники и внимания-то особого не

[1] *Хатунцев С.В.* Константин Леонтьев: Интеллектуальная биография. СПб., 2007. Встречается и более позднее употребление. Например, в «Варшавском дневнике»: «исторические начала народной жизни» (7(2), 89). Далее в той же статье как синоним используются термины «основы» и «основные факторы» (7(2), 90). Леонтьев пользовался также термином «устои». «Устои» могут быть новы по формам, но *вечны «по существу своему»* (8(1), 102). Ср.: 8(1), 201–202 (перерождение социальных форм). Интересно определение, что такое «основы»: «…основами называются <…> те из начал, правящих жизнью современного нам общества, которые *неизменнее* других продержались или с самого зарождения данного общества, или с эпохи его утверждения до наших дней, до современности» (8(1), 330). *«Все основы стеснительны для большинства: это должно быть признано, я думаю, социологической аксиомой»* (8(1), 331).

[2] Он и прежде чаще использовал «начала» как «чужое слово», то от лица «чехов» (7(2), 339), то как слово Герцена (7(1), 174).

[3] «…Под словом „культура“ надо понимать не просто *цивилизацию*, как многие ошибочно думают, но цивилизацию *особую*; надо понимать такой род исторического развития, который от *других родов* в совокупности признаков своих значительно разнится» (8(2), 225); «…слово *культура* я, последуя Данилевскому, понимаю не просто как *цивилизацию*; а как цивилизацию *особую*, как особый вид развития *жизни и сознания*…» (8(2), 33). Под «цивилизацией», как можно думать, Леонтьев подразумевал, по-видимому, культуру *в ее материальном воплощении* (ср.: 8(1), 77). Культура состоит «в совокупности всех тех признаков, которы<ми> одна цивилизация отличается от другой…» (8(2), 12). Есть случаи смешанного или синонимического употребления этих терминов: «…особой, европейской культуры, этой в свое время новой всемирной цивилизации» (7(1), 301). «Цивилизация, культура, есть именно та сложная система отвлеченных идей <…> которая вырабатывается всей жизнью наций» (7(1), 433).

[4] Эта наука, которая «едва родилась» (7(1), 384), чрезвычайно интересовала Леонтьева, ведь она познает древние, исконные, «непобедимые» законы социальной жизни (8(1), 591).

обращали, для него становилась важнейшим источником раздумий и новых построений. Пример тому – статья А.М. Майкова «Всеславянство»[1], «краткое, но солидного тона историческое исследование» (7(1), 446), которое он в целом осуждает за то, что автор как будто высказывает радость о либерализме славян, в чем Леонтьев увидел отклонение от «первоначального» славянофильского учения[2]. Из этой статьи Леонтьев заимствовал идею (точнее сказать, *формулировку* идеи) взаимного «тяготения» славянских племен[3], но от себя добавил: «на рассчитанных расстояниях»[4]. В той же статье со ссылкой на рецензируемое чешское издание используется, между прочим, и выражение «разнообразие в гармонии»[5].

Из другой статьи журнала «Беседа»[6] Леонтьев узнал о введенном немецким юристом и политическим деятелем Робертом фон Молем (1799–1875) термине «реальные силы»[7] и сразу ввел его в свой активный словарь[8]. Между прочим, в наше время леонтьеведы ничтоже сумняшеся зачастую приписывают эту категорию Леонтьеву[9].

Впервые прочитав в середине 1880-х гг., по рекомендации П.Е. Астафьева, давние работы Г. Спенсера, которые прошли мимо него в 1860-х гг., Леонтьев станет охотно и в самых разных вариациях употреблять его термин «дифференцирование»[10].

К рабочим терминам Леонтьева относятся «государственная форма» (7(1), 382, 389) – политическая форма, свойственная государству, неизменная

[1] Беседа. 1871. № 3. С. 219–261. Статья представляла собой рецензию на «Научный словарь» Ф. Ригера и Я. Малея.

[2] См. также: 7(2), 192. В первоначальном варианте об этой статье даже говорилось, что она – «самого революционного духа» (7(2), 497).

[3] У Майкова было: «…славянство <…> должно не иначе объединиться, как чрез взаимное добровольное тяготение, причем возникнут два или три средоточия, около которых оно и окристаллизуется. Это будет свободный одноплеменной союз» (Беседа. 1871. № 3. С. 225).

[4] См.: 7(2), 696. В связи с вопросом о подходе писателя к «источникам» можно вспомнить интересное наблюдение К.А. Жукова о рецепции Леонтьевым теории «туранского происхождения» русских. Леонтьев соглашается с этой концепцией, возникшей как русофобская, но меняет знаки: «…он взял расхожие рассуждения представителей современной ему западноевропейской науки <…> относительно туранского происхождения великороссов, сменил негативную оценку наличия туранского элемента в действительно смешанном великорусском племени на позитивную и затем включил этот блок в свою историософскую концепцию» (*Жуков К.А.* Восточный вопрос в историософской концепции К.Н. Леонтьева. СПб., 2006. С. 77).

[5] Беседа. 1871. № 3. С. 220.

[6] Леонтьев забыл ее автора и название, но хорошо помнил содержание. Как удалось установить, это статья И.Ф. Ковалева «Положительное направление политической мысли» (Беседа. 1871. № 4. С. 205–244).

[7] См. подробнее: 7(2), 959–961.

[8] См.: 7(1), 217, 255, 259, 319, 322, 382, 387, 428, 522, 536; 6(1), 174; 7(2), 91, 92; 8(1), 93–94, 410. Синонимические формулы: «неизбежные части всех общественных организмов» (7(1), 319), «политические силы» (7(1), 367), «общественно-реальные силы» (7(1), 387), «общественно-государственные силы» (6(1), 174; то же: 7(1), 537), «однородные охранительные силы» (7(2), 157). «Реальные силы» «неизбежны, неотвратимы, реально-бессмертны» (8(1), 202), но они «разнородно сопряжены и неравномерно сильны и ярки у разных наций и в разные времена» (7(1), 319); «*все остается*; но является только в иных сочетаниях сил и перевеса…» (8(1), 202).

[9] См., например: *Кобелев П.С.* Философия спасения: Социально-этические идеи Константина Леонтьева. М., 2009. С. 99–102.

[10] Ср.: дифференцирующая реакция (8(1), 462), дифференцирование в единстве (8(2), 81), национальное дифференцирование (8(2), 110); часто используются термины «социальное дифференцирование», «органическое дифференцирование».

в своей главной метафизической основе, «социальные организмы» (8(1), 219), «корпорации»[1].

Он часто скрещивает термины социологии с математическими и физическими. Ниже приведены примеры:

площадь пересечения социальных кругов (ср.: 6(1), 520)[2]

пределы колебаний

«…Сколько ни меняются политические течения, есть, однако, известные роковые пределы, за которые колебания эти целые века переступить не могут» (7(1), 449). «Эти-то пределы политических колебаний <…> обусловливаются внутренним строем этой нации, ее вероисповеданием, ее преданиями и даже вкусами, ее социальным устройством…» (Там же).

средняя диагональ социальных сил / общественного движения

Средняя «диагональ сил, по которой уже движется Восточный вопрос» (7(1), 205).

Средняя диагональ социальных сил, отклоняемая «совокупным давлением» (8(1), 127); «*средняя диагональ* общественного движения» (8(1), 129).

статика, динамика; антистатика

«Господство средних людей <…> усиливая кратковременно *социальную динамику*, – нарушает очень скоро все условия, благоприятные *социальной статике»* (8(2), 192). *Социальная статика* (8(1), 218, 255). Общественная статика (8(1), 571).

Антистатическое равенство (8(1), 332), *антистатическое* ускорение (8(1), 406).

точка насыщения

Обычно о чем-то отрицательном: 7(2), 75, 78, 134; 8(1), 91, 169, 533, 542, 591; исключение: VIII, 195. Антоним: высшая точка «величия и блеска» (ср. о монархии: 8(1), 95). Ср. *социально-статический предел* (8(1), 213).

Но: «…*черта насыщения ученым материалом*…» (8(1), 386).

«Во всем есть точка насыщения, и после этой точки, после этого предела, – реакция.

«Там, где точка насыщения есть точка вымирания или разложения, – реакция уже невозможна; там, где реакция возможна, возможно превращение, выздоровление, усиление и т.д.» (8(1), 399). Точка поворота (7(2), 134), поворот (8(1), 542), высшая точка (7(2), 176).

точка опоры

«…У него вне народа нет никакой точки опоры» (7(1), 360). Вариант: *точка коренной опоры* (8(1), 527). Ср.: 8(1), 293.

фокус

Места запасов, *фокусы* Православной силы (8(1), 293). – Точка осредоточивания силы, огня и т. д.

центр тяжести национальной (религиозно-культурной) жизни

«Центры тяжести духовной и политически культурной…» (7(2), 341; зачеркнутый вариант; 1873).

[1] Впервые термин «корпорация» применен Леонтьевым в статье «Панславизм на Афоне» по отношению к привилегированным монастырям (7(1), 213, 214). В 1880 г. Леонтьев говорит о «*всей великой корпорации, именуемой духовенством*» (7(2), 236). Прилагательное «корпоративный» впервые у него встречается в книге «Византизм и Славянство» (7(1), 368). И впоследствии, особенно в 1880-х гг., оба слова употребляются довольно часто, преимущественно рядом со словами «община» и «сословие», «сословный» или же как антоним к понятию «ассоциация» (ср.: VIII, 126; 8(1), 205). Для сравнения: в «Византизме...» Леонтьев еще употреблял слово «ассоциации» без отрицательных коннотаций (о крестьянской общине): 7(1), 320.

[2] См. также: 7(2), 99 (пересекающие друг друга круги с общей площадью – дворянство и интеллигенция).

«…Перенесению центра сербской тяжести из Белграда в Загреб» (7(1), 202); «центр славянской тяжести» (7(1), 209); «центр национальной тяжести» (7(1), 487).

«свободный центр национально-государственного притяжения» (6(1), 167; то же: 7(1), 528)

Центр тяжести государства (7(1), 370) / государственной (7(2), 142).

«Уничтожая староверство, мы, так сказать, передвигаем хоть немного центр общей тяжести нашей справа налево» (6(1), 337).

«…Перенести, наконец, центр тяжести нашей религиозно-культурной жизни *с европейского Севера на полуазиятский Юг»* (8(1), 265).

«…*Переменивши центр своей культурной тяжести*…» (8(1), 562). «Не в русском *народе* центр тяжести – а в Православии самом» (8(2), 37). «…Перенести центр тяжести этих Восточных Дел…» (8(2), 43).

Из естественных наук черпаются не только термины, но и образность:

азот и кислород (7(2), 58).

давление

давление трех атмосфер (7(2), 25; ср.: 7(2), 91 – совокупное давление).

испаряющаяся теплота (8(1), 338).

кристаллизация

(7(1), 383; ср.: 7(1), 393; 8(1), 338; VIII, 195 – еретическая кристаллизация теплоты); «круглые, притертые взаимно голыши, вместо резких *кристаллов*» (7(1), 413).

механическое и химическое

механическое (всегда почти отрицательное), *химическое* (8(1), 91, 92 – отрицательное: отравление; 8(1), 395 – положительное: «перерождающее и содержание и форму»). Механическое (6(1), 171 (то же: 7(1), 533); 7(2), 94; 8(1), 355; 8(2), 105). Впервые: 7(1), 72 («от напора *механически* сильной цивилизации Запада»). Другие примеры: «*механическое* потрясение» (7(1), 110); «механико-юридический характер» (7(1), 344). Механический, а не культурный – где нет идеи (ср.: 7(2), 94). Нейтральное употребление: «Международная политика есть неизбежная в истории игра сил, так сказать, механических сил народной жизни» (7(1), 201); «политика есть дело механическое» (6(1), 174; то же: 7(1), 536).

подмораживание[1]

(7(2), 73, 135; не поможет «без некоторых ретроградных реформ»). Ср.: 8(1), 38.

подогревание (ср. 8(1), 239)

тормоз (7(1), 394; 7(2), 55; 8(1), 436, 616, 617).

С естественными науками и «предметным миром» связана терминология формы / аморфности и иерархии, градативности. Из этого ряда приведу лишь несколько примеров:

аморфическое

= разрушительное (8(1), 395); морально-аморфические мысли (8(1), 335).

[1] П.Н. Милюковым (в лекции «Разложение славянофильства», 1893) подмечено, что идею «подмораживания» Леонтьев позаимствовал у Данилевского. Ср.: «Чтобы сохранить органическое вещество, не живущее уже органической жизнью, ничего другого не остается, как герметически закупорить его в плотный сосуд, прекратить к нему доступ воздуха и влажности, или же заморозить» (Данилевский. С. 289). См. об этом: *Ефремов А.В.* Борьба за историю: Концепция Н.Я. Данилевского в оценке современников. М., 2006. С. 79.

морфологическая эпоха (7(1), 413).
формологический процесс (7(1), 393).
градативный
«…служивших градативно новому порядку» (7(1), 307); градативная дисциплина (7(1), 441; 8(1), 467).

Сюда же примыкает и «строительная» образность:

опоры
сословия – боковые опоры для монархизма, самодержавия (8(1), 454, 468; даже и для Православия: 7(2), 90); мистика – опора для «всенародной морали» (8(1), 339).
ступени (8(2), 22).

Богатый терминологический ряд находим в обращениях Леонтьева к *социальной психологии* (8(1), 500)[1]. Его занимает «историческая психология» (8(2), 133), «национальная психология» (7(1), 444, 487), психология восприятия и творчества (ср.: VIII, 294), загадки человеческой памяти. Ниже представлены лексические иллюстрации:

психическая жизнь
Психическая жизнь общества (7(1), 373).
психический / психологический закон
Психологические законы творчества (VIII, 25).
психический строй
представителей определенной нации – 7(1), 449; 8(1), 193 – о социальных группах; психический строй русских людей – 8(2), 62, 161, 162, 170, 172, 176; России – 8(2), 132, 142, 143; сербов – 7(1), 491; других наций – 8(2), 142; лиц – VIII, 188). Внутренний строй. На него влияет социальное устройство, в свою очередь, этот строй обусловливает «пределы политических колебаний» (7(1), 449).
Ср.: жизненно-исторический образ (8(2), 225).
психический тип, устойчивость психического типа (8(1), 208).
«вековая устойчивость бытового типа, общего духа, который меняется медленно» (7(1), 449).
психический характер
Психический характер нации (7(1), 422). Национальный психический характер (из первоначального названия одной из статей; см.: 7(2), 714). <Позже переделывает на «психический строй».> Внутренний, социальный характер племени (7(1), 490).
психическое содержание
Психическое содержание (восточного мира) (7(1), 488).
психические / психологические запасы / ресурсы
психологические ресурсы нации (ср.: 7(1), 482).
психические запасы обществ (8(1), 218).
психические привычки / навыки / потребности
Лично-психические черты (3, 8); *психические привычки* (7(2), 206); исторически приобретенные душевные навыки (8(1), 470); психические навыки (монашества) (8(2), 157). Социальные типы со своими душевными навыками (8(1), 464). Психические потребности высшей цивилизации (7(1), 462).
Ср.: *культурные привычки* (7(1), 352). Известные понятия и формы дисциплины (7(2), 141).

[1] Ср.: тонкости социальной психологии (8(2), 133).

«…Вековая устойчивость бытового типа, общего духа, который меняется медленно…» (7(1), 449).

В этом же контексте Леонтьевым употребляется понятие «предание»: *предания* – то, что «созидает нации… что их единит, ведет к победам, славе и могуществу» (7(2), 11; ср.: 8(1), 123: объединяют «веру и племя»). «…От тех суровых, но крепительных преданий, которые создали ее» (7(2), 37). Есть предания и привычки, на которые можно возлагать «охранительные надежды» (8(1), 127); аристократические предания (7(1), 364), исторические, военные (7(1), 365), крепкие сословные (7(1), 438), священные (7(1), 519), национальные (7(2), 195); «потребности, роды воспитания, привычки, вкусы, идеалы» (7(1), 478); византийские «уставы, понятия, вкусы и обычаи» (7(1), 395), «*быт, чувства, идеалы, вкусы*» (7(2), 30); «*вековые привычки и предания независимости*» (8(1), 292); сословные и корпоративные предания (8(1), 128); вековые сословные предания (8(1), 463), «великие предания» Греческих Церквей (8(2), 165). «…Множество… таких *душевных навыков*, преданий, вкусов и даже полезных предрассудков» (8(1), 455). Ср.: 8(1), 616. Политические здания (государства) «держатся прочно лишь на *отвлеченных принципах верований и вековых преданий*» (7(1), 519).

психические условия

Психические условия (8(1), 363), таинства психического развития (8(1), 387).

Все это – описание «статики», отдельный ряд состоит из терминов «динамических»:

психомеханика

Психо-механика (Толстого) (VIII, 286). Государственная психо-механика (7(1), 557; в 1879 г. было просто «механика», см.: 7(2), 444).

Социальная психомеханика (8(1), 212). *Социальная механика* (8(1), 215). – Имеются в виду трансформации социальных групп и т. п. (Ср.: механика политическая, 6(1), 174; то же: 7(1), 536).

Психо-механический и статико-социальный вопрос (8(1), 218).

историческое / социальное воспитание

Историческое воспитание (7(1), 321, 352, 353, 357; 3, 8). «…Впечатления исторического воспитания» (7(1), 357).

Сословное воспитание нации (7(1), 357, 358, 364 – 2 р.). Аристократическое (7(1), 359, 364), монархическое воспитание (7(1), 359). Нравственное воспитание (7(1), 360).

духовная телеология

Духовная телеология (8(2), 112), «невидимая телеологическая связь» (8(2), 113). Телеологическая логика (Там же).

психологическое действие

Психологическое действие (8(2), 113), психологические последствия (8(2), 114), исторические плоды.

К общепринятым терминам «национальные основы государственного быта» (7(2), 157), «общественный идеал» (7(2), 138), «культурное влияние» (7(1), 353), «социальные группы» (8(1), 169) Леонтьев добавляет удивительные неологизмы вроде грецизма «какопсихия» (VIII, 305; от *греч.* κακός дурной).

Для бывшего медика естественно прибегать к медицинской образности и терминологии. Кроме постоянно вспоминаемых примеров из «Византизма и Славянства» (7(1), 375–377) можно указать следующие:

7(1), 384, 387–388, 389, 394–395, 423, 429–430; 7(2), 12, 14, 19, 60, 142, 252 (холера, гангрена, сухотка; прорезывание зубов и т.д., худосочие, язвы, чумное

> веяние); VIII, 203; 8(1), 189, 584–585). Крестьянская реформа: «рискованное, но вместе с тем и спасительное привитие искусственной болезни для предотвращения несравненно более опасного естественного недуга» (8(2), 46).

Даже слово «процесс» Леонтьев употребляет именно в медицинском значении. Ср.: «*Во всех открылся эгалитарный и либеральный процесс*» (7(1), 392). См. также: 7(1), 413. Признание Леонтьева в том, что его гипотеза «имеет <…> значение более *семиологическое*, чем *причинное* (чем *этиологическое*)» (7(1), 421), было подхвачено Астафьевым, и потом признано в ответе ему Леонтьева (8(2), 135).

Характерны для Леонтьева природно-климатические метафоры[1], а также «хозяйственная» образность – к примеру, образ красильни: «лица» окрашиваются в «корпорациях», сословия окрашивают друг друга.

> «…Еще можно было надеяться, что эпические части народа у славян дадут свою окраску прогрессивным…» (7(1), 371). Но оказалось: «Вообще напрасны надежды на простой народ, не он в течение времени окрашивает высшие слои, но эти высшие слои везде одинаково влияют на низшие» (7(1), 462). «*…Не народ слиняет, так сказать, на нас своими яркими национальными цветами…*» (7(2), 160). При бессословном строе «смешение классов, подвижность *слоев* и *кругов* общественных становятся так велики, что *лицам* нет почти возможности выдерживаться долго в сословной или общинной окраске своей» (8(2), 22). «Особенности же сословной, религиозной, провинциальной, общинной, цеховой и т. п. окраски и выработки при таком строе скоро пропадают» (Там же).

Кстати, может быть, и любимое Леонтьевым слово «выдержка»[2] тоже связано с этой идеей социальной красильни. Ср. в глагольном словоупотреблении: «Чем эти низшие власти были воспитаны и выдержаны, как не долгой Иерархической дисциплиной…» (7(1), 324–325). Можно привести и другие примеры «хозяйственной» образности, тоже относящиеся к проповеди формы и дисциплины: позднейший образ «стягивания» (подобного стягиванию бочки; ср.: 7(2), 142): «стянуть, расслоить и этим дисциплинировать» (8(1), 360) или образ «столярный»: «постепенное подвинчивание и сколачивание» (7(2), 134).

О метафоре почвы у Леонтьева прекрасно писал С.Г. Бочаров[3]. Ниже приведены примеры, иллюстрирующие богатство эпитетов к лексеме «почва» и все богатство этого концепта:

> Прозаическая («Наше общество и наша изящная литература», III), чужая (7(1), 91), мещанская (7(1), 97; о Западе), народная (7(1), 101), национальная (7(1), 101; 8(1), 557; 8(2), 44). Возвращали к «почве» (7(1), 102; см. еще с. 121); «…где почва своеобразна и глубока даже в незаконных своих произведениях» (7(1), 109–110). Роскошная (7(1), 120). Почва, где родился и вырос византизм (7(1), 302). Две различные почвы (7(1), 303). Сложная

[1] Таяние и гниение (7(1), 384; 8(1), 360); гниение (7(1), 393, 413, 415, 430; 7(2), 73); таяние (7(2), 61, 135; 8(1), 595); туман (7(1), 373 – приятный туман); выветривание и подмывание (7(2), 8; ср.: VIII, 189); огненное тление (7(2), 61); тихое и медленное тление (7(2), 187); жара, прохлада, холода (7(2), 24, 72).

[2] Напомню и его синоним из другого образного ряда: *выправка*. У славян «нет в характере той долгой государственной выправки, которую дает прочное существование национальной популярной Монархии» (7(1), 365). Не боится Леонтьев даже «псарского выражения» «высворил» (7(1), 442).

[3] *Бочаров С.Г.* Сюжеты русской литературы. С. 267.

европейская, западная (7(1), 304), расшатанная, полусгнившая (7(1), 308; о Византии), русская (7(1), 313; 8(2), 145), холодная протестантская (6(1), 254), великорусская (7(1), 437), нейтральная (7(1), 368). Реальная почва «равнодушного исследования» (7(1), 408). Реальная почва (7(1), 503); реальная почва действия (7(1), 508); удобная для действия (6(1), 170; то же: 7(1), 532). Разнообразная (7(1), 411–412), новая (7(1), 417), вторично смешанная, уравненная (7(1), 427), религиозная (7(1), 429) и лжерелигиозная (7(1), 460). Почва ровнее (7(1), 437). Подвижность (русской) почвы (7(1), 438). Однообразная, более русской, греческая (7(1), 461). Духовная, психическая (7(1), 487), священная (7(1), 503). Почва (Турции) (7(1), 509) Историческая (7(2), 7). Не твердая (7(2), 99; «усилить еще вдесятеро *подвижность* нашей почвы, и без того не слишком твердой теперь»). Легальная почва мирного прогресса (7(2), 110). Так называемая легальная (7(2), 119). На почве учреждений… на почве новых учреждений (7(2), 123), на почве либеральных учреждений (7(2), 124). Размягченная (7(2), 166), глубоко-расчищенная (7(2), 173). «На почве действительности» (VIII, 198). Политическая, религиозная (VIII, 208). Разрыхленная кровью (8(1), 125), нетвердая, подвижная (8(1), 126), разрыхленная, рыхлая (8(1), 158, 523, 531, 542; 8(2), 14), однородная, не новая (8(1), 187). Старая почва (8(1), 191). Старая великорусская (8(1), 238; 8(2), 44, 58) – она была «густа и неподатлива в своих особенностях», веками устоявшаяся и с «оригинальными испарениями» (8(2), 44). Жалкая почва Балтийских берегов (8(1), 239). Новая, нам сродная, родственная (8(1), 239; 8(2), 58; на Босфоре). Песок (8(1), 124, 456, 571). Социальная почва (8(1), 254, 526 – 2 раза, 531, 552). Почва и орудие (8(1), 322). Держаться ближе к почве (8(1), 332). Современная почва (8(1), 334). Смешанная, зыбкая (8(1), 455), эгалитарная (8(1), 456), слишком уравненная почва (8(1), 515). Умственная (8(1), 433), общественная (8(1), 455, 523). На почве социализма (8(1), 536). Почва новая, разрыхленная реформами (8(1), 542, 621). Ближе к почве (8(1), 630). Общая почва (8(2), 11; одна и та же – 7(1), 90). Вероисповедная, племенная (8(2), 43). На западной почве уже ничто «*мистически оправданное* и *органически* усвоенное… произрасти не может» (8(2), 48), не пригодная к религиозному монархизму (8(2), 49). Христианская почва (8(2), 82). На почве гипотезы (8(2), 88). Народная (8(2), 95). Почва Православия (8(2), 115). *Лично*-религиозная (8(2), 147). Чистая народная и более смешанная (8(2), 168).

Упоминается, хотя и редко, естественно, и «почва» в прямом смысле слова (7(1), 454; 8(1), 631).

Терминологическое значение приобретала у Леонтьева даже бытовая лексика. Например, он любил выражения «отрицательная польза» (7(1), 316; о романе Чернышевского), «косвенная польза». Последнее употреблялось им не в значении «побочная», но в двух других: 1) незаметная польза (6(1), 175, то же: 7(1), 537); 2) польза «отрицательная», но обращаемая ко благу (ср.: 7(1), 120–121; 6(1), 338; 7(2), 165; 8(1), 252, 318; 8(1), 458). К примеру, Вл. Соловьев своей статьей дал возможность теперь ему возражать (8(1), 316), польское восстание способствовало сплочению русского народа и т.д. Косвенно полезными оказываются даже ненавистные Леонтьеву железные дороги: «…ежели бы их не было, не пришлось бы бежать сюда (в Оптину пустынь. – *О.Ф.*) от их последствий»[1]. Надеюсь, что эта главка тоже принесет кому-нибудь хотя бы косвенную (на этот раз в смысле «незаметную») пользу.

[1] ИРЛИ. № 1418. Л. 77 об. (слова Леонтьева, записанные И.Л. Леонтьевым-Щегловым по памяти, уже после смерти мыслителя).

Из Главы второй.
Гептастилизм, учение о новой восточной культуре

Предыстория

«…Я всегда опережал как-то окружающую „среду“, – говорил о своей молодости Леонтьев, – и мои *тогдашние* идеалы и вкусы были ближе, увы! к *либерально-современным*, чем к *нынешним* моим же…» (6(1), 366). В студенческие годы он близок «к печальным, но изящным идеалам 40-х годов» (6(1), 11), определяемым им как европейское плодотворное «разочарование»[1]. Он и сам живет с «острой болью юношеского разочарования», в «тоскливом *субъективизме*» (6(1), 364, 367), а точнее – еще только учится жить «по книгам», проходит «через период совершенного охлаждения» (VII, 32). Его мировоззрение определяется тогда «готовыми, ясными европейскими идеями и вкусами» (6(1), 9). Нужно не забывать, кроме того, что он был студентом-естественником[2], у которого, правда, не прерывалась «связь сердца» с идеалами предков (то есть идеалами Александровской эпохи) (6(1), 366).

Первый период своей литературной деятельности (до 1858–1859 гг.) Леонтьев позднее характеризовал как «*искажение* таланта *научно-философскими ухищрениями мысли*» (6(2), 277). К этому времени может быть отнесено определение, примененное С.И. Бажовым к основам мировоззрения Н.Я. Данилевского: «сплав установок на рационально-научное постижение действительности и глубоких романтических интенций»[3]. Леонтьев изучал «Кювье и Гумбольдта» и «чуть ли не думал внести в искусство какие-то *новые формы*, на основании *естественных наук*» (6(1), 68). Для тех лет это опережающая время тенденция.

Перелом эстетических (а вслед за этим и политических) воззрений произошел у Леонтьева не в 1862–1863 гг.[4], даже не весной 1861-го, как думает исследователь его ранней «интеллектуальной биографии», основываясь на статье о Марко Вовчок, в которой критик смеялся над «паразитством мысли» «всех этих друзей прогресса» (VIII, 17)[5], а, пожалуй, еще в 1860 г.

Когда Леонтьев в 1860 г. только начинал работу над статьей о замечательной украинской писательнице, он еще думал, что Д.В. Григорович коротко знаком «с крестьянским языком и бытом», а Тургенев обладает «глубоким и высоко поэтическ<им><чувством> и изяще<ством>»[6], но в *том же году* многое было им пересмотрено. Например, те же «Записки охотника», которые в юности он «ставил <…> гораздо выше „Мертвых душ“» (VIII, 310), теперь, в статье о Турге-

[1] Ср.: 6(1), 10.

[2] Ср.: «…при всей глупой и грубой „реальности“ моего мировоззрения *как медицинского студента*…» (6(1), 367).

[3] *Бажов С.И.* Философия истории Н.Я. Данилевского. М., 1997. С. 25.

[4] Сам Леонтьев называет 1862 год, но скорее уже как время, когда кризис был пережит и определилось новое воззрение: «…Я уже с 62 года (30 лет) – отступался с ужасом от либерализма, которому поклонялся с 18 лет под влиянием Ж. Занда, Белинского, Тургенева и т.д. – Поклонялся его сердечным и благородным сторонам – *не понимая* еще (до 28–29 лет) ни глубокой анти-государственности его; ни *прозаических* последствий того „смешения“, без которого либерализм не может быть *практикуем*» (*Агеев К., свящ.* Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни: Опыт критического изучения и богословской оценки раскрытого К. Леонтьевым понимания христианства. Киев, 1909. С. 294; исправлено по автографу, хранящемуся в частной коллекции).

[5] *Хатунцев С.В.* Константин Леонтьев: Интеллектуальная биография. 1850–1874 гг. СПб., 2007. С. 81.

[6] Из наброска «Критика. 1860» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 35 об.).

неве, Леонтьев оценивает совершенно иначе, отмечая, что они «в деле зрелой красоты» уступают тургеневским же «Рудину» и «Дворянскому гнезду» (VIII, 4).

Отношение к России и русской истории менялось медленнее. В цитированном выше наброске к статье о Марко Вовчок говорится: «Нельзя не согласиться, что наша жизнь сама по себе вяла и не богата драматическим разнообразием...», а дальше наша история названа «довольно скудной» по сравнению с «богатыми западны<ми>»[1]. Но уже в 1863 г. все будет иначе: Леонтьев станет горячо доказывать, что наша жизнь много прекраснее, даже поэтичнее, чем наша литература[2]. Его знамя – «положительность», «теплое отношение» к жизни[3], «поэзия *действительности*» (8(1), 299). «Да здравствует жизнь!.. Жизнь как она есть...» – восклицает один из его героев (5, 79). Радикальное («отрицательное») направление представляется Леонтьеву теперь прежде всего «односторонним»[4], плоским. Только в одном он еще остается близок порицаемой им «натуральной школе»: его продолжает интересовать «физиология общества»[5].

Еще в студенческие годы Леонтьев «мечтал <...> найти в *физиогномике* или в какой-то *Физиологической психологии* исходную точку для великого обновления человечества, для лучшего и более сообразного с „натурой“ людей распределения занятий и труда» (6(1), 356)[6], «думал, что со временем» укажет «людям возможность „устроить общество“ на прочных *физиогномических* основаниях, справедливых, незыблемых и „приятных“» (6(1), 362). Что-то вроде такого справедливого и «приятного» общества (его остатки) он потом обнаружит на Крите, у греков, наших «братьев по истории» (3, 12)[7]. В этих упованиях Леонтьева на физиогномику современный исследователь справедливо усматривает «заметную наклонность к социальному утопизму»[8].

В дальнейшем литератора-«естественника» постигнет разочарование. Он придет к мысли, что науке не надо «поклоняться». Ее нужно знать, «для того чтобы стать выше ее, – стряхнуть с себя ее иго» и сделать науку оружием «против всех этих господ, которые хотят обратить мир в сеть железных дорог и убить в нем все горячее...» (8(2), 185).

[1] Из наброска «Критика. 1860» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 35).

[2] Это пафос опубликованной в либеральном «Голосе» статьи «Наше общество и наша изящная литература». Та же мысль и в письме-мемуаре об Ап. Григорьеве (1869), и в «Византизме и Славянстве»: жизнь и история России, по крайней мере со времен Петра, богаче, сложнее, поэтичнее современной истории Франции (ср.: 7(1), 310).

[3] Ср.: 6(1), 7–8. И он, вслед за Ап. Григорьевым, Писемским, Островским, начинает «ближе всматриваться» в «русскую жизнь» (6(1), 9).

[4] Ср.: 6(2), 271, 275.

[5] Голос. 1863. 15 марта. № 63. С. 249. Ср.: 6(2), 275.

[6] Он увлекался тогда френологией, наукой о связи между психологическими особенностями человека и наружной формой черепа, и пытался постичь «*психическое* значение <...> всей архитектуры человеческого тела» (6(1), 358).

[7] Крит, где Леонтьев прослужил в 1863–1864 гг. семь месяцев секретарем консульства, оставил в его памяти впечатление самое яркое, с которым соперничал потом разве что Эпир. Посмотрите: это или место действия («Очерки Крита», «Хризо», «Хамид и Маноли», «Сфакиот»), или в произведении есть отзвуки Критского восстания 1867 г. Например, в повести «Пембе» паша говорит протестующим: «Я докажу, что здесь не будет Крита!» (3, 143). Но есть и другой пример: в «критском» рассказе «Хамид и Маноли» есть сравнительная отсылка к янинской жизни и в конце – песня, принесенная из Эпира (3, 150, 170–171). Эпир – место действия в «Пембе» (Янина), «Паликаре Костаки» (маленький городок, подчиненный Янинскому вилайету), «Аспазии Ламприди» (эпирский городок Рапеза), родина рассказчика в «Капитане Илиа». Энциклопедия Эпира – роман «Одиссей Полихрониадес».

[8] *Хатунцев С.В.* Константин Леонтьев. С. 59.

Разминовение с «духом века» началось у Леонтьева из-за «стилистических» (воспользуемся литературной аллюзией советской эпохи) «разногласий»: «Утилитарные взгляды корифеев шестидесятых годов на искусство <…> оскорбили сильно в нем развитое художественное чувство. В ответ им изобрел он собственную теорию: эстетика есть основа человеческого бытия и непогрешимое мерило исторической правды. Теорию эту прилагал он к окружающим явлениям и руководствовался ею в сношениях с людьми»[1].

Новый идеал тогда «не был еще ясен» (6(1), 10), за исключением того, что главное – это своеобразие (ср.: 6(1), 8, 12), согласно позднейшему (1884 г.) определению – «идеал культурной и бытовой независимости» (6(1), 528)[2]. «Каково бы ни было направление, лишь бы окончательная форма его была *своя*, *наша* и дышала бы силой!» (6(1), 15). В духе Дж.Ст. Милля, которого Леонтьев в 1862 г. даже переводил, он проповедует «развитие индивидуальности» (и для людей, и для государств) и испытывает отвращение к «казенному», к «общеевропейской пошлости» (6(1), 17), а также к «умеренным прогрессистам», которые, как он будет говорить позднее, «хуже революционеров и нигилистов» (8(2), 186).

На новые воззрения Леонтьева влияет одновременно и патриотическая волна в период польского восстания[3], и, парадоксальным образом, чтение Герцена, который, как полагает современный исследователь, повернул Леонтьева «лицом к славянофильству» своими обличениями «западного мещанства»[4]. «Отклониться по возможности от того пути, который ведет к размножению этих средних людей и к господству их, сохранить (а если можно, – то и *создать*) наиболее разнообразные пути для развития человеческого; – вот о чем я мечтал *тогда* для России…» (8(2), 155).

Весной 1863 г. для одной из своих критических статей (к сожалению, утраченных) он выбирает вызывающий псевдоним «Обскурантов»: «Письмо Обскурантова к Е.В. Базарову[5] по поводу „Казаков“ гр. Толстого» (6(2), 266).

В набросках к главе «Жизнь в Турции» в задуманной книге о Леонтьеве о. Иосиф Фудель так отвечает на вопрос: «“С каким багажом поехал К. Л<еонтье>в… в Турцию?”:

1.) С запасом эстетических вкусов, твердо установившихся, или, вернее сказать, прирожденных. <…>

2.) С запасом идей политических и культурно-исторических»[6].

В этом «багаже» значительное место занимали культурно-исторические идеи славянофилов.

[1] *Карцов Ю.С.* Хроника распада. К.Н. Леонтьев и М.Н. Катков // Новый журнал. 1980. № 138. С. 113.

[2] У России, будет заявлять Леонтьев в 1880-х гг., должно быть «все или хоть очень многое *свое*, хотя бы и вовсе не демократическое, *но свое*…» (8(1), 39).

[3] Герой одного из его автобиографических романов говорит о себе: «Я читал „День“ и чувствовал, что становлюсь с каждым часом (да! с каждым часом) больше и больше русским» (5, 168).

[4] *Хатунцев С.В.* Константин Леонтьев. С. 97–98. С.В. Хатунцев также замечает: «…нельзя сказать, что Леонтьев *заимствовал* у Герцена выработанные им взгляды на западное мещанство. Скорее, благодаря его влиянию он осознал и сформулировал *свою собственную*, основанную на оригинальных эстетических установках, точку зрения на данное явление в целом» (Там же. С. 84).

[5] Самого Базарова Леонтьев в другой своей статье находил «лицом хотя и жестким, но в высшей степени трагическим, сильным и блестящим» (Голос. 1863. 15 марта. № 63. С. 249).

[6] РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1046. Л. 44.

«Славянофильский» период, первые иллюзии, их преодоление и «кристаллизация» собственных идей

«…Учеником славянофилов в настоящем значении слова Леонтьев не был, – справедливо полагает С.В. Хатунцев, – т.е. усвоил он не всю систему славянофильских взглядов, а лишь отдельные ее стороны, дав им к тому же свое собственное истолкование»[1]. Но при этом в его творчестве период, условно говоря, славянофильский выделяется отчетливо. Несмотря на собственные позднейшие заверения в плохом знакомстве (до последних лет) с трудами старших славянофилов, Леонтьев, вероятно, все-таки имел представление о них. Не случайно ведь в записке 1865 г. «О необходимости литературного влияния во Фракии» он перечисляет сочинения А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, А.Ф. Гильфердинга и журнал «Русская беседа»[2]. В политических вопросах Леонтьев был в 1860-х гг., как он писал позднее, «просто учеником Хомякова и единомышленником Данилевского» (8(2), 222).

Ко второй половине 1860-х гг. основной интерес Леонтьева – «постичь во всей ширине историческое призвание России» (6(1), 14). И помогает в этом даже географическая удаленность от объекта познания: «Вдали от отчизны я лучше вижу ее и выше ценю» (там же). Восточная жизнь, признается он, «вообще уясняет во многом поразительно взгляд и на Россию»[3].

Процитированные выше строки написаны в албанской Янине, но первым местом, где Леонтьев получил досуг для своих размышлений о призвании России, была Тульча, куда он приехал 1 августа 1867 г., получив назначение вице-консулом в этот городок на Нижнем Дунае.

В.И. Кельсиев, побывавший в Тульче незадолго до того в качестве «эмиссара Герцена», вспоминал: «Край глухой, хаты тонут в персиковых садах; бесчисленное множество мельниц с утра до вечера машет крыльями, сектантские напевы звучат; семь, восемь разных языков слышится на улице <…>. Все тихо, дико, никакие идеи сюда не забирались <…>. Кругом все пусто <…> волы со всех сторон мычат <…> камыш шумит, глухо…»[4].

Тульча, Галац, Измаил, – эти города напоминали Леонтьеву Россию. Порой здешние места и называли Дунайской Русью. Старую Русь принесли сюда и беспрепятственно сохранили бежавшие «к турчину» от новой, Петровской, России старообрядцы-некрасовцы[5]. Измаил, столько раз то взятый русскими войсками, то снова отданный туркам (последний раз до прибытия Леонтьева в Добруджу он был возвращен Турции по решению Парижского конгресса в 1856 г.), вообще напоминал то ли Калугу, то ли Юхнов. Даже «русские полосатые, казенные столбы» здесь еще не успели перекрасить (6(1), 455). «Я дома, дома…» (6(1), 457) – так Леонтьев позднее описывал ощущение, пришедшее к нему в первый же день, что он провел в этой Дунайской Руси.

«Служить добросовестно можно везде; но если на каком-нибудь посту чувствуешь себя *более дома*, чем на другом, то служба только выигрывает от этого», –

[1] *Хатунцев С.В.* Константин Леонтьев. С. 117. «Самой *существенной*» стороной славянофильской мысли Леонтьев считал мысль «о русском культурном *обособлении от современного Запада*» (8(2), 227).

[2] Руссия и българското национално-освободително движение 1856–1876. София, 1990. Т. 2. С. 214–215.

[3] Письмо к Н.Н. Страхову от 26 октября 1869 г.; цит. по: 7(2), 553.

[4] *Кельсиев В.И.* Пережитое и передуманное. СПб., 1868. С. 331–332.

[5] Еще в начале XX в. турки продолжали называть их «игнат-казак», по имени донского атамана Игната Некрасы, одного из предводителей Булавинского восстания 1707–1708 гг., который увел верных ему казаков сначала на Кубань, а затем, уже в 1740 г., переселился с ними в Добруджу.

писал Леонтьев из Тульчи своему непосредственному начальнику, послу России в Константинополе гр. Н.П. Игнатьеву[1]. На новом месте дипломатические таланты Леонтьева, уже в адрианопольский период замеченные и в посольстве, и в Петербурге, продолжали раскрываться все ярче, чувствовал он себя хорошо, все удавалось, и ему казалось, что лучше места для него и быть не может. 23 августа 1867 г. Леонтьев признается в письме к своему другу К.А. Губастову: «…я желаю одно – свить навек мое гнездо в Тульче. <…> Здесь есть и движение, и покой, и восток, и запад, и север, и юг; встречи беспрестанны на Дунайских пароходах; можно устроиться помещиком, как в деревне; здесь и Россия, и Молдавия, и Турция, и Австрия, и простор деревенский, и вместе с тем как бы в центре Европы. Прелесть!»[2].

Пребывание в Тульче оказалось недолгим, но многое перевернуло в «литературной судьбе» Леонтьева. Именно во время службы на Нижнем Дунае в нем пробуждается не только художественный и политический (по долгу службы), но и аналитический интерес к греко-славянскому миру. Он понял, что Тульча только поверхностному взгляду вечно спешащего европейца может показаться глухим и сонным местом. И этот город, и вся Добруджа (область, к которой принадлежит Тульча) – уникальный перекресток, где встретились и волей-неволей соседствуют славянские, романские, тюркские, эллинские племена и религиозные общины со своими яркими национально-культурными особенностями. Здесь, писал Леонтьев в первой статье из цикла «С Дуная» (1867), можно понять, «многое, чего не понять <…> ни дома, ни в Европе» и увидеть «образцы всего, чем живет наш век». Здесь можно прочесть «отрывки из таких страниц, которые редко сшиваются вместе…» (7(1), 49). Более подробно об этом говорится в позднейшем мемуарном очерке «Мой приезд в Тульчу» (1883):

«В то время <…> и в самом главном городе, и во всей Добрудже <…> население было очень разнообразно: турки, татары крымские, черкесы, молдаваны, болгары, греки, немцы-колонисты, русские нескольких родов: великоруссы-староверы (некрасовцы или липоване), великоруссы-православные, молоканы (также всё великоруссы; их зовут там иногда немоляками), малороссы (их называют на Дунае обыкновенно русскими, а великоруссов чаще обозначают именем той секты, к которой они принадлежат).

Я и тогда еще, размышляя об этом живом этнографическом музее, который меня окружал, часто говорил себе вот что:

– Вот куда бы приехать русскому ученому, серьезному, беспристрастному, чуждому всякого духа партий, умному, с широким воображением и с привычкою к неизбежному мелкому труду, и без всякой либеральной тенденции изучить образ жизни этих вероисповедных, национальных и племенных образчиков или обломков, приютившихся здесь, близ устьев великой реки, под одним и тем же небом, в одном и том же климате, на одной и той же почве (почти одной и той же), под одною и тою же турецкою властью.

Да! под одною и тою же властью – вот что особенно важно в наши дни разрушительных и сентиментальных тенденций. <…>

Не любопытен ли был бы такой этюд, научный и живописный в одно и то же время, глубокий по задаче и полезный по неизвестным еще выводам?» (6(1), 453–454)[3].

[1] Цит. по: 6(2), 483.

[2] Памяти Константина Николаевича Леонтьева. † 1891. Литературный сборник. СПб., 1911. С. 193.

[3] Сравните в статье «Грамотность и народность»: «В этой турецкой провинции живут под одним и тем же управлением, на одной и той же почве, под одним и тем же небом: турки, татары, черкесы, молдаване, болгары, греки, цыгане, евреи, немецкие колонисты и *русские нескольких родов* <…>. Если прибавить сюда и берега Молдавии, которые так близки <…> то этнографическая картина станет еще богаче…» (7(1), 90–91).

Именно здесь у Леонтьева возникает намерение серьезно изучить, сопоставить национально-социальную психологию всех многочисленных обитающих в Добрудже народов. Этот замысел лишь отчасти воплощен в начатой здесь в 1868 г. статье «Грамотность и народность»[1] и в тексте, который претерпел сложную творческую историю, – составлял некогда часть первого варианта «Византизма и Славянства», выделился в статью «Национальный психический характер русских, греков и юго-славян», а в 1877 г. был дополнен, переработан и теперь известен как статья «Русские, греки и юго-славяне. Опыт национальной психологии»[2].

На Востоке, в этом «живом этнографическом музее», Леонтьев (начиная еще с первых дней на Крите) изучал все, «и хорошие, и дурные плоды» (3, 185–186), не исключая даже манеры «принимать и угощать гостей» (7(1), 455), и каждая черточка пригодилась потом в анализе «национальной психологии». Попутно он по-новому видел и свою родину, слыша от греков и славян, что в России есть церковное благочестие: «…там монастыри многолюдны, и не могу изобразить вам отраду для православного человека, когда видит он этот неизмеримый край, который Бог сохранил для нашего спасения…» (3, 274; ср.: 3, 332).

Итак, в греко-славянских землях Турции Леонтьев предается славянофильским мечтам. Залогом высокого положения России в мире он считает ее своеобразие, «пышность» ее «составных частей» (6(1), 22)[3]. Он верит, что славяно-русская культура «одна только в силах обновить историю» (7(1), 93)[4], что Россия, выработав своеобразную культуру, «со временем может обновить несомненно стареющий мир» (7(1), 118). В журнальном варианте статьи «Грамотность и народность» от лица чехов говорится: «Русские обязаны не только для себя, но и для всех нас сохранить свою физиономию и даже стараться создать новое русское или славянское из данных им свыше начал» (7(2), 340). С Европой, полагает он, нужно жить в мире, но в «„культурном“ отчуждении» (6(1), 515).

Леонтьев думает тогда, что России всё идет на пользу, в том числе и реформы. «Бесцветная и безвкусная, но видимо полезная (за неимением другого) вода всеобщего просвещения только подняла и укрепила русские всходы, поливая наши, нам самим незнакомые поля» (7(1), 99)[5].

«Наше главное призвание, – декларирует он, – противопоставить бесцветной буржуазной прозе Запада – поэзию новой, русской жизни, разнообразной и богатой» (7(1), 59)[6]. Совершенно в духе славянофилов и почвенников Леонтьев ждал тогда «славянского творчества» (Там же). И думал он не только

[1] Задумана же она могла быть и еще двумя годами раньше: наиболее ранние цитируемые в статье источники, как удалось установить, – это корреспонденции «Голоса» 1866 г.

[2] Впервые опубликована в «Русском вестнике» (1878. Т. 133, № 2. С. 747–788). Статья эта, как часто случалось в жизни Леонтьева, долго странствовала по редакциям: была отвергнута после многих проволочек и М.Н. Катковым (позднее все-таки принята им), и князем В.П. Мещерским, и Д.И. Иловайским. В 1878 г. – во время войны – она стала более понятной русскому читателю, чем могла бы быть еще несколько лет назад.

[3] Ср.: 7(2), 339.

[4] В черновом варианте письма к гр. Игнатьеву (май 1868 г.) Леонтьев рассказывал о своих планах, статье на французском языке, то есть адресованной европейцам: «…письмо к *Дж. Ст. Миллю* под заглавием „Что такое *Россия и Славянский мир* и почему Россия может дать миру то, чего уже Запад не <может> дать“» (ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 4 об.).

[5] См. также: 7(2), 563.

[6] Главное слово здесь – *«поэзия»*. (Тут вспоминается реплика о. Климента (Зедергольма): «…ваша любовь к поэзии <…> вредит вам…» (6(1), 336).) Действительно, поэзию Леонтьев видит повсюду, даже «и в морали евангельской, и в богослужении православном, и в учении аскетическом» (8(1), 431).

об освобождении славян и о государственно-политическом обособлении: «Государственное обособление наций драгоценно для всякого, кто желает для человечества *истории*, т.е. *развития*, соединенного с известной долей благоденствия, и не одного тупого благоденствия» (7(1), 79). «Своеобразие» он уже тогда понимал как обособление *культурное*[1]. «…Нечто совсем особое, наприм<ер>, создание и развитие *своей культуры* на всех, по возможности, поприщах независимой от европейской, на нее непохожей…» (8(1), 238).

Хотя Леонтьев замечал и свою отъединенность, непохожесть ни на «московских славянофилов», ни на петербургских «почвенников»[2], он тем не менее видел в себе их соработника и призывал к сплоченности: «…цель же наша общая <…> так высока и план так обширен, что всякий помощник должен быть дорог. – По-моему, мы не должны даже стоять очень строго за оттенки; – мы служим не какой-нибудь презренной практической партии à l'anglaise[3], мы Предтечи Великого Славянского будущего; мы слуги учения столь широкого, что оно неизбежно должно распасться на ветви; но ветви этого учения должны обнять всю Россию и потом всех славян»[4].

Сам тон процитированного письма свидетельствует о том, что этот период для Леонтьева – время бодрости и успехов. Но в это же самое время у него появляются и первые сомнения в осуществимости радужных надежд. Он прекрасно видел, что «даже и *теоретически* наше общество еще не доросло до настоящего русизма, не говоря уже о практических его приемах» (7(1), 120), и в очерке об Ап. Григорьеве у него вырвалось восклицание: «Россия, дорогая Россия, неужели ты не дашь пышную эпоху миру<…>? Неужели ты перейдешь прямо из безмолвия в шумное и безличное царство масс?» (6(1), 15)[5].

Тогда же, в 1869 г., он впервые формулирует свои расхождения со славянофилами и почвенниками, например в вопросах этики. Посылая в «Зарю» статьи о Григорьеве и «О женщинах» (последняя утрачена), он объясняет Страхову: «Об Аполлоне я выбрал форму письма, чтобы более отклонить от *Вашей осторожности* ответственность за *иные дерзости*»[6]. Славянофилы представляются ему благодушными мечтателями. Ему кажется, что славянофилы даже не приукрашивали народ, не создавали его «идеализированный портрет», а просто «рисовали себе свой собственный идеал русского человека»[7].

Леонтьев считал, что славянофилами («и отчасти Герценом») идеал культурного своеобразия был очерчен лишь «слегка и туманно», а «научно-точное выражение» нашел «в монументальной книге Данилевского» (8(1), 238). Знакомство с книгой «Россия и Европа» (1869) знаменует важный поворот в творческой биографии Леонтьева.

[1] «Я Славянофил *культурный*, а не *племенной* – вот и все…» – писал он в 1888 г. (8(2), 225). «…Сердцевину леонтьевской историософской системы составляет принцип культурности как основы национального развития» (*Жуков К.А.* Восточный вопрос в историософской концепции К.Н. Леонтьева. СПб., 2006. С. 95).

[2] Это можно было бы продемонстрировать хотя бы на примере своеобразного отношения Леонтьева к войне.

[3] На английский манер (*фр.*).

[4] Письмо Страхову от 26 октября 1869 г.; цит. по: 7(2), 554–555. Это письмо Страхов читал «весьма внимательно, перечитывал Кашпиреву (издателю «Зари». – *О.Ф.*), Данилевскому <…> и другим» (цит. по: 7(2), 558).

[5] Так будет и дальше. Леонтьев то верит в «свежесть русского ума» (7(2), 21), то заявляет: «Национальные свойства великорусского племени в последнее время стали если не окончательно дурны, то по крайней мере сомнительны» (8(1), 32); то предчувствует «ужасный исход», то у него «оживляются надежды» (7(2), 159).

[6] Цит. по: 6(2), 261–262.

[7] Письмо к Страхову от 12 марта 1870 г.; цит. по: 6(2), 267.

Исследователи, писавшие на тему «Леонтьев и Данилевский»[1], видят ее по-разному: наиболее поверхностный подход – характеристика Леонтьева как ученика Данилевского, более внимательный взгляд предполагает как минимум уточнение: «независимый ученик», развивший идеи Данилевского[2]. Большинство современных ученых придерживается концепции «параллельного развития» двух мыслителей[3]. Ближе всех к истине, по-видимому, Р.А. Гоголев, взглянувший на проблему так: Леонтьев «использовал лишь понятийный аппарат „России и Европы“, пытаясь, в сущности, выразить собственные взгляды»[4].

Теорию «культурных типов» Данилевского Леонтьев считает «истинным открытием» (8(1), 84), великим шагом «на пути русской науки и русского самосознания» (7(1), 269). «Главная заслуга Данилевского <…> это еще то, что он первым в печати смело поставил своеобразие культуры *как цель*. – Московские Славянофилы все как-то не договаривались до этого; они вместо того чтобы сказать, что без своей культуры и жить России не стоит; говорили, что на Западе все ложь, или что у нас то или другое не привьется, не удобно и т.п. натяжки.

Раз поставив это учение на основании: культура для культуры, Славянофилы будут впредь тверже на ногах и на вопрос: „а общечеловеческое благоденствие?“ могут ответить спокойно: „Да кто вам сказал, что мы об нем забыли!“»[5].

Со временем Леонтьев вносил некоторые поправки в теорию Данилевского. Например, у последнего культурно-исторические типы автономны. О славянском типе просто говорится, что он полнее романо-германского. Леонтьев идет дальше: в статье «Письма о Восточных делах» высказывает свою заветную мечту о *замене* романо-германской цивилизации славяно-восточной (8(1), 77)[6]. Конечно, речь идет не о существующей русской или славянской цивилизации (в том виде, какая устроила бы Леонтьева, ее просто нет и не было), но о *новой*. Дальше в той же статье эта цивилизация названа «Славяно-Азиятской» (8(1), 83).

Став настольной для Леонтьева, книга «Россия и Европа» не воспринималась им как незыблемая догма: «Данилевский дает нам твердый фундамент в Православии, в Царстве, в общине поземельной. Он не запрещает нам строиться выше, *по-нашему*, на этом основании. Он окрыляет нас надеждами на твердом народном якоре. <…>…он не стесняет ничем дальнейшего полета русской мысли. Напротив того, он рассчитывает на этот полет; он его подразумевает…» (8(1), 357). Данилевский дал «умственный фундамент», «общий очерк плана» (8(1), 359) для дальнейшей работы, и эта работа была начата Леонтьевым

[1] Основная литература вопроса указана в примеч. 61 в главе 1 второй части (с. 152–153).

[2] *Ефремов А.В.* Борьба за историю: Концепция Н.Я. Данилевского в оценке современников. М., 2006. С. 79. Раскрывая, в чем же заключалось это дальнейшее развитие, тот же историк пишет: «К биологизму Данилевского» леонтьевская концепция «добавляла специфически-леонтьевский культурологический эстетизм» (Там же). Он же правильно подметил, что Леонтьев, пожалуй, был единственным, кто считал панславизм Данилевского недостатком, а превыше всего ценил «культурную» составляющую книги (Там же. С. 81–82).

[3] И действительно, статья «О грамотности», переименованная Страховым в «Грамотность и народность. Беглые заметки», была написана *до* чтения Данилевского и только дополнялась при чтении первых глав его книги.

[4] *Гоголев Р.А.* «Ангельский доктор» русской истории. М., 2007. С. 64.

[5] *Леонтьев К.Н.* Избранные письма / Публ., предисл. и примеч. Д.В. Соловьева; вступ. ст. С.Н. Носова. СПб., 1993. С. 73 (письмо к Страхову от 12 марта 1870 г.; уточнено по автографу).

[6] Ср.: 7(1), 268–269. В 1880 г. именно в изложении идей Данилевского говорится: «долженствующей поглотить и претворить в себе европеизм» (7(2), 204).

в 1871 г. Но прежде чем говорить о его теоретических трудах, нельзя миновать хотя бы краткого напоминания о центральном периоде в жизни Леонтьева.

Афонские уроки

«Центр жизни К. Леонтьева, – писал о. Иосиф Фудель, – конечно, его бегство на Афон»[1], последовавшее во исполнение данного во время смертельной болезни обета и завершившее «процесс внутреннего переживания предыдущего периода»[2]. Леонтьев впервые приехал на Афон 25 июля 1871 г. и пробыл там до середины августа (см.: 6(2), 108–109). Затем он жил на Афоне с начала сентября 1871 г. (6(2), 110) до 15 сентября 1872 г., отлучаясь лишь на небольшие конные путешествия по Македонии и на поездку в Солунь для передачи управления консульством Н.Ф. Якубовскому, консулу в Битолии, в январе 1872 г. Важно отметить, что он уже в августе 1871 г. приехал с Афона не один, но, как бывало в обычае монахов, со спутником. Его сопровождал монах Григорий (6(2), 109), регент Пантелеймоновского монастыря.

На Афоне Леонтьевым была испытана жесточайшая духовная борьба[3], продолжали преследовать его и телесные недуги (он «мучался <…> то тем, то другим», – 6(1), 230). Но все было преодолено и завершилось обновлением и возрождением. Биограф писателя говорит: «*Афонский* период жизни К. Леонтьева не есть ли самый последовательный период, несмотря на то, что он в это время только *учился* и перевоспитывал себя»[4]. Сам же Леонтьев писал о пройденной им монастырской «школе» коротко:

«Я многому научился и многое забыл. – Я понял вещи, которые прежде мне были странны и чужды <…>.

Я многое видел и многое прочел» (7(1), 132).

«Я многому здесь научился и многое узнал…» (7(1), 134).

Что же он здесь приобрел после многих бесед с отцами Иеронимом и Макарием, долгих богослужений, чтения Святых Отцов, житий, богословских и церковно-исторических трудов? «Ясное и отчетливо сознанное Православие» (VIII, 143)[5], при этом – «сердечное», «личное»[6]; «истинный дух Церкви» (6(1), 232), христианство «*настоящее*» (7(1), 406), которое является «в одно и то же время и отрадным и страшным учением» (7(1), 406). Это религия «*дисциплины*» и «*разочарования*», «безнадежности на что бы то ни было земное» (7(1), 173), «культура Византийской дисциплины и земного аскетизма» (7(1), 174), «великое учение, *для личной жизни сердца столь идеальное <…> для сдерживания людских масс железной рукавицей столь практическое и верное*» (7(2), 22).

На Святой Горе Леонтьев не только каялся, исправлялся и учился. Здесь было и отдохновение от «суеты и грома» (7(1), 133), и пища для столь развитого у него «чувства прекрасного»[7]. Целительно действовала и природа Афона. Как

[1] РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1046. Л. 59.

[2] Там же. Л. 20.

[3] Ср. в письме к Александрову от 24–27 июля 1887 г.: *Александров*. С. 9.

[4] РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1046. Л. 63.

[5] Сознанное в цельности: «Православие состоит из догматов, нравственного закона, обрядов и канонов. Все четыре элемента одинаково необходимы» (7(1), 283).

[6] Ср.: «…великую святыню *личного, сердечного* Православия» (7(1), 205); «…в духе личного Православия» (7(1), 236); «…Православия сердечного, личного, мистического…» (7(1), 482). Основная черта его – жизнь в Церкви под постоянным духовным руководством старца.

[7] Ср.: «…Всякому человеку, не лишенному чувства прекрасного, русская служба на Святой Горе не может не нравиться, так она стройна, внимательна, строга; так она искренна; облачения и вся утварь так красивы, так чисты, в иные празднества так роскошны; пение так просто и так хорошо…» (6(1), 509).

глубоко неправ Б.К. Зайцев, искренне полагавший, что Леонтьев не заметил ее поэзии и что вообще его «впечатления об Афоне схематичны и односторонни»![1] Такое заявление свидетельствует скорее об «односторонности» его автора. Оно означает, что мимо замечательного прозаика прошел и очерк «Пасха на Афонской горе» с его короткими описаниями святогорской весны, которые – при знакомстве – должны были бы показаться Зайцеву такими близкими[2], и следующие строки книги «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни»: «Можно себе представить <…> как подействовал на Зедергольма Афон. Его удивительная природная красота, его нагие, страшные скалы, его густые леса, его ручьи, на берегах которых растут такой исполинской ширины платаны… Обширные и древние обители, похожие больше на феодальные замки…» (6(1), 263)[3].

На Афоне Леонтьев находит живое воплощение идеалов «своеобразия» и «разнообразия» (как он добавил бы потом: «в мистическом единстве»). Ему особенно нравится, что здесь «образ жизни, уставы, степени отречения, подчинения и свободы <…> очень различны» (7(1), 138). «Афон именно тем и хорош, что в нем оттенки монашества бесчисленны» (7(1), 214). Изучение всех этих оттенков становится хорошей школой для него как социолога и психолога. «Образов жизни», в согласии со Святогорцем, автором «Писем <…> о Святой Горе Афонской», он называет восемь – от киновий (общежительных монастырей) до пещер (7(1), 139)[4]. На это накладывается еще и национальный отпечаток: «Жизнь греков и болгар в малых келиях и каливах (хижинах) отличается несколько от жизни русских в подобных же жилищах» (7(1), 255). Отличное знание афонских порядков пригодилось и обнаружилось в статье «Панславизм на Афоне», где Святая Гора описывается как государство в государстве («*привилегированная провинция Турецкой Империи*», – 7(1), 210).

Леонтьев жил в киновии (Пантелеймоновском монастыре), в «обители многолюдной, но стройной, дисциплинированной разумно и добросовестно»

[1] «Кажется, слишком отзывают они (эти впечатления. – *О.Ф.*) предвзятостью, „идеями“, да может быть и обликом о. Иеронима. Но рядом с посохом св. Афанасия цветут на Афоне розы и лилии, весной же тянет в море благоуханием полуострова. Леонтьев не любил этого или старался умышленно отринуть» (*Зайцев Б.К.* Афины и Афон: Очерки, письма, афонский дневник / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. А.М. Любомудрова. СПб., 2011. С. 143).

[2] «В это время на Святой Горе уже давно весна; наверху, на гребне горы, в лесах уже давно стаял снег, и те кусты и деревья, которые и на юге зимой теряют листья, начинают одеваться и зеленеть» (6(1), 377). «За монастырем, почти вплоть у окон задних корпусов, большая гора, сплошь покрытая <…> кустарником низким и частым, который летом наводит уныние однообразием и неподвижностью своей темной зелени <…>.
Но именно Великим постом и перед Пасхой эта гора мало-помалу начинает *пестреть* и становиться веселой и прекрасной, как богатый, расписной ковер. Сплошной и низменный кустарник ее на короткое время весь убирается цветами белыми, розовыми, желтыми. Между этими красивыми, яркими пятнами видны другие оттенки. <…> В этих пестрых кустах весело бродят монастырские мулы, мирно бряцая колокольчиками. Воздух еще не слишком жарок и как-то особенно душист. Птицы в лесу поют громко по утрам. Сама природа точно готовится пышно и весело встретить „праздник из праздников и торжество из торжеств“!» (6(1), 378). Три раза о веселье – в небольшом отрывке, и легко рассеиваются все мифы о «черном христианстве» Леонтьева.

[3] Легко найти похожие фрагменты и на оптинских страницах книги. Ср. об оптинском ските: «…эти ели темные, эти дорожки скита, цветы, разведенные самим великим старцем Макарием…» (6(1), 348).

[4] Ср. в статье «Панславизм на Афоне»: «Афон, в том виде, каким он теперь, именно тем и хорош, что в нем на небольшом пространстве сосредоточено множество различных форм и оттенков монашеской жизни. От жизни отшельника в неприступной пещере до жизни проэстоса, обитающего в десяти комнатах с шестью послушниками, – множество оттенков» (7(1), 255).

(7(1), 149). О киновиях он писал в «Афонских письмах» (7(1), 139–140), в статье «Панславизм на Афоне» (211–214, 255), об их аскетическом значении – в книге об о. Клименте (Зедергольме) (6(1), 326). Такой тип монастырской общины был ему наиболее интересен и как мыслителю-социологу.

«Киновии могут служить прекрасным предметом изучения для самих коммунистов. – Изучая Киновии, можно допустить, что коммунизм <…> как *частное проявление* общественной жизни, возможен, но лишь под условием величайшей дисциплины и даже, если хочешь, страха. <…>…это несокрушимая *идеальная* узда веры, любви и почтения» (7(1), 140). Киновиаты – «коммунисты для отречения, для *аскетизма*…» (7(1), 151). «В киновии унынию мало места. – Взаимные примеры, обоюдное возбуждение; – довольные, спокойные лица; – каждый знает свое дело, у всякого свое разумно выбранное назначение. – Самый вещественный из трудов облагорожен своим духовным смыслом» (7(1), 156).

Как первую ступень на переходе от мирской жизни к иноческой он ценил и менее строгие «своеобычные» монастыри, «идиоритмы»[1]. В России в XVIII–XIX вв. такие обители назывались «штатными». Если бы все было устроено одинаково, полагал Леонтьев, Афон бы запустел. При сохранении же разных форм и уставов святогорцы «развивают успешно обе главные основы христианского учения – *аскетизм и милосердие*» (7(1), 256). К концу XX в. все афонские монастыри стали киновиями[2]. То же произошло и в России. Скиты, например, к нашему времени сохранили лишь свое название, а на деле превратились в большинстве своем в сельскохозяйственные монастырские подворья (то, что у греков называется метохами).

Свои наблюдения над устройством Афона Леонтьев считал важным сообщить и высшим дипломатическим кругам. Еще в 1871 г. он начал «Записку об Афонской горе и об отношениях ее к России». К 20 января 1872 г. она «почти готова»[3], к 22 марта все еще не перебелена и не окончена[4]. Итоговый вариант (с обещанным продолжением, которого так и не появилось) датирован апрелем 1872 г., хотя послан он в Царьград и в Петербург 26 марта[5]. В дальнейшем «афонские порядки» станут предметом рассмотрения в записках Леонтьева, адресованных ученикам.

Теоретические труды Леонтьева

«Афон и от политических вопросов не отдаляет вполне человека, если он *хочет* сам за ними следить…» (7(1), 133). В сентябре 1871 г. на Афоне Леонтьев получил известие о Константинопольском Поместном Соборе, объявившем об отпадении Болгарской Церкви в схизму. С.Н. Дурылин писал: «…частный вопрос текущей политики заставил Леонтьева задуматься над основами исторического процесса, поскольку он выявляется в судьбах греко-славянского мира во главе с Россией, а затем и во всем просторе всемирной истории»[6]. Мне кажется, здесь нужна некоторая поправка: Леонтьеву наверняка сразу было ясно, что это далеко не «частный» вопрос (хотя он и сам его так позднее называл[7],

[1] См.: 7(1), 211–213.

[2] См. об этом: *Fenell N*. The Russians on Athos. Bern, 2001.

[3] АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Ед. хр. 2270. Л. 13 об. (письмо Леонтьева к Н.П. Игнатьеву из Салоник).

[4] См. письмо Леонтьева к бар. Ф.Р. Остен-Сакену от 22 марта 1872 г., с неточностями опубликованное Т.А. Лаптевой: Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XIX вв. М., 1999. Т. IX. С. 212.

[5] См.: АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Ед. хр. 2270. Л. 53–53 об.; Ед. хр. 3209. Л. 15 об.

[6] Литературное наследство. Т. 22/24. С. 472.

[7] См.: 8(2), 157.

но немного в другом значении и в другом контексте, «частный» он – только по сравнению со всеобщими судьбами мира). «Никогда Греко-Российская Православная Церковь не была потрясена так опасно и глубоко на основаниях своих, как в эти годы лукавых и дерзких болгарских претензий, греческого гнева, турецких интриг и русского... как бы это сказать?.. положим, либерального простосердечия» (6(1), 511). Эта распря на Леонтьева, «как на православного и русского человека, наводила духовный и гражданский страх за наше будущее» (8(1), 219). Страх за будущее подвиг его спешно писать свою книгу. «Без ученой подготовки, без достаточных книжных источников под рукой, – подчиняясь только внезапно охватившему мою душу огню – я написал эту вещь „Византизм и Славянство“» (8(2), 157).

На протяжении всей дальнейшей жизни Леонтьев-публицист постоянно возвращался к Греко-болгарскому вопросу, этому краеугольному камню понимания не только Восточного вопроса, но и всего, что связано с национально-государственными, национально-церковными проблемами. В 1872 г. самому Леонтьеву пришлось выбирать между национальным («племенными сочувствиями», «единением славянской любви»), государственным («Россия – глава славянского мира») и церковным (единство Церкви, основанное на верности ее канонам), и он раз и навсегда выбрал третье. В 1879 г. Леонтьев вспоминал о своем приезде в Константинополь и об этой ситуации выбора: «Я приехал туда в 72 году, сознаюсь и *каюсь*, защитником болгар[1], хотя и грекам во многом сочувствовал; но не прожил я и года в самом центре борьбы, как уже мысли мои изменились...

С тех пор они все те же... <...>

Только тогда <...> я сказал себе: никогда еще в истории России и Славянства принцип племенного Славизма не вступал в борьбу с православными уставами и преданиями, и в первый раз эту борьбу мы видим в греко-болгарской распре.

Истинно-национальная политика должна <...> поддерживать не *голое*, так сказать, *племя*, а те духовные начала, *которые связаны с историей племени, с его силой и славой*. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти...» (7(1), 547).

В конце жизни Леонтьев подчеркнул знаменательность для его судьбы временно́го совпадения двух событий: обретения им глубокой «*личной веры*» и трагической кульминации Греко-болгарского церковного вопроса: «*Как раз в это же самое время* произошло отложение болгар от Вселенской Цареградской Церкви, и я с ужасом понял тогда и глубокий индифферентизм болгар, и полупростодушие, полумерзость[2] наших русских надежд и затей; и удивительную твердость и смелость греческого духовенства» (8(2), 156).

Убедившись в том, что цели болгар «вовсе не церковные и не богомольные» (6(1), 772), Леонтьев «начал колебаться» в своей «слепой и пламенной вере в Славянство», а заодно «стал сильно разочаровываться и в наших внутренних

[1] Леонтьев действительно сначала скорее симпатизировал болгарам и, хотя и не обольщался на их счет, не идеализировал их (ср.: 7(1), 186), считал, что они «*несравненно правее*» греков (7(1), 177). Потом он занимал умеренную позицию, близкую к той, что исповедовал Георгий Полихрониадес, отец главного героя в романе «Одиссей Полихрониадес». Этот «умеренный и справедливый» грек полагал совершенно законными требования болгар разрешить им «петь и читать в церквах» на родном языке, но отделения от Вселенской Патриархии «не допускал ни под каким видом» (4, 36).

[2] В черновике было сказано еще резче: «полу-свинство» (8(2), 587). «...Я возмущался тем, что мощные представители Императорской России, Графы и Князья наши (подразумеваются А.М. Горчаков и Н.П. Игнатьев. – *О.Ф.*) тянутся боязливо — по следам каких-то славянских холуёв-демагогов» (8(2), 158).

русских либеральных преуспеяниях» (8(2), 223). Его раздумья продолжались и по возвращении в Россию. «…Греки[1] *правы канонически, но, пожалуй, не совсем чисты нравственно* в этом вопросе <…> – писал он. – Болгары же <…> *не правы и канонически, и нравственно*» (8(1), 66)[2]. В 1882 г. ему даже показалось, что эта распря «уже не опасна» (8(2), 328), но потом соответствующий фрагмент был вычеркнут из статьи «Письма о Восточных делах». А еще позже публицист стал самого себя поправлять и дополнять[3]. Например, к процитированному выше месту о правоте болгар в 1884 г. он сделал примечание: «Я скоро убедился в этой ошибке моей. Она была очень грубая» (7(1), 77)[4].

Греко-болгарская распря дает внешний толчок к разработке Леонтьевым идеи церковного единства и – в дальнейшем – государственно-культурного «босфорского средоточия»[5] вокруг Великого Престола. Находясь на покоренной турками территории Византии, Леонтьев рассуждает о пропущенном Данилевским «византийском» культурно-историческом типе, понимаемом, говоря просто, как православное самодержавие[6].

В своей книге Леонтьев впервые переводит «трактовку Восточного вопроса из плоскости борьбы европейских держав за **османское наследство** в рамки нравственных и законных прав России на единоличное обладание **наследством византийским**, связав это с естественным ходом развития русского культурно-исторического типа»[7].

Возможно, одним из источников, наведших Леонтьева на труд о византизме, была статья Н.П. Аксакова «Вопрос о свободе совести» в журнале «Беседа». Ее вторая часть («Германизм») завершалась обещанием в следующей статье подробно говорить о византизме как об одной из сил, управляющих церковно-исторической жизнью России[8]. Однако обещанного продолжения не появилось. Леонтьев, таким образом, подхватил слово на лету.

Книга Леонтьева сложилась из нескольких частей. Те, что посвящены собственно византизму и современным церковно-национальным проблемам, появились позже, чем нынешняя вторая (теоретическая) часть. Таким образом, когда Леонтьев (а вслед за ним Дурылин) говорит о церковной распре как о первопричине появления книги, это относится лишь к одной ее части. Сначала же, в конце января – начале февраля 1872 г., в Зографском монастыре[9] были

[1] Они теперь особенно интересуют Леонтьева как «носители церковной идеи на Востоке» (6(1), 512), впрочем, объясняет он, важны не сами греки, а хранимые ими «Восточные Церкви» (там же).

[2] В этой формулировке Леонтьев поправляет И.С. Аксакова, считавшего болгар правыми именно нравственно.

[3] См.: «Письма отшельника» (7(1), 547), «Дополнение к двум статьям о Панславизме» (7(1), 268–271).

[4] См. также: 7(1), 234. Ср. также вставку 1885 г. во фрагменте о болгарских церковных делах, о неприемлемости «*самоволия* в делах Церкви»: «*самое учение подобной духовной инсуррекции можно назвать расколом,* ***если не ересью***» (8(1), 59; 8(2), 321).

[5] Ср.: 6(1), 513.

[6] «Византизм в понимании Леонтьева – это не столько особая культура, склад чувств, мыслей и всей жизни, которую Россия унаследовала от Византии (как понимал это Н.Н. Страхов), сколько глубокая иерархичность всего жизненного уклада Византии <…> которая была воспринята Русью <…> что выразилось <…>в создании глубокой, сложной, разветвленной и разнообразной культуры» (*Адрианов Б.* Место и значение К.Н. Леонтьева в русской философии // К. Леонтьев, наш современник. СПб., 1993. С. 8).

[7] *Жуков К.А.* Восточный вопрос в историософской концепции К.Н. Леонтьева. С. 91.

[8] Беседа. 1871. № 9. С. 193.

[9] См.: 6(1), 129–130; 7(2), 663 (уточнение даты).

написаны теоретические главы («Прогресс и развитие»)[1]. Они были начаты как отдельные очерки, обдумывал их Леонтьев буквально по дороге. Здесь Леонтьев противопоставил «прогрессу» «развитие»[2], выдвинул гипотезу «триединого процесса развития» и, в частности, вторичного смесительного упрощения, предложил «почти математическое средство для определения возраста и близости падения Государств» (6(2), 10) и дал определение формы как «*деспотизма внутренней идеи, не дающей материи разбегаться*» (7(1), 383).

Леонтьев думал, что скоро умрет («ехал <…> умирать на Афон»), и спешил перенести на бумагу свое открытие. Но, может быть, в этом рассказе есть элемент «домашней» мифологизации? Нет, все, по-видимому, так и было. Открытие пришло к Леонтьеву перед вторым отъездом на Афон. Об этом свидетельствует сохранившаяся обложка с заглавием «Прогресс и Наука» с датой «1871» и указанием места – «Салоники». Название перекликается с будущим «Прогресс и развитие».

Итак, сначала была записана теория «прогресса и развития», потом появились главы о византизме и «славизме» и «болгарские главы». Даже в конце октября 1874 г. все это мыслилось еще как *две* книги: «Прогресс и развитие» и «Византизм и Славянство» (последнюю – вместе со статьей «Еще о греко-болгарской распре» – Леонтьев хотел сначала издать отдельно с посвящением гр. Игнатьеву). Потом он все поменял местами, «болгарскую статью» отделил (хотя в книге остались главки на эту же тему). Планировалось еще (весной 1875 г.) «*небольшое прибавление*» «в виде <…> подробного примера»: «приложение *моей триединой гипотезы* к Истории *еврейского народа*»[3]. Но работа была приостановлена, и на книге ощутима некая печать незавершенности, что не мешает этому труду оставаться центром всего, что сделано Леонтьевым.

Леонтьев неоднократно говорил, что, когда он писал «Византизм…», у него не было под рукой нужных источников и вообще «столькое <…> написано на память и даже чуть не наобум»[4]. Вопрос об источниках, использованных Леонтьевым в этой книге, специально еще не рассматривался[5], большинство из них указано в комментариях к Полному собранию сочинений. Среди них книги Ф. Гизо, А. Тьерри[6], Ж.-А. де Гобино и Ф.-К. Шлоссера, руководства Г. Вебера (скорее всего не 15-томная «Всеобщая история», а его «Учебник всемирной истории») и Г.-Г. Гервинуса (1805–1870)[7], книги А. Пихлера, Э.-Л. Бюрнуфа и Л.-А. Прево-Парадоля, Ж.-А.-А. Убичини и У. Дентона. Из русских источников – «Очерк истории Чехии» А.Ф. Гильфердинга (1862). Из новинок – «Интеллектуальная и мо-

[1] См.: 6(2), 21.

[2] Более позднее определение: «усиление *организованной*, т.е. *дисциплинированной разнородности*» (8(1), 44; организованной – дисциплинированной – вставка 1884 г.).

[3] Цит. по: 7(2), 671.

[4] Цит. по: 7(2), 670.

[5] Чаще всего вспоминают по этому поводу то, что Леонтьев читал на Афоне Гёте, Прудона, Байрона, Хомякова и Герцена (7(1), 132).

[6] В «Византизме…» цитируется предисловие к его «Последним временам Западной Империи» (1860) (7(1), 312–313). Отдельные главы многотомного труда А. Тьерри «Récits de l'histoire romaine au V^e^ siècle» («Рассказы из римской истории V в.»; первый том вышел в Париже в 1860 г.) печатались на протяжении многих лет в «Revue des deux Mondes». Главы о Ефесском соборе, вошедшие впоследствии в изданный посмертно, в 1878 г., шестой том («Nestorius et Eutichès, les grandes hérésies du V^e^ siècle»; «Несторий и Евтихий: великие ереси V века»), Леонтьев прочитал также по журнальной публикации: Revue des deux Mondes. 1871. T. 96, nov. et déc.; 1872. T. 98, mars et avr.

[7] Издания, которыми пользовался Леонтьев: *Вебер Г.* Курс всеобщей истории / Пер. Е. и В. Корша. М., 1859. Т. 1. Вып. 2: Греческий мир; *Гервинус Г.* Введение в историю девятнадцатого века / Под ред. М. Антоновича. СПб., 1864.

ральная реформа» Э. Ренана (1871). Хотя бы понаслышке Леонтьев уже тогда знал и Шопенгауэра[1]. Сказалось и влияние любимой им книги В.-Г. Риля «Страна и люди» (1857–1863).

Есть в «Византизме и Славянстве» ссылки, свидетельствующие о том, что Леонтьев использовал материалы, с которыми познакомился в 1868–1869 гг., – книгу Н.И. Костомарова о Смутном времени (7(1), 324), статью Н.И. Барсова «О русском простонародном мистицизме», статью Р.-Г. Тайандье, ряд статей «Московских ведомостей» 1868 г.

Даже неполное перечисление заняло так много места, что уже одно это показывает: «рабочая память» у Леонтьева была весьма объемной.

Подобно «Византизму и Славянству», статья «Руссие, греки и юго-славяне» представляет собой соединение «политической» и «теоретической» работы. Леонтьев стремится подойти в своих наблюдениях к самому глубинному, что есть в том или ином народе: «…в жизни самой везде есть некоторая вековая устойчивость бытового типа, общего духа, который меняется медленно и который хорошо понять и разносторонне исследовать полезно не только в смысле теоретического расширения знаний, но и с практическою целью: ибо сколько ни меняются политические течения, есть, однако, известные роковые пределы, за которые колебания эти целые века переступить не могут.

Эти-то пределы политических колебаний, возможные для одной и той же нации, и обусловливаются внутренним строем этой нации, ее вероисповеданием, ее преданиями и даже вкусами, ее социальным устройством, которое кладет свою глубокую печать на личный тип или психический строй самих граждан» (7(1), 449).

Чтобы понять этот «внутренний строй», недостаточно только «этнографических очерков» и актуальной политической аналитики. И то и другое чаще всего только скользит по поверхности. Под взглядом публициста, которого занимают «интересы» и «стремления» народов, показывает Леонтьев, болгары и греки «явятся самыми свирепыми антитезами» (7(1), 456), взгляд же художника заметит в них больше общности, чем различий. Но это тоже будет лишь частью реальной картины. Нужен какой-то новый, синтетический жанр, опыт которого и предлагает Леонтьев в своих статьях, начиная с «Грамотности и народности». В статье «Русские, греки и юго-славяне» появится даже «литературно-критическая» глава о новогреческой поэзии: сравнивая оды И. Танталиди с одами Державина, Леонтьев увидит в последних одну черту, «которая вообще отделяет резко русских от греков», это «черта грусти более глубокой, черта меланхолии и романической боли» (7(1), 470).

Вероятно, впервые после Хомякова (с его знаменитой антитезой «иранства» и «кушитства») в русской литературе появляется такое глубокое проникновение в область национальной религиозной психологии, причем не теоретическое, а, как всегда у Леонтьева, образное, яркое, из «живой жизни». Детально, одновременно и «научно», и «художественно», он анализирует религиозную психологию «четырех единоверных наций Востока» (7(1), 462) – русских, греков, сербов и болгар. На эту тему есть много размышлений и иллюстраций в его художественных произведениях. Здесь же подводятся итоги, дается точная и полная картина.

Все богатые наблюдения Леонтьева на «греко-славянском» Востоке вошли в эту статью, и насколько же шире его взгляд, чем был у В.И. Кельсиева,

[1] См.: 7(1), 308.

которого интересовало преимущественно русское население Добруджи[1], или будет у В.Г. Короленко. Последний несколько раз посетит Нижний Дунай в конце 1890-х – начале 1910-х гг. и, вслед за Кельсиевым, тоже, как видно уже из названия одного из его очерковых циклов, будет наблюдать в основном за судьбой «наших на Дунае»[2]. «Наши» – это русские старообрядцы («некрасовский корень») и украинцы, потомки запорожских сичевиков. Мелькают порой в тени и греки, и – что могло бы особенно понравиться Леонтьеву – турки, причем изображены они в очерках Короленко с большой симпатией, а «наши на Дунае» не устают повторять приезжему «из Расеи», что «за турчином» жилось им гораздо лучше (вольнее), чем «за рамуном»[3].

Очерки Кельсиева Леонтьев ценил за их живость. Это достойный и остроумный бытописатель, к «психическому строю» разных национальностей он, как и Леонтьев, внимателен (это видно и по очеркам, посвященным путешествию по Молдавии и Галичине, и по другим произведениям Кельсиева), но ему не пришло в голову каким-то образом подвести итоги своим наблюдениям, сопоставить характеристики разных народов и сделать из этого даже прикладные выводы, важные для русской внешней политики, что всегда делал в своих статьях Леонтьев[4]. Вообще сама мысль о сопоставлении «психического строя» разных народов принадлежит в России ему, так же как и понятие «социальной психологии», и многое другое, что сейчас вошло в самый широкий обиход.

«За время пребывания в Турции <…> – писал об этом периоде о. Иосиф Фудель, – у Леонтьева *совершенно* сложились взгляды *политические*, культурно-исторические и социальные. С *этим* багажом он и приехал в Россию»[5].

В конце 1870-х гг. Леонтьев – большой мыслитель и политический провидец, не услышанный, а потому все реже выходящий из своего уединения. Но в уединении легче и покойнее думается. И вот к началу следующего десятилетия у нашего «одинокого мыслителя» сформировалась стройная концепция, которая лишь фрагментарно отражалась в его статьях, но чаяла воплощения и «трансляции». Настроение, объединяющее все планы и мечты Леонтьева, можно выразить так: «ожидание новой культуры»[6]. Эта культура, как будет объяснять

[1] Напомним, что *писал* о Тульче *бывший* эмиссар Герцена, а *жил* здесь в начале 1860-х гг. эмиссар *действующий*, пытавшийся склонить в лондонское согласие обитавших в Добрудже старообрядцев и молокан. Не могли, конечно, как впоследствии это было и с Леонтьевым, не заинтересовать Кельсиева польские эмигранты. См., например: *Кельсиев В.И.* Очерки Тульчи // Всемирный труд. 1868. № 8. С. 93–94 (пагинация 2-я).

[2] См. его очерки «Над лиманом» (1897), «Наши на Дунае» (1909), «Турчин и мы» (1913), «Нирвана» (1913): *Короленко В.Г.* Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 6. С. 3–129.

[3] По Берлинскому мирному договору (1878) Добруджа вошла в состав новообразованного государства – Румынии. Кстати сказать, многие нарисованные Короленко картинки румынского усердного «европейничанья» тоже, несомненно, пришлись бы очень по душе Леонтьеву.

[4] См., например, наблюдение о социальном устройстве болгар, выводящее к политическому прогнозу, целиком сбывшемуся в 1880-х гг. (7(1), 458–461).

[5] РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1046. Л. 44 об.

[6] Выражение И.И. Кристи по поводу статьи Леонтьева «Храм и Церковь» (Гр. 1886. 9 янв. № 3. С. 7). Под культурой Леонтьев подразумевает «систему отвлеченных идей, и бессознательно в жизни живущих, и сознательно в жизнь проводимых, и из нее в область дальнейшей мысли извлекаемых» (8(1), 51). Здесь есть реминисценция из Риля (ср.: «Истинная социальная политика есть та, которая не жизнь развивает из учения, а *учение из жизни*». – 8(1), 471). Пример в «Среднем европейце…»: эпические песни («незнание», «простота») собраны ученым в сборник («наука»), некто «вдохновляется им и производит нечто такое, что еще *выше* и простенькой былины или песни, и ученого сборника» (8(1), 166). Последнее и есть пример «новой культуры»: развитое восстановление идеалов народа (см.: 7(2), 162–163). Другой путь (гармоническое сочетание «своего» и «чужого») объяснен Леонтьевым на

он впоследствии, «должна быть ко времени расцвета своего хоть некоторыми своими сторонами *сложнее* и *устойчивее* предыдущих и представлять собою хоть в чем-нибудь антитезу тому, что разрушает эти предыдущие и доживающие свой век культуры» (8(2), 210). Культурное «обособление» «должно принимать прямо антитетическое направление» (8(2), 227). Например: Европа движется к бессословности, а мы вернемся к сословному расслоению, Император французов одарил мир идеей «национальной политики», мы должны понять, что «политический национализм» – близкий родственник «космополитической революции», и т.д.

Вокруг в это время все нерадостное и неустойчивое: хаос, безбожие, утилитаризм и в конце концов – смешение и однообразие. «Жалко, скучно, страшно» – лейтмотивы отзывов Леонтьева о современной ему России на рубеже 1870-х – 1880-х гг.[1] Есть два пути: разрушительный (если оставить все как есть) и своеобразно-созидающий (ср.: 8(1), 89). Он всемерно служит второму. Служит словом, хотя и понимает, что «великие вещи» совершаются *помимо слов* – «незримо и постепенно» (4, 59). «…Действительное созидание бывает всегда полусознательное, или *почти бессознательное*, а *не рациональное*» (7(2), 84). А пока до «действительного созидания» еще далеко, нужно хотя бы приостановить разрушение. Поэтому Леонтьев так часто говорит о значении «опор», о необходимости «приостановить быстроту экономического брожения» (7(2), 99) и «затормозить хоть немного свою историю, в надежде на то, что можно будет позднее свернуть на вовсе иной путь» (8(1), 468).

Нужно только помнить о временно́й модальности («пока», «теперь»), присутствующей в его политических рецептах. Ср.: «*А пока вообще нужно поменьше движения в обществе*» (8(1), 42). Даже известный совет «подморозить Россию» корректируется через два года уточняющим наречием: «Теперь – до разрешения Восточного вопроса, надо одно – *подмораживать* все то, что осталось от 20-х, 30-х и 40-х годов…» (8(1), 38). «…Реакция то туда, то сюда – неизбежна» (7(2), 72), – объяснял он, – и «прогресс бывает всегда попеременно то либерального, то реакционно-дисциплинирующего свойства» (7(2), 107). «Репрессивные меры не могут быть сами по себе целью; они только временный прием для того, чтобы люди „не мешали“ приготовить что-нибудь более прочное в будущем» (7(2), 143).

«Гептастилистическое» в публицистике Леонтьева

Идеал, писал Леонтьев, должен быть «самый высший, самый широкий и смелый, *самый идеальный*, так сказать, *из всех возможных идеалов*» (8(1), 44), идеи – «очень оригинальны, очень выразительны и прочны» (8(1), 268).

Его идеал (культурное своеобразие, умственная независимость[2], новое представление об историческом назначении) сложился в Турции, то есть «почти» в Византии. Ср.: «Я хотел говорить вам постепенно все яснее и яснее, все подробнее и, так сказать, изобразительнее о том идеале, который сложился

примере трактира Корещенко на Парижской выставке, где посетителей встречала первая русская официантка (тогда, естественно, такого слова в нашем языке еще не было) – заимствование от французов! – но… в русском кокошнике. См.: 7(1), 113.

[1] См., например,: 7(1), 540–541, 545; 6(1), 351; 8(1), 8. В это время ему начинает казаться, что он сам «уже ничего больше серьезного и крупного» не сделает (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 28 об.; письмо к Вс. Соловьеву от 18 июня 1879 г.).

[2] Политической независимости мало, нужны – культурная (культурно-бытовая; 8(1), 52) и умственная (ср.: 8(1), 97). «Духовная независимость» (ее противоположность – «умственное рабство»; см., например: 8(1), 221) становится у Леонтьева синонимом «*идеального* блага» нации (8(1), 97). Только своеобразие «по мысли, по духу, по формам» (8(1), 54), полагал он, позволит начать новый период истории (ср.: 7(2), 46).

в душе моей *после долгой жизни в Турции*, *в среде единоверцев наших*, и после долгих разнообразных размышлений о судьбах того странного и до сих пор еще загадочного мира, который зовется Россией, или Государством Русским» (8(1), 56).

Мне всегда казалось загадочным указание на место написания статьи об Ап. Григорьеве: «Царьград. Июнь 1869» (6(1), 26). Сведений о пребывании Леонтьева в турецкой столице в июне 1869 г. не имеется (судя по воспоминаниям М.В. Леонтьевой, в это время он должен был уже быть в Янине), и поэтому можно предположить, что указание на Царьград имеет для Леонтьева скорее символическое значение. К тому же в первоначальном варианте было: «Константинополь» (6(2), 162).

Уже тогда для него этот город – столица *всего* Востока. Леонтьев знал (и упомянул потом в статье «Владимир Соловьев против Данилевского»), что именно в Константинополе Фурье хотел поместить резиденцию «омниарха земного шара»[1], что еще до этого Наполеон назвал город на Босфоре будущей столицей мира (эти слова приводил Прудон во втором томе хорошо знакомой Леонтьеву книги «Война и мир»)[2], о константинопольских же планах Фурье упоминал еще в 1850-х гг. Т. Готье[3].

К 1860-м гг. была не нова идея Славянского союза (вспомним хотя бы «славянскую взаимность» Я. Коллара). Восточные союзы проектировали М.П. Погодин, а вслед за ним Данилевский и Р.А. Фадеев. У последнего союз предполагался только военно-политический, в котором самостоятельные государства составляли бы федерацию[4]. Данилевский также мыслил союз федерацией с центром в Царьграде.

У Леонтьева вначале все еще не выходит за эти рамки: «Царьград есть тот естественный центр, к которому должны тяготеть все христианские нации <…> *предназначенные составить с Россией во главе Великий Восточно-Православный Союз*» (7(1), 516)[5]. Он упоминает о «какой-то неизвестной еще *славяно-босфорской государственности*» (7(2), 85). «…Более естественный и более сильный великий Восточный союз, частями которого стали бы volens-nolens[6] и румыны, и греки, и армяне…» (6(1), 169; 7(1), 530)[7]. Но в дальнейшем всегда подчеркивается, что союз нужен для образования *новой культуры*. Царьград понимается как центр «общеполитический, религиозный и культурный» (8(1), 117). Только здесь и возможно будет, по Леонтьеву, воплотить «действительность *новую*» (8(2), 226), дать «синтез практический и стойкий в самой жизни» (8(2), 227), а не только теоретический.

«*Старая жизнь на началах 60-х годов оказалась непригодною; нужна жизнь новая, а совершенно новая жизнь всегда требует нового центра, новой столицы; если не прямо административной, то, по крайней мере, культурной…*» (8(1), 65); «*…новая прочная организация на старой почве и из одних старых элементов становится невозможной*. Нужен крутой поворот, нужна новая почва, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания, а *главное, необходим но-*

[1] Ср.: 8(1), 363.

[2] См.: 8(2), 1053.

[3] См.: *Готье Т.* Путешествие на Восток. М., 2000. С. 213.

[4] *Фадеев Р.А.* Мнения о Восточном вопросе. СПб., 1870. С. 77.

[5] Ср.: 6(1), 169; 7(1), 525 (великий восточно-союзный организм), 530. Другие варианты названия: Восточный союз (7(1), 516), союз Восточно-Православных народов (7(2), 157), Новый Восточный мир (8(1), 86), Великий Восточно-Славянский союз (8(1), 92), Великий Восточный Союз (8(1), 102).

[6] Волей-неволей (*лат.*).

[7] В позднейших текстах к этому прибавятся еще и турки и персы, а в записке для учеников – даже индусы.

вый центр, новая культурная столица» (8(1), 85). После взятия Константинополя «*невская цивилизация начнет уступать место новому босфорскому Русизму*» (7(2), 185), начнется поиск «*своеобразного стиля культурной государственности*» (8(1), 44, 83) – «для выступления на новые, иные пути *культурной по идее и форме государственности*…» (8(1), 97). «Центры тяжести духовной и политически культурной» перейдут тогда «на пышные берега Босфора» (7(2), 341). Тип культурного развития переменится после поворотного пункта, которым станет взятие Царьграда «*и заложение там основ новому культурно-государственному зданию*» (8(1), 84)[1].

«…Все *частные*, так сказать, идеалы, сохранение Святыни Православия и даже дальнейшее правильное развитие его, богатство, слава, всемогущество в делах международных, новые пути в науке и философии, новые формы искусства – все это <…> в совокупности заключено в одном этом общем и всеобъемлющем идеале: *новой, независимой, оригинальной культуры*» (8(1), 238).

Тема «нового культурного русизма» на Босфоре является главной, но не единственной в историософском идеале Леонтьева. Посмотрим, как формировались другие пункты его программы. В первую очередь – тот, что связан с «вещественным» основанием новой культуры[2].

Уже в 1870-х гг. публицист начинает все больше занимать экономический вопрос[3], он интересуется современным социализмом и все чаще заговаривает о социализме «охранительном», о «новой реакции», «новом феодализме».

На мысль об охранительном социализме Леонтьева могли навести европейские критики русской общины, о которых он писал в статье «Грамотность и народность»: «Европейцы, чуя в нас для них что-то неведомое, приходят в ужас при виде этого грозного, как они говорят, „соединения самодержавия с коммунизмом“, который *на Западе есть кровавая революция*, а у нас монархия и вера отцов» (7(1), 100)[4]. В статье был, между прочим, целый фрагмент о русском «*реальном охранительном коммунизме*», зачеркнутый при подготовке сборника «Восток, Россия и Славянство»[5].

Не исключено, что еще в 1860-х гг. Леонтьев познакомился с трудами французского социолога Ф. Ле-Пле. Одно из его сочинений включено в состав-

[1] В отличие от большинства политиков и мыслителей, призывавших к завоеванию Проливов, Леонтьев рассматривает утверждение России на Босфоре не как венец восточной политики, но лишь как первый необходимый шаг. Современный историк справедливо замечает по этому поводу: «Важнейшей чертой леонтьевского плана является то, что создание политического Восточного союза не выступает как *самоцель*, наоборот, он есть необходимое *условие* для построения на его базе нового культурного типа. В этом принципиальное отличие Леонтьева от Тютчева и Данилевского. Они рассматривали объединение славян под скипетром русского Царя в городе Святой Софии как окончательный пункт в своих историософских построениях. По Леонтьеву, это не конец истории, но лишь новый акт исторической драмы» (*Гоголев Р.А.* «Ангельский доктор» русской истории. С. 116).

[2] Ср.: VIII, 181.

[3] Интерес к нему укрепится в начале 1880-х гг. В 1882 г., например, Леонтьев прочел «Собственность и государство» Б.Н. Чичерина (см.: VIII, 125).

[4] См. также: 7(1), 121. К сожалению, не удалось пока установить, в какой именно статье Леонтьев прочитал изложение взглядов испанского умеренного республиканца Э. Кастеляра (Эмилио Кастелар-и-Риполь; 1832–1899) о связи общины с самодержавием (см.: 7(2), 155).

[5] См.: 7(2), 330–331. Леонтьев подчеркивает, что это чисто экономическое явление, определенный способ владения землей и – это важно! – не исключающий «другого личного образа владения» (7(2), 331). Сами же слова «социализм», «коммунизм» автор употребляет только снисходя к немощи читателей. О том, что крестьянская община – коммунистическая и вместе с тем глубоко консервативная, см. также: 7(2), 87.

ленный им список литературы, рекомендуемой для балканских гимназий: «*Le Play*, новое сочинение о рабочем сословии всех стран. – *Говорят*, в нем есть большие похвалы русской крестьянской общине»[1]. По контексту ясно, что речь идет о книге «Европейские рабочие» (1855). Может быть, не без лукавства употреблено это «говорят» (я, мол, российский чиновник, скромный секретарь адрианопольского консульства, такие книги не читаю, но говорят…).

В книге «Византизм и Славянство» есть упоминание о «деспотическом коммунизме» (7(1), 317), об «утилитарных киновиях» коммунистов (7(1), 409), есть любопытная историческая фантазия о том, что было бы, если бы чешская нация не была сокрушена: «оригинальное сочетание и примирение социализма с Византизмом и феодальностью» (7(1), 339). Но «призвание» России еще не ясно (7(1), 372), и наша крестьянская община, по-видимому, мало интересует Леонтьева[2], по крайней мере меньше, чем аристократический республиканский коммунизм Спарты (7(1), 390; ср. то же с уточнением «сословный»: 7(1), 424). В этой же книге сделано много наблюдений о сословном расслоении[3].

В одной из первых, на Афоне или вскоре после него написанных, глав книги «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» встречается замечание об общинах, предваряющее будущие размышления Леонтьева о природе социальной «дисциплины» и о «мистико-реалистическом строе» (8(1), 37), который видится ему антитезой «утилитарного идеализма»: «…*общины*, которые держались твердо и держатся до сих пор: духоборцы, скопцы, монастырские киновии, анабаптисты, квакеры, мормоны – все держатся *верой* и *обрядом*, а не одним расчетом и практическим благонравием» (8(1), 188).

Значительно продвинулся Леонтьев в понимании этого круга вопросов после довольно долгого пребывания в Петербурге в начале 1878 г., в частности после споров с молодым поклонником Гамбетты Ю.С. Карцовым. Вспоминая об этих спорах, 20 января 1879 г. Леонтьев напишет: «Социалисты лучше Гамбетты и вообще буржуазии. <…> Социализм – есть не что иное, как сама себя непонимающая, маскированная реакция[4]. <…>…ошибка не в социализме, а в принципах 89 года» (6(2), 12–13).

В марте 1880 г. (в статье «Чем и как либерализм наш вреден?») Леонтьев будет говорить о перерождении человеческих обществ на новых началах, о рабстве «в новой форме» (7(2), 133; ср.: 8(1), 270)[5]. Но фраза о «новом феодализме», «феодализме общин» появится здесь только во вставке 1885 г. (7(2), 479)[6]. В отдельном издании статьи «Как надо понимать сближение с народом?» будет сделана вставка: «…*социализм*, понятый только с *экономической* стороны, может принять и *охранительный характер*…» (7(2), 158, 485).

Чтобы искоренить зло, заявит Леонтьев, нужно «дать <…> обществу *такой строй*, при котором глубоко изменилось бы направление вещественных и

[1] АВПРИ. Ф. СПб. Гл. архив IV-2. Оп. 502а. Ед. хр. 333/2. Л. 144а об. В другой редакции: Руссия и българското национално-освободително движение. Т. 2. С. 216.

[2] Позднее он будет писать о том, что даже в существующем виде крестьянская поземельная община спасает «государственно-культурный строй самой России» (8(1), 204).

[3] См., например: 7(1), 441.

[4] Когда Леонтьев говорит о «маскированной реакции» (см., например, 8(1), 103), он переиначивает афоризм Тютчева из трактата «Россия и Запад» (1849), известного ему по книге Ив. Аксакова: «Употребление во зло понятия о национальности, – маскарадный костюм для Революции» (см.: 7(2), 759).

[5] Когда Леонтьев говорит, что об этом «много думали и писали еще в 40-х годах», он может подразумевать Фурье. У социалистов-утопистов – неприемлемые для Леонтьева скука и однообразие казармы, однако сама идея «градативности» (ср. у Фурье: «сферическая иерархия») могла быть заимствована именно из этого учения.

[6] См. также: VIII, 190–191.

нравственных интересов» (7(2), 96). Экономический вопрос (и особенно о «принудительном» социализме) он считает столь важным (делом «первостепенной важности»), что о нем «нельзя говорить слегка», не в специальной статье.

Его заинтересовывает предложение вяземского дворянства о необходимости законодательного установления минимума дробления для дворянских земель: «чтобы дворяне-наследники не имели права делить свою землю, если она ниже определенного ценза (по размеру или ценности)» (7(2), 97)[1]. Это нужно для укрепления дворянства. Леонтьев прочитал о провинциальной политической инициативе в петербургской газете «Страна» (либеральная газета «удостоила мимоходом потрунить над вяземскими дворянами», – 7(2), 98)[2] и до того заинтересовался «этой – в кои-то веки оригинальной мыслью» (7(2), 97), что нарочно заехал в Вязьму. Там он встретился с уездным предводителем дворянства (им был П.П. Засецкий), но тот «опроверг сообщение „Страны“ как ложное» (7(2), 98; примеч. 1885 г.). Однако идея «*дворянского минимума*» (7(2), 98) уже была заронена. Леонтьев развивает по-своему, предлагая: «От недробимости нужно перейти к *неотчуждаемости* этой землицы…» (7(2), 100), подобной неотчуждаемости крестьянского участка.

В статье «А.И. Кошелев и Община в московском журнале „Русская Мысль“» Леонтьев дает картину разнообразных землевладений: «…вообразим себе рядом с крестьянскими мирами, сравнительно бедными <…>другие общины, богатые, просвещенные и вместе с тем религиозные; свободно, положим, вначале собравшиеся; но *вследствие гнетущей*, *однако, силы обстоятельств* постепенно потом сложившиеся не в простые, обыкновенные *ассоциации*, подвижные и неосновательные <…> а в *корпорации обязательные* и строгие, напр<имер>, как бы вроде монастырей, но с *семейным характером*. <…>…богатые и сильные умственно <…>. Дай Бог, чтобы наши простые крестьянские общины <…> могли бы послужить началом и первообразом для подобных общин богатых, развитых и своеобразных» (7(2), 154).

Постоянной составляющей его публицистики 1880 г. становятся темы созидательного «стеснения» (7(2), 8)[3], ограничения, «спасительного насилия» (7(2), 64; спасительного, «*когда за ним, за этим насилием, есть идея*», – 7(2), 65).

В статье «О всемирной любви» Леонтьев предупреждает о неотвратимости экономического и бытового переворота «по крайней мере, *для некоторой части человечества*» (VIII, 190)[4] и о том, что новые порядки будут «несравненно стеснительнее наших, строже, принудительнее, даже *страшнее*» (там же). А еще через два года он уже хорошо представляет себе «путь организации и созидания» (8(1), 48) и считает своевременным для России «приступить к действиям созидающим, устрояющим, т.е. *ограничивающим* (не власть, конечно, а свободу!), – одним словом, *к организации, которая есть не что иное, как хронический деспотизм*, всеми, более или менее, волей и неволей, по любви и из страха, из выгод или из самоотвержения признаваемый и терпимый, в высшей степени *неравномерный и разнообразный деспотизм; постоянная и привычная*

[1] Ср.: 8(2), 77, со ссылкой на «Варшавский дневник».

[2] Библиографические подробности см. в комментарии: 7(2), 839. Автором фельетона, обратившего на себя внимание Леонтьева, был Арсений Иванович Введенский (1844–1909; подпись: А.В.).

[3] Необходимое уточнение: «Государство держится не *одной свободой* и *одними стеснениями* и *строгостью*, а неуловимой пока еще для социальной науки *гармонией* между дисциплиной веры, власти, законов, преданий и обычаев, с одной стороны, а с другой, той *реальной свободы лица*, которая возможна даже и в Китае, при существовании пытки…» (7(2), 132). Ср.: «Мир живет *организацией, т.е. удачной гармонией свободы и стеснения…*» (7(2), 200).

[4] В «Варшавском дневнике» без курсива.

принудительность всего строя жизни, а не преходящие и неверные принуждения одной только администрации» (8(1), 56).

«Прогрессивно-охранительное направление» целиком сложилось у Леонтьева к 1880–1881 гг., и своеобразным манифестом его стала предназначенная для правительственных кругов «Записка о необходимости новой большой газеты в С.-Петербурге» (1881). Здесь в числе прочего затронута и тема социализма. Чтобы избежать новой пугачевщины и «неисчислимых ужасов анархии», считает Леонтьев, нужно решить рабочий вопрос и устроить социализм «в здоровой и безобидной форме новой и постепенной государственной организации» (8(1), 11). В романе «Одиссей Полихрониадес» приводились крылатые слова: «Кто-то из французов сказал: „Opposez-vous au mouvement, il vous écrase; mettez-vous à sa tête, vous le dominez“» (4, 396)[1]. Такой примерно подход он предлагал применить к социализму[2].

20 сентября 1882 г. Леонтьев доверительно пишет Филиппову: «*Задняя мысль моя* та (говорю это Вам конфиденциально), что истинная революция по существу есть *либерализм, эмансипация во всех ее видах*, а социализм есть готовящийся отпор старой европейской революции, это есть глубокая вековая, организующая постепенно *реакция будущего* (и уже недалекого, XIX век кончается!).

Социализм скоро оставит свои инзуррекционные приемы и сделается орудием новой корпоративной, *сословной, градативной*, не либеральной и не эгалитарной структуры государства. Он вынужден будет сочетаться с *сохраненными консервативными историческими началами* так или иначе, видоизменяя их и видоизменяясь сам, и *либерализм, индивидуализм, меркантилизм и все тому сродное* будет раздавлено между *историческими остатками* и *передовым экономическим порывом*. Велико будет государство или племя, которое возьмет в руки это исполинское движение *нового феодализма*, и славен будет тот орган печати, который первый *даст* это хотя бы сначала в *намеках* почувствовать. А для того, чтобы говорить *все прямо*, для этого надо *взять Царьград*»[3].

Но если до этого, в «Варшавском дневнике», он говорил, и правда, больше намеками, то очень скоро и *почти прямо* все это будет высказано в «Письмах о Восточных делах» (1882–1883)[4], а потом и в статье «Владимир Соловьев против Данилевского», в незавершенном «Среднем европейце...» (8(1), 215; в поздних главах, написанных после прочтения Г. Спенсера[5]). В этой неоконченной книге

[1] Сопротивляйтесь движению – и оно вас раздавит; возглавьте его – и вы будете господствовать (*фр.*).

[2] Ср.: 8(1), 9, 50–51.

[3] Пророки Византизма. С. 233–234.

[4] Уже в первых двух письмах открыто говорится о деспотизме. Интересна правка (вставки в этих главах), сделанная в 1884 г., во время расцвета кружка «гептастилистов». Леонтьев так и продолжал бы раскрывать подробно «наше назначение», свой «идеал» (8(1), 56), да помешала «непредвиденная случайность» (8(1), 56): кн. Мещерский попросил защитить Филиппова от «острогожского попа», о. Димитрия Склобовского. В 1882 г. Леонтьев, объясняя тематический переход, написал: «...непредвиденная случайность вынудила меня <...> перейти внезапно...», а в 1884 г. вставил слова: «почти насильственно», получилось: «перейти почти насильственно и внезапно» (8(2), 318). Это показывает, как больно ему было отрываться от написанного 10–15 октября. А потом происходит новая «непредвиденная случайность»: нельзя было не откликнуться на смерть Гамбетты. Только к шестому письму автор стал «выплывать» к намеченной теме, но уже с углублением в политическую конкретику – характеристику «обстоятельств», которые могут быть выгодны для достижения нашей «исторической цели». Тем не менее в восьмом письме Леонтьев выходит опять и к теме «реакции будущего».

[5] Спенсер опасается зависимости от общин и государства (ср.: 8(2), 39). Леонтьев все переиначивает. А о самом англичанине говорит: «Нет нужды, что сам Спенсер

есть упоминание «нового *социалистического феодализма*» (8(1), 216), который понимается как неравноправность, децентрализация, группировка социальных сил, закрепощение. Слегка касается (через Спенсера именно) он этой темы в статье «Плоды национальных движений на Православном Востоке» (8(1), 578). Начал разъяснять свою идею Леонтьев и в оставшейся незавершенной статье «„Московские Ведомости“ о двоевластии» (1890): «Социализм так или иначе *восторжествовать должен*. – Что он такое будет – сам этот социализм – орудие ли только всеобщей анархии или залогом и основой нового неравенства и деспотической организации – это еще загадка». Но скорее всего он «может переродиться на практике и принять организующее направление» (8(2), 10). «По выходе из анархии придется опять повиноваться, опять слушаться и нехотя; опять выносить нечто вроде нового рабства, нечто вроде нового деспотизма, быть может, даже нечто вроде новых сословий… Если эта организация будет снабжена достаточн<ою> властью, достаточн<ою> неравноправнос<тью>, – то она может держаться не век, а целые века, подобно феодализ<му>; – если эта власть и эта неравноправность будут слабо выражены, то и *эта форма* будет непрочна; ее господство будет считаться только годами, а не веками…» (8(2), 10).

В другой незавершенной статье 1890 г. («Культурный идеал и племенная политика») Леонтьев называет наделение крестьян землей «мерой *государственно-социалистической*» (8(2), 39, 47) и «вполне *национальной в культурн<ом> смысле*», обособляющей от «общезападных порядков» (8(2), 39). Это мера благая, охранительная – залог будущего государственно-экономического строя – «принудительно-общинного», «сословно-социалистического» (8(2), 47). Только в этом новом строе к земле должны быть «прикреплены» и дворяне.

В статье «Владимир Соловьев против Данилевского», в одной из глав которой упоминалось о прикреплении крестьян к земле как подобии «социалистического рабства, вместо лично феодального» (8(1), 331), Леонтьев собирался подробно писать «о чем-то вроде *охранительного социализма*», «о таком – экономическом и хозяйственном устройстве общества, при котором *земельный коммунизм* и *хозяйственный социализм рабочего класса* не только не был бы орудием анархии, а, напротив того, сопрягался бы и сочетался многообразно, прочно и благотворно и с Самодержавием, и с *тем* – что зовет г. Соловьев *национальной мистикой*» (8(2), 209; из чернового варианта одной из глав).

Особенно примечательно, что «охранительный социализм» Леонтьев усматривал и в концепции самого Вл. Соловьева, о чем и писал Губастову 5–7 июня 1889 г.: «…ограниченная только Церковью власть русского Царя, пекущегося о наилучшем материальном устройстве жизни (охранительный социализм)». Ниже в том же письме: «…идеал приблизительного хозяйственного улучшения <…> (социализм консервативный)»[1].

Социалистическое устройство, как его мыслит Леонтьев, не отменяет и «личной собственности», но она становится «неотчуждаемой» (ср.: 8(2), 211). «Собственность – неотчуждаемая и *лично-сословная*, – рядом с собственностью – *общинно-государственною* и тоже неотчуждае<мою>. – Такую теорию я считаю не мечтою, не „благочестивым желанием“ – но одним из таких необходимых условий нашего дальнейшего развития – без которого наша Россия – должна весьма *ненадолго* пережить Европу, эгалитарно тающую сверху и анархически (либерально) – взрываемую снизу» (8(2), 211). Позднее он собирался

либерал и ужасается этим зловещим, по его мнению, признакам; ужасайся – не ужасайся – а пророчество само по себе стоит внимания» (8(2), 209). Но он и до Спенсера (по времени *до него*, а не *до чтения* Спенсера) заговорил о коммунистическом насилии «всех над каждым» (7(1), 317), только тогда еще оценивал это по-другому.

[1] *Леонтьев К.Н.* Избранные письма / Публ., предисл. и примеч. Д.В. Соловьева; вступ. ст. С.Н. Носова. СПб., 1993. С. 465, 466.

«вернуться <…> к более подробному изложению <…> этих взглядов на аграрные, общинные и сословные отношения в России» (8(2), 212).

«Охранительный социализм» Леонтьев связывает с идеей уменьшения «чрезмерной подвижности» («…все то, что людей *к чему-нибудь* и *к кому-нибудь прикрепляет,* противоборствует прямо тому мелкому индивидуализму, той чрезмерной *подвижности* строя[1] <…> которой стали страдать и мы, русские, с 61-го года нашего столетия», – 8(2), 210) и, дополняя Данилевского, объясняет: Данилевский угадал роль славянства в разрешении экономического вопроса, но не угадал, что это «может быть не иначе куплено, как ценою *порабощения лиц* общинам сытым, богатым, сильным и *внутренно* (наподобие монастырей) весьма *неравноправно устроенным*» (8(2), 210).

Упоминание о монастырях (конечно, здесь подразумеваются киновии, которыми, как мы помним, Леонтьев давно специально интересовался и в которых живал и сам) очень важно. Это сравнение Леонтьев намеревался, но не успел развить в одной из глав книги «Средний европеец…». В главе о реальных силах заходит речь о трансформациях коммунизма, которые постепенно приведут «к новому юридическому неравенству, к новым п*ривилегиям*, к стеснениям личной свободы и *принудительным* корпоративным *группам, законами резко очерченным; вероятно, даже к новым формам личного рабства или закрепощения* (хотя бы *косвенного*, *иначе названного*)» (8(1), 213). В этом месте рукописи предполагалось примечание, лишь начатое словом: «**Монахи**». Далее говорится о том, что анархический коммунизм – это лишь «повод к новым государственным построениям *не либеральным и не уравнительным*» (8(1), 214). Тут же следует рассуждение о неподвижности общины и начато примечание: «*Афон* и т. д.» (8(1), 214). Ниже приводится пример: рабочие села при монастырях. И далее снова сравнение: «вроде *мирских монастырей*» (8(1), 222).

Впервые же о подобной модели будущего[2] Леонтьев заговорил в статье «О всемирной любви». Если после переворота установятся «стеснительные» порядки, объяснял он, «жизнь этих *новых людей* должна быть гораздо тяжелее и болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях, например, на Афоне». «А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела (хотя имеет, разумеется, и свои, совсем *особые* утешения. Постоянный тонкий страх, постоянное неумолимое давление совести, устава и воли начальствующих… Но у афонского киновиата есть одна твердая и ясная, утешительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: *загробное блаженство*.

Будет ли эта мысль утешительная для людей предполагаемых экономических общежитий? Этого мы не знаем» (VIII, 190–191; привожу с исправлениями по «Варшавскому дневнику»).

Из множества историков и политологов, обращавшихся к теме «Леонтьев о социализме», кажется, только М.А. Емельянов-Лукьянчиков в своих статьях и в книге «Иерархия радуги» (М., 2008) обратил внимание на то, что Леонтьев скорее всего далеко не одобряет описываемый им порядок, а просто его в подробностях предсказывает. «Другое дело *верить в неизбежность* движения и, как говорится, faire la part du siècle[3]; другое дело верить в *государственную пользу* этого движения, потому только, что оно *гуманно* или представляется нам в идеале таковым» (8(1), 36). Эта формула применима к леонтьевским пророчествам о социализме.

[1] Ср.: 8(1), 102, 193.

[2] При этом вспоминаются определения, данные Леонтьевым общественному устройству Персии и Спарты: «религиозно-воинственное», «богомольно-казарменное» (8(1), 33).

[3] Отдавать дань веку (*фр.*).

Еще одна константа леонтьевской «проповеди» – необходимость большего бытового своеобразия и преобладания «эстетики жизни» над «эстетикой отражений».

Леонтьев испытывал большой интерес ко всему «внешнему» (начиная с облика человека)[1]. Он понимал, «что в *самых внешних* формах быта выражается дух народа и времени» (8(2), 219), что привычки, вкусы, моды – «все это вовсе не внешность одна, а неизбежное выражение глубочайших внутренних потребностей» (8(2), 16), а «*изменение внешних форм быта есть самый верный и могучий признак глубокого изменения в духе*» (7(2), 130). «Ничего нет просто внешнего и просто внутреннего <…>. Есть вещи более внешние и менее внешние… Одежда вообще не есть дело только внешнее; а теперь у нас перемена одежды была бы многознаменательным симптомом…» (7(1), 57–58)[2]. «Поверьте, это не пустяки – эта внешность; это очень важно! Эта внешность – есть выражение еще неясно понятого какого-нибудь внутреннего психического закона. <…> Не будет нового внешнего *стиля в жизни*, – значит, не будет уже никогда *и нового духа…*» (8(1), 632).

То, что Леонтьев стал наблюдать эти «психические законы» очень рано, подтверждается его враждой к «кепи». В 1862 г. в русской армии была введена новая военная форма по образцу французской («…Государство одевает войска в кепи́…» – 6(1), 23). С наступлением нового царствования в 1881 г. эти французские головные уборы были упразднены из русской формы, но до этого Леонтьев, когда только мог, изливал свое негодование[3], даже если речь шла уже не о русских солдатах, а, например, о греческих полководцах, руководителях Критского восстания: «Коронеос и Зимбракаки в кепи (к сожалению)…» (7(1), 62).

Он объяснял позднее: «…*это очень важный символ*! <…> Прусская каска Николая I, символ монархии сословной, нам тогда разонравился, и безобразное кепи, наряд эгалитарного Кесаризма, нам стал больше по сердцу!» (8(1), 519). Леонтьев даже радовался, что русские войска не вошли в 1878 г. в Царьград в этом «наряде», и надеялся, что они займут город Св. Софии в любимой славянофилами «шапке-мурмолке»[4].

Современная одежда представлялась писателю не просто уродством («…в дешевом сюртучище и уродливых штанах XIX века», – 8(2), 192), или, как А. Мюссе, «трауром» по «иллюзиям»[5], но искажением образа Божия в человеке (8(2), 194). Не случайно один из его героев, паша в Превезе, назвал европейскую одежду обезьяньей (3, 256). С 1870 г. сам Леонтьев стал одеваться «по-русски везде, где только это позволяли стеснительные <…> приличия <его> казенной службы» (6(1), 515), «носил бархатную поддевку, высокие сапоги и шелковые рубашки разного цвета „навыпуск“» (6(1), 516); любил восточную (турецкую и греческую) одежду.

Прямыми предшественниками Леонтьева были А.С. Хомяков и К.С. Аксаков, на деле возвращавшиеся к народной одежде. Чрезвычайно близки ему взгля-

[1] «В молодых моих годах я ко внешности человеческой присматривался очень внимательно» (6(1), 355).

[2] Ср.: «…Считать одежду не важным и чисто внешним делом есть одно из самых больших заблуждений наших, ибо ничего внешнего без внутренних, духовных побудительных причин у человека не бывает…» (6(1), 515). Собственно, о том, что «одежда вовсе не пустяки», писал еще Белинский, а дополнял его – специфическими славянофильскими поправками – К.С. Аксаков. Правда, его статья «О современном литературном споре» (1847) стала известна только после публикации в «Руси» (1883. 1 апреля. № 7. С. 25–26).

[3] Ср.: 7(2), 113.

[4] См.: 8(1), 231.

[5] Ср.: *Мюссе А. де.* Избранные произведения: В 2 т. М., 1957. Т. II. С. 11.

ды Данилевского на вред «европейничанья». Был и еще один, менее известный современному читателю, автор, разделявший те же воззрения. В.И. Кельсиев в статье «Русское село в Малой Азии», которая не прошла мимо внимания Леонтьева, писал о необходимости изучения и промышленного применения русского стиля. Рассказывая об одежде майносских старообрядцев, он замечал: «Рисунок шитья на этих рубахах сильно напомнил мне рисунок резьбы на наших бураках, на заставках старинных рукописей, а также детали Василия Блаженного. У нас, кажется мне, зарождался свой стиль, несколько похожий на мавританский и на индейский[1]. Сравните шитые полотенца с точеными чашками, с резьбой на избах, с окладами икон и т.п., и вам станут ясны все особенности этих *русских арабесков* <…> неужели не найдется человека, который занялся бы изучением и разработкой русского *рисунка* и дал бы ему право гражданства в архитектуре, на ситцевых, шелковых, салфеточных фабриках, на фарфоровых и фаянсовых заводах, в мастерских ювелиров, в ремесленных училищах – везде, где есть нужда в чертеже?»[2].

За год до появления этой статьи Леонтьев внушал в «Записке о необходимости литературного влияния во Фракии»: «…иные желали бы сбросить европейскую одежду и, возвратив царство парчи и одежд русского покроя и для армии, и для общества, поднять этим самым целую отрасль ремесленного творчества нации»[3]. У него были четкие представления о степени подлинности и качества этого национального творчества: «Нельзя назвать русской одеждой казацкие панталоны от того, что они немного пошире других или с каким-нибудь кантиком. А вот цветную рубашку *навыпуск* – можно назвать русской одеждой (8(1), 40).

Как мы увидим дальше, идея «перемены одежды» и «стиля жизни» в целом занимает немаловажное место в леонтьевском «седмистолбии», к более конкретному изложению которого перейдем в следующей главке.

Гептастилизм: «реальные пророчества будущей культуры»

«Мечты» и «пророчества» Леонтьева о «культурно-бытовом своеобразии» (8(1), 52) оформляются в стройное учение, которому, как мы уже знаем, он дал название гептастилизма, вероятнее всего, в 1882–1883 гг., когда «одинокий мыслитель» обрел постоянных слушателей – в лице Вл.С. Соловьева, П.Е. Астафьева, наконец, небольшого кружка учеников.

Собственно, число «семь» берется Леонтьевым и ради хорошо опознаваемой цитаты из Книги Притчей (9: 1)[4], и просто как священное (напоминающее о семи дарах Св. Духа, семи таинствах, семи Вселенских Соборах), как символ неколебимой полноты, законченности, а, в сущности, он свои «столпы» или «столбы» возводил на фундаменте «четырех основ» Данилевского, выявленных последним в культурно-исторических типах. «У Данилевского, – писал Леонтьев в 1888 г., – признаются в каждой особой культуре четыре основы, четыре столба: религиозная основа, государственная, экономическая и культурная в тесном смысле (наука, философия, искусство)» (8(1), 325). Полный,

[1] Этот «индейский» стиль храма Василия Блаженного чрезвычайно нравился и Леонтьеву. Можно было бы привести множество примеров, назову лишь один, менее всего заметный. Консул Благов в романе «Одиссей Полихрониадес» «привез с собой из России» альбом «черного дерева с восхитительным изображением одного древнего московского, многоцветного и многоглавого храма» (4, 571).

[2] Русский вестник. 1866. № 6. С. 429–430.

[3] Руссия и българското национално-освободително движение. Т. 2. С. 209.

[4] Она была известна даже людям некнижным, потому что ею начинается часто звучащая в храмах третья паремия на Богородичные праздники.

четырехосновный тип, прежде не встречавшийся, Данилевский ожидал в будущем от России и славянства. (Леонтьев от славянства уже давно никаких чудес не ждет, да и в России сильно сомневается, но еще пытается намечать для нее пути к «пышному цветению», хотя бы и «последнему» перед всеобщим неизбежным «концом».)

Леонтьев то удваивает одну из основ (например, религиозную: в одном из новонайденных набросков говорится, например, и о Православной Церкви, и – особым пунктом – о мистических сектах, существование которых философ, как видно, признавал если не необходимым, то более терпимым, чем, например, протестантизм), то прибавляет пропущенные его предшественником (особенности политики, состояние аристократии).

В 1885 г., скорее всего после кончины Данилевского, последовавшей 7 ноября, Леонтьев задумывает статью о нем[1], а в письме к Филиппову, начало которого не сохранилось (по содержанию оно датируется концом декабря), признается: «Я хочу, до смерти хочу – написать хоть для рукописного распространения в высших кругах наших: мои *реальные* пророчества будущей культуры – „Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь“»[2]. Книге «Россия и Европа» и учению о культурно-исторических типах было естественнее всего стать поводом для изложения заветных леонтьевских идей. Не случайно ведь немногим позже наиболее подробным и открытым «исповеданием» Леонтьевым своего «культурофильства» стала статья, защищавшая наследие Данилевского от критики Вл. Соловьева.

После смерти Леонтьева среди его бумаг была найдена рукопись, озаглавленная «О Данилевском»[3], но ее местонахождение в настоящее время неизвестно. В 1886 г. Леонтьев обещал Страхову написать о нем и о Данилевском, а в ноябре 1887 г. готовил для цикла «Записки отшельника» статью «Гипотеза Данилевского и *мои мечты*»[4]. Это заглавие, сообщенное в письме к одному из учеников (Я.А. Денисову), а также указание в письме к Филиппову на 1885 г. позволяют связать замысел работы о Данилевском с заветным планом Леонтьева.

Приведу более развернутую цитату из письма к Филиппову от 26 марта 1888 г., сопровождавшего посылку первых восьми глав статьи «Владимир Соловьев против Данилевского». Из него наиболее очевидна связь незавершенной работы о Данилевском и книги «реальных пророчеств», призванной раскрыть учение о гептастилизме.

«По окончании возражений Соловьеву – думаю разбить на фельетоны тоже для „Гражданина“ прежде еще (в 85 году) начатую работу мою о *Данилевском* – то есть более подробное определение, что в нем верно и что надо видоизменить.

От<ец> Амвросий, когда я у него просил благословения на выбор следующей работы и перечислял предметы, сказал мне: „Пишите прежде то, что Вы называете *историческим* пророчеством об России“.

Вообразите, что я стал колебаться (по недоверию к себе ли, или по недоверию к *справедливой* оценке других – не знаю) – и вдруг эта статья Вл. Соловьева неожиданно навела меня внешним толчком именно на тот труд, на который и старец указывал.

[1] Об этом замысле, его датировке и основном содержании мы узнаем из позднейшего, от 26 марта 1888 г., письма к Филиппову, где Леонтьев упоминает «прежде еще (в 85 году) начатую работу <…> о *Данилевском*» (Пророки Византизма. С. 495). Весь фрагмент об этом замысле см. ниже.

[2] Там же. С. 305.

[3] Упомянута в «Описи бумаг и сочинений К.Н. Леонтьева» под № 9 (Там же. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 80. Л. 6).

[4] См.: 8(2), 1023.

„Внутренние чудеса!“, как говорил Хомяков»[1].

Но и в ноябре 1887-го, и весной 1888 г. «недоверие к себе» и «колебания» все-таки перевесили решимость автора заняться давно отложенным делом[2], а в дальнейшем Леонтьев пришел к убеждению, что для «исторических пророчеств» еще не пришло время. 3 сентября 1889 г. он доверительно сообщал Филиппову:

«Об *организации* Восточно-Церк<овного> Единства[3] – теперь еще не годится слишком *ясно* писать. – Я и жду. – А так как война, конечно, с часу на час близится и *не возгореться* – и *не может даже*: – то, если буду жив в ту минуту, когда Турция так или иначе, за нас (?!!) или против нас (что в 1000 раз вернее) – будет в нее вовлечена, то я тотчас же составлю об этом секретную Записку, которую через Вас и представлю Государю Императору. – А *печатать ясно* – это значит – предпочитать свое литературное тщеславие – священному и великому делу»[4].

Выходит, «*ясно*» все осталось записанным только в рукописях, кое-как сохраненных учениками, да разве что еще в проекте «новой большой газеты» (1881)? Это не совсем так. Леонтьев говорил, что его учение «в концентрированном виде» сообщалось московским ученикам, а в книгах «по обстоятельствам <…> там и сям разбросано»[5]. Значит, основные положения этого учения можно при желании собрать, что каждый раз (по-своему и в разной степени подробности) и делали исследователи, начиная с А.В. Королева, автора статьи о «культурно-исторических воззрениях» Леонтьева в сборнике его памяти, 1911 г. Но обычно они не связывали свои разыскания прямо с вопросом о тематическом наполнении понятия «гептастилизм» (исключение – исследование Р.А. Гоголева). М.А. Емельянов-Лукьянчиков насчитал в леонтьевской «радуге» не семь, а пять цветов.

Можно было бы сказать, что число «семь» в гептастилизме условно, не нужно подгонять под него количество пунктов программы, но при внимательном чтении Леонтьева неожиданно отыскивается именно это число – в одном из хорошо известных и часто цитируемых фрагментов статьи «Письма о Восточных делах»:

> «…Под словом *культура* я понимаю вовсе не *какую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость* и т.п., а лишь цивилизацию *свою* по источнику, мировую по преемственности и влиянию. Под словом мировая культура я разумею: *целую свою собственную систему отвлеченных идей религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных* и *экономических*…» (8(1), 50)[6].

Вот этим «отвлеченным идеям» и соответствуют «столпы» леонтьевской программы «*нового созидания*» (8(1), 38) – «от религии до мод и вкусов» (8(1), 52; вставка 1884 г.). В одной из записок, излагающих учение «в концентрированном виде» и озаглавленной «7 столбов новой культуры», нет прямых указаний:

[1] Пророки Византизма. С. 495.

[2] Денисову Леонтьев писал 8 ноября 1887 г.: «…чувствую, что все хожу вокруг да около *главного* — и все не решаюсь еще выставить прямо *свои 7 столпов*… Покажу один немного и смолкну! Сам я не знаю, почему это? Разумеется – не от умственной робости, которой, слава Богу, не страдаю, а вернее от желания выразить как можно яснее и убедительнее дорогую мысль» (Два письма К.Н. Леонтьева // Мирный труд. 1905. № 2. С. 212).

[3] Один из пунктов «гептастилистической» программы Леонтьева.

[4] Пророки Византизма. С. 560.

[5] «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания / Изд. подгот. О.Л. Фетисенко. СПб., 2012 (*Леонтьев К.Н.* Полн. собр. соч.: В 12 т. Приложение. Кн. I). С. 91.

[6] В «Византизме и Славянстве» перечислено лишь пять «частных идей», входящих в «общую», «отвлеченную»: религиозные, государственные, нравственные, философские, художественные (7(1), 300). И ниже в той же книге – пять «отвлеченных идей»: «религиозных, государственных, лично-нравственных, философских и художественных» (7(1), 433).

«религиозные идеи», «политические» и проч., но пункты программы, как станет видно из приведенных в Приложении текстов, легко соотносятся и с «основами» Данилевского, и с «отвлеченными идеями», перечисленными Леонтьевым. В письме же к Фуделю от 6–23 июля 1888 г. слова, начинающие каждый пункт, воспринимаются как заголовки, но Леонтьев передумал и остановился, не доведя перечень до конца:

«1) Государство должно быть *пестро, сложно, крепко-сословно* и с осторожностью подвижно. – Вообще *сурово*, иногда и до свирепости.

2) Церковь должна быть *независимее* нынешнего. – Иерархия должна быть *смелее, властнее, сосредоточеннее*. – Церковь должна смягчать Государственность; а не наоборот.

3) *Быт* должен быть поэтичен, *разнообразен в национальном*, обособленном от Запада, *единстве*. – Или совсем, напр<имер>, не танцовать, а молиться Богу; – а если танцовать – то *по-своему, выдумать* или *развить* народное до изящной утонченности… и т.п.

4) *Законы*, принципы власти должны быть *строги; люди* – должны стараться быть лично *добрее*; – одно уравновесит другое.

5) Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе»[1].

Не упомянутыми оказались художественная и экономическая основы. <…>

Из Приложения. Новообретенные тексты Леонтьева

<О культурном своеобразии и пределах развития науки>

…два своеобразные начала: Самодержавие и поземельную общину, – которых союз и процветание может еще составить духовное величие и действительное своеобразие будущей России. – Что же останется в этой России *особенного, любопытного*, поразительного, такого, которое могло и открыть новые пути самой жизни, и доставить занимательную и новую пищу науке? – Дворянство наше и теперь, утратив все права свои, <как> две капли воды похоже на образованную Западную буржуазию; – купеческие дети посредством университетов, безверия, одинаково и посредством невежественного тщеславия, и посредством действительной образованности стремятся войти в тот же поток; они будут делаться нигилистами или катковистами (это все равно для нашего вопроса, как ни велика разница в другом отношении), во всяком случае они уже не будут теми богатыми, набожными, иногда крайне порочными, но всегда своеобразными купцами-мужиками, которых мы видим в комедиях Островского (и которых, несмотря на все пороки их, любим от души!). –

Семинаристы и вообще дети белого духовенства, чиновники, учителя, доктора, литераторы давно уже составляют в высшей степени буржуазный контингент нашего общества. – С распущением касты духовной это будет еще заметнее. –

Уничтожьте при этом закон о неотчуждаемости крестьянского участка, посягните глубоко на Круговую поруку; и с другой <стороны> ограничьте свободу Верховной власти, обратите Помазанника и Самодержца во Всероссийского Обер-Полицмейстера, состоящего на жаловании у Законодательного Собрания, в коем царствуют г.г. Лохвицкий, Краевский,…. быть может, и Нечаев… Что останется от России? – Пусть мне докажут, что Россия не будет тогда простым переводом с одного из Западных языков. –

[1] Преемство от отцов. С. 92.

Что же в ней будет *особенного* достойного гениального [ума]? исследований? Много земли. – Вот и у Соединенных Штатов много земли; – но что же в них особенно занимательного, такого, чтобы озарить человечество новым светом – как могли озарить древний Греко-Римский мир или прежняя Европа? – пока они не были исследованы?

Соединенные Штаты в своем своеобразии относятся к Англии в *пространстве* так же, как Франция Наполеона 1-го могла во *времени* относиться ко Франции Лудовика XIV-го. – Они демократизированная Англия; – «Тех же щей – да пожиже влей». –

Никто не отозвался о С<оединенных> Шт<атах> лучше Прудона в *La guerre et la Paix*. –

Конечно – если бы гениальный европеец мог пожить долго *внутренней* жизнию Китая или Сиама, не тоскуя там по трактирам, библиотекам и телеграфам – то он в этих странах нашел бы больше жизни для высоких и новых взглядов, чем в Америке, чем в Северной Америке или в России совсем [*откатковленной*]. –

Итак, и *социологии* должен быть положен предел, как самым совершенством ее, так и разлитьем европеизма (однообразием), (разумеется – если предположить, что никакие неожиданные препоны не *обратят вспять* и европеизм этот, и обещанный им экономический и психологический земной рай и внезапный удар не остановит триумфального шествия научной колесницы, на которой так вдохновенно несутся некрасивые люди в очках и фраках…)

О Психологии можно и не говорить – как сказано об антропологии и социологии. – С упрощением *житейского зрелища* и она станет беднее содержанием – причем и совершенства достигнуть ей будет легче; – простейшее легче изучать и описывать. –

Итак, какой же общий вывод из всего этого? – Вывод тот, что наука, (по крайней мере в том виде, в каком мы знаем ее теперь) – вовсе не бесконечна. – Бесконечности ее полагается предел, во-1-х, самим совершенством той или другой науки; во-2-х, обеднением содержания, достойного внимания науки и, в-3-х, неожиданными историческими катастрофами вроде того, как торжество германцов и Христианства приостановило развитие Греко-Римской науки. – Об этом 3-м пределе мы еще не говорили, и большинство прогрессистов думает, что этого рода катастрофа в наше время немыслима. – Прежде чем рассматривать, так ли это немыслимо, как кажется людям, *верующим* в положительные науки, мы еще раз возвратимся к прежнему и, заглянув в самую глубь, в самые недра науки, посмотрим, не кроет ли она в этих собственных недрах каких-нибудь самоубийственных принципов, т.е. таких принципов, вследствие осуществления которых наука возложит сама на себя руки, без помощи каких бы то ни было посторонних и варварских сил. –

Я думаю, никто отвергать не будет, что Гегель и Прудон правы, раскрывая – каким образом каждое явление носит в собственных недрах своих свою собственную *антитезу*, разрушающую ее для высшего Синтеза. – Эта часть их учения, мне кажется, настолько же нерушима, как и история движущих и чувствующих ячеек, как качание маятника и как присутствие в европейских обществах реальных сил землевладения, капитала и труда? – Что отдельные науки (и еще в разных смыслах) носят в ходе развития бесконечное повторен<ие> антитез, это известно. – Напр<имер>, всякий бы сказал, что медицина прекрасно бы сделала, если бы уничтожила сама себя, т.е. сделалась бы простой, предупреждающей гигиеной. – Ибо пышность развития современной патологической науки покупается слишком дорогой ценой для человечества. –

И потому одно из двух: или, приближаясь к своему идеалу – медицина должна обеднеть и даже умертвить себя; или жизнь должна быть многострадальна и тяжела, чтобы дать <медицине> возможность развиваться постоянно и пышно. – ([NB] Т.е. развитие одной из положительных наук прямо противоположно развитию благоденствия.)

Зоология, чтобы быть интересна, чтобы, не ограничиваясь *сухим* хозяйственным творчеством новых пород рогатого скота и кур, *охранять* хоть сколько-нибудь *поэтическую и наивную* часть животного мира (т.е. диких животных), должна, с одной стороны, принять диктаторские меры и стеснить: охоту, китовые промыслы, торговлю слоновой костью и т.п. (опять препятствия, если не благоденствию, то хоть удовольствию; и даже промыслам, питающим целые семьи); а с другой, должна с улыбкой смотреть на то, как голодные волки будут зимой опустошать стада, как каждый год столько-то сотен индусов или китайцов будут похищаемо тиграми и т.д.

Если *идеальная* анатомия и физиология *здорового* человека уже почти неподвижны, то зато патологическая анатомия и физиология должны желать развития *разнообразных* и *новых страданий*, чтобы дать простор научному таланту. –

И т.д.

< Фрагменты, не вошедшие в VIII главу «Писем о Восточных делах» >

<1>

Слово *революция* надо понимать с этой точки зрения не в тесном смысле восстания, бунта, или междуусобной войны. – *Мирное* движение христиан было великой революцией, т.е. одним из глубочайших переворотов для всего древнего мира; это движение только *завершилось* одним из тех междоусобных столкновений, которое было так свойственно военно-избирательному характеру Римского Кесаризма, т.е. битвами Константина с Максентием и Лицинием; и в течение 4-х веков никаких бунтов и войн не производ<ило>, однако все старое разрушило, между тем как восстания иудеев против римлян, или поляков противу России ничего в этом прямом смысле революционного в себе не имели; а, напротив того, были скорее реакционного или местно-охранительного характера. – Это простое различие уже из того очень ясно, что революция может быть по приемам и по источнику вполне *легальна*, т.е. совершена (по ошибке или преднамеренно) самим Правительством, а бунты или междоусобия законными никогда не признаются и не признавались. – Когда думаешь о нашем времени и сравниваешь его с последними веками Римской Империи, то чувствуешь, что движение эгалитарного либерализма вовсе на движение Христианства не похоже. – Оно не похоже по многим причинам, которые я здесь перечислять не имею времени и места; но в особенности потому, что самые основные правила Христианства носили в себе залоги строжайшей земной общественной и государственной дисциплины; говоря, например, «Царство мое не от мира сего», Христос этим самым равнодушным отношением к земной политике, *давал этой политике полную свободу устраивать* государство, дисциплинировать общество как угодно; ибо Ему нужна была внутренняя свобода духа, а не внешняя свобода общественного положения, и раб, прикованный цепями, в Евангельском смысле, мог быть свободнее по бессмертному духу, *по выбору веры*, по *жизни совести*, чем сам всевластный Кесарь. –

Пользуясь этим полным разрешением Учителя, ученики Христа уже прямо высказали *требование повиноваться* Кесарю и представителям его власти; Епископам и Священникам, отцам, мужьям, даже Господам – домохозяевам. –

Апостолы сразу установили на целые века все те власти Церковные, гражданские, семейные и даже хозяйственные, которыми столько веков держалось общество. – Эмансипационное движение, начавшееся в XVIII <веке> и продолжающееся и теперь есть поэтому: во-1-х, движение *против основ христианских*, т.е. *специально антихристианское* движение, несмотря на всю видимую гуманность свою; а во-2-х, оно есть вообще движение разрушительное, никакой еще новой духовной дисциплины взамен разрушаемой не представляющее. – Поэтому либерально-эгалитарное движение нашего века похоже больше на то либерально-демократическое расстройство, которое в Риме предшествовало Христианству, или сопровождало его первое зарождение, чем на то время, когда дисциплинирующие силы Христианства стали придавать обществу более и более ясные и совершенно новые *формы, стесняющие личность* и этими самыми стеснениями определявшие особенности ее нового развития. – Теперь мы никаких этих ясных и новых форм новой дисциплины не видим. – Мы видим только везде *послабления* личности и, вместе с тем, *расслабление* ее, и если есть где в обществах и в людях дисциплина, то это все благодаря реакции сохранившегося прежнего, а не благодаря зарождению чего-то нового. – Пожалуй – у нигилистов, в их собственной среде, есть строгая дисциплина; есть страх, есть вера, идеал, единодушие и самоотвержение; но этот страх только плотской, а не духовный, не мистический (убьют или изуродуют, если изменишь); но эта вера есть вера в равенство и благоденствие, т.е. в *нечто несравненно более немыслимое, чем загробное спасение невидимой души*. –

<2>

<Зачеркнутый фрагмент>

И казнить жестоко и беспощадно хотя бы и наших нигилистов или Луизу Мишель – надо не столько *за то, что они социалисты* (и Монах Афонский, и русский мужик общинник – социалисты в хорошем смысле), а за то, что они ультралибералы, за то, что они либералы *насильственные снизу*, атеисты, республиканцы; за то, что они анархисты сознательные и явные. – Такое теоретическое различие очень важно

<О новой культуре>

NB

Эта новая культура должна неизбежно, мне кажется:

1.) Отказаться от гражданского равенства и даже от той степени личной свободы, которой достигло европейское человечество в XIX веке, т.е. в эпоху разложения Романо-Германской цивилизации; она должна создать новые сословные корпоративные и провинциальные неравенства. –

2.) Развенчать с глубочайшим презрением и фанатическою ненавистью утилитаризм и эвдемонизм положительной науки и таким образом, охладивши к ней отупелое в мелкой практичности человечество, дать снова простор мистическим верованиям и эстетическому творчеству (не только в *отражениях искусства*, но и в самой действительности). –

3.) Ослабить чрезмерную подвижность, свободу и отчуждаемость собственности, ограничить власть подвижного капитала (денег) и в той или другой вовсе *не либеральной* и вовсе *не эгалитарной* форме дать разгадку и некоторое (далеко не восхитительное, но все-таки сносное) удовлетворение тому непонятому до сих пор движению, которое зовут обыкновенно со страхом и «отвращением» «социализмом» или «коммунизмом» и которое в сущности есть не что иное, как *маскированная, неузнанная и сама себя еще не понявшая глубокая и коренная реакция противу гражданского индивидуализма* (т.е. противу равен-

ства и свободы) *на экономической почве*. – Надо полагать, что эти новые формы экономических отношений будут *очень сложны*, *очень разнообразны* в сочетаниях своих и представят примеры всякого рода стеснений, обязанностей и даже своего рода узаконенного рабства, начиная от неотчуждаемости определенного *максимума* недвижимости (майораты или минораты) до неотчуждаемости *минимума* личной или общинной собственности; от стеснений и неравенства вроде монастырского до стеснений и неравенства целыми сословиями вроде Спартанских или старо-феодальных. – *Социализм есть не понятый самими социалистами феодализм будущего*. – Анархия он теперь только потому, что его назначение еще не понято; бунт он потому, что им занимаются теперь гуманные фразеры, завистливые, озлобленные мерзавцы и голодные, тщеславные, не знающие куда деть свою потребность действия молокососы. – Если бы вся эта сволочь, вполне достойная чего-нибудь худшего виселицы, знала заранее, какая пестрая, разнородная, стеснительная, *субъективно для многих крайне тяжелая, но объективно окрепшая* и более, так сказать, «красивая»* действительность мало будет похожа на их серый и плоский идеал всеобщего равенства и мелкого благополучия, – то они, конечно, тотчас же отказались бы от своих разрушительных предприятий!..

4.) *Сосредоточить слишком федеративное до сих пор Православие* и таким образом придать ему то, чего ему до сих пор недоставало по сравнению с Католичеством, – внешнюю силу и бо́льшую независимость как от светской власти, так и от непостоянства интеллигентной демагогии. – Ибо сила Католичества не в *ложном догмате*, а в правильном (независимом) *устройстве Церковной администрации*. – Имея уже правильный догмат, необычайно-прекрасный обряд и более чистые предания, Православие подчинило бы себе, вероятно, все Христианство если бы оно приобрело то, чего ему до сих пор недоставало, – силу независимой, хотя бы и не единоличной, а Синодальной, так сказать, Централизации. – Для этой небывалой централизации нужен *новый центр* и древние предания. –

Центр этот, конечно, и есть тот Царьград, к которому влечет нас даже и против воли нашей поток Истории. –

Денисову. 7 столбов новой культуры

Итак: великие *столпы*, на которых должно утверждаться [новое пышное] здание Славяно-Восточной новой культуры, следующие,

I. – *Сосредоточенное в Царьграде Православие*. – (Возвеличение Вселенского Патриарха, избираемого всеми национальными церквами, – и т.д.)

II. – Принудительная организация собственности и труда. – (Minimum неотчуждае<мой> собственности и maximum ее же. – Господство личных майоратов и богатых общин; – запрещение пролетаризма; – вообще приостановка излишней *подвижности* экономической жизни, т.е. *ограничение личной свободы* и организация нового и прочного *юридического неравенства*; другими словами: – отнятие экономического движения из рук разрушителей...)

III. – *Пессимизм в науке* (отвержение демократич<еского> прогресса; уничтожение *религии самодовлеющего*, утилитарного человечества. – Проповедь – светоразрушения и его вовсе не так уж отдаленной неизбежности. – Враждебность – физико-химическим изобретениям и всеобщей грамотности. – *Разрушение машин* и т.д.)

IV. – *Великий Восточный Союз* (Россия во главе; – Царьград центр; – сла-

* Хотя бы и в трагическ<ом> и пластическ<ом> отнош<ениях>.

вяне; греки; румыны; мадьяры; турки; персияне; индусы…): систематическое объединение против Западно-Европейских и Американских Государств (противу разлагающейся Романо-Германской Государственности). – Таможенные и т.п. ограничения.

V. – *Новая привилегированная аристократия*. – Размножение благословенного Царствующего рода Романовых: – народ привык за него молиться в храмах; – прекратить браки с немецкими принцессами* было бы невыгодно потому – что германская *кровь очень государственна* – но можно восстановить и браки с русскими дворянками (или даже ввести и браки с девицами различных союзных племен). Брать – даже можно русскую или греческую крестьянку или полу-дикую жительницу Индии и Кавказа, *если она породиста и сильна*. – Обращать при этом внимание на *атавизм* и его выгоды.

VI. – *Отношение к сектам и др. верам*. – Предпочитать вообще *Веры и Секты мистико-пластические* (скопцы, мормоны, – Хлысты, Мусульмане, и т.д.) религиям и сектам *разрушительно-рационалистическим* (Лютеране, Молоканы, Редстокисты и т.д. …)

VII. – *Эстетический аскетизм*; – перемена одежды и обычаев, новые пляски… Предпочтение стеснительной и упражняющей *роскоши*, рациональному и все-распускающему *комфорту*. –

* * *

О Самодержавии я не упомянул, ибо оно есть conditio sine qua non, – это ось всего движения, рычаг, – *срединный столп*; – оно-то – и называется у меня той Премудростью научно-сознательной или практическ<ой> полу-сознательной, – которая должна постепенным ходом дел – создать себе тот *дом*, тот *культурный храм*, который будет утвержден на этих 7 столпах, и я хочу надеяться на целый нормальный государственный период, т.е. на 1000 или 1200 лет. – Больше нельзя: – и то, вероятно, много. – Дело не в вечности, – а в *великом следе*. –

* Разумеется – надо по-прежнему обращать их в *Православие*.

Россия в западном зеркале: отражения и искажения

[Post scriptum]

Русский вопрос в истории политики и мысли: Антология / Под ред. А.Ю. Шутова, А.А. Ширинянца. М.: Издательство Московского университета, 2013. 624 с.: ил.

Русский вопрос и линия русофобии в истории политики и политической мысли Европы XIX века (с. 6–56)

Содержание

Русский вопрос и линия русофобии в истории политики и политической мысли Европы XIX века

Уилсон Роберт. Очерк о военном и политическом могуществе России в 1817 году

Эванс Джордж. Замыслы России

Уркхарт Дэвид. Англия и Россия

Роулинсон Генри. Англия и Россия на Востоке

Вамбери Арминий. Предстоящая борьба в Индии

Копия плана европейского господства

Кюстин Астольф де. Россия в 1839 году

Мишле Жюль. Демократические легенды Севера

Кёрдеруа Эрнест. Ура!!! Или революция от казаков

Доре Гюстав. Чрезвычайно образная, увлекательная и причудливая история Святой Руси

Мартен Анри. Россия и Европа

Маркс Карл. Разоблачение дипломатической истории XVIII века

Энгельс Фридрих. Внешняя политика русского царизма

Духиньский Франтишек. Основы Истории Польши, иных славянских стран и Москвы

Пилсудский Юзеф. Россия

Ген Виктор. О нравах русских

Ширрен Карл. Лифляндский ответ господину Юрию Самарину

Экгардт Юлиус. Новая русская эра

Русский вопрос и линия русофобии в истории политики и политической мысли Европы XIX века

Замысел настоящей антологии состоит в том, чтобы проследить формирование негативных стереотипов восприятия образа России и русских в политической литературе европейских стран XIX века. При всей важности положительных интерпретаций российского участия в международных политических процессах, быта, нравов и обычаев России, – которые, безусловно, присутствовали в научных трудах и публицистике Европы того времени, – наша задача состояла в следующем. Мы попытались показать, каков был круг идей, которые зарождались и внедрялись в массовое сознание европейцев, формировали устойчивое общественное мнение в разных слоях общества, а также у представителей правящей элиты европейских государств, и относились лишь к одной, но довольно влиятельной линии в общественно-политической мысли – линии русофобии. Речь идет о так называемом «русском вопросе», который неизменно поднимали влиятельные политики, государственные и общественные деятели, публицисты – непосредственные участники политических событий Европы девятнадцатого столетия.

Что такое русский вопрос в истории политики и мысли? Это явление имеет две стороны, два основания и аспекта. Во-первых, это особенности существования так называемой «титульной нации» – русских в многонациональной империи. К XIX веку сложилось парадоксальное несоответствие ситуации в центре и на периферии огромной Российской империи, когда обитатели «окраин» (Остзейский край, Польша, Финляндия и др.) страны получали большие социально-политические и экономико-правовые преференции по сравнению с жителями центральной России. В то же время при дворе зачастую особую роль играли лица – выходцы из тех самых окраин (особенно прибалтийские немцы) или европейских стран. Во-вторых, династический характер внешней политики Российской империи, направленной на сохранение европейских монархий и политического «баланса сил» в Европе, вмешательство с этой целью во внутренние дела других государств, участие практически во всех европейских войнах привели к возникновению в массовом сознании европейцев устойчивого страха перед экспансивной силой России.

Столкновение внешнеполитических интересов России на Балканах, а затем в Центральной Азии с интересами других европейских государств, особенно Великобритании, агрессивная политическая пропаганда этих стран, акцентирующая культурные противоречия, которые не так четко обнаруживались в высших слоях европейского и русского обществ, но становились весьма заметными при столкновении с простым русским народом, который был объявлен европейскими писателями и журналистами «варварским», «азиатским», «коварным» и «кровожадным», – все это обусловило превращение русофобии в устойчивый элемент общественного сознания европейцев.

В свое время замечательный русский мыслитель И.А. Ильин в небольшой статье «Мировая политика русских государей» (1949), перечисляя характерные черты отношения Запада к России в XIX веке, обнаружил в Европе целое «гнездо дурных аффектов: страха, высокомерия, вражды, зависти и невежественной клеветы…». Емкая, точная и выразительная формула Ильина, разъясняющая суть такого отношения, сводится к следующему: «Европейцам “нужна” дурная Россия: **варварская**, чтобы “цивилизовать” ее по-своему; **угрожающая своими размерами**, чтобы ее можно было расчленить; завоевательная, чтобы организовать коалицию против нее; **реакционная**, чтобы оправдать в ней революцию и требовать для нее республики; **религиозно-разлагающаяся**, чтобы вломиться в нее с пропагандой реформации или католицизма; хозяйственно-несостоятельная, чтобы претендовать не ее «неиспользованные» пространства, на ее сырье или, по крайней мере, на выгодные торговые договоры и концессии. Но если эту “гнилую” Россию можно стратегически использовать, тогда европейцы готовы заключить с ней союзы и требовать от нее военных усилий “до последней капли ее крови”»[1].

В данном случае Ильин «осовременил» понятие, которое, как принято считать, впервые ввел в общественный оборот Ф.И. Тютчев[2], указывавший, что в основе «русофобии» – ненависть, пламенное, слепое, неистовое враждебное настроение против России[3].

Возникновение образа России – «чудовища», «людоеда 19-го века»[4] – в общественном сознании европейцев, с точки зрения Тютчева, было обусловлено глубинными причинами, лежащими в основе цивилизационных различий Западной и Восточной Европы (то есть России – законной сестры христианского Запада, не феодальной и не иерархической, но потому самому еще более искренне-христианской, целого мира, единого по своему началу, солидарного в своих частях, живущего своею собственною органическою, самобытною жизнью[5]), непониманием общественной системы, цивилизации, которая сменит западную: «Западные люди, судящие о России, – это нечто вроде китайцев, судящих о Европе…»[6]. К «непониманию» присовокупляется «нравственная безответственность»[7]. При этом, как тонко подмечал Тютчев, общественное мнение раздражают против России не реальные «несовершенства нашего общественного строя, недостатки нашей администрации, положение низших слоев нашей народности»[8], а сами начала цивилизации (история без феодализма,

[1] *Ильин И.А.* Мировая политика русских государей // *Профессор И.А. Ильин.* Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг. Т. I. Париж: Издание Русского Обще-Воинского Союза, 1956. С. 93.

[2] В.В. Кожинов в своих работах («О русском национальном сознании», «Пророк в своем отечестве (Федор Тютчев – Россия век XIX)», «Судьба России: вчера, сегодня, завтра»), указывая на то, что именно Тютчев ввел в общественно-политическую лексику слово «русофобия», в качестве доказательства приводил слова из письма поэта дочери Анне от 26 сентября 1867 года: «Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это *русофобия* некоторых русских людей – кстати, весьма почитаемых. […] в явлении, которое я имею в виду, о принципах как таковых не может быть и речи, здесь действуют только инстинкты, и именно в природе этих инстинктов и следовало бы разобраться». Тютчев здесь говорит о русских либералах-западниках.

[3] *Тютчев Ф.И.* Россия и Запад: книга пророчеств. М., 1999. С. 191.

[4] Там же. С. 176.

[5] Там же. С. 182.

[6] Там же. С. 100.

[7] Там же. С. 191.

[8] Там же. С. 193.

религиозной борьбы, папской иерархии, имперских войн, инквизиции, рыцарства; наличие единства и «основного начала», которое «не уделяет достаточного простора личной свободе, оно не допускает возможности разъединения и раздробления»[1]). В связи с этим он также отмечает инстинктивный характер русофобии, возникающей у западных людей перед лицом материальной силы России. Это инстинктивное чувство – «нечто среднее между уважением и страхом – то чувство awe (благоговейного страха. – *Авт.*), которое испытывают только по отношению к Власти»[2].

* * *

Большую роль в восприятии России и русского народа русофобия играла в Британской империи[3]. Для этого существовали определенные основания. Во-первых, Россия и Британия на протяжении XIX века довольно часто оказывались по разные стороны баррикад как в Европе, так и на Востоке. Во-вторых, британская внешняя политика и публицистика вдохновляли русофобские выступления в различных странах от Балтики до Тихоокеанского региона. В-третьих, многочисленные попытки британского вмешательства во внутреннюю политику России: от участия в подготовке убийства императора Павла I и поддержки различных инсургентов на Кавказе до эскалации революционного процесса.

Антироссийская публицистика в Британской империи первой половины XIX века характеризует различные этапы венской системы международных отношений, которая сложилась после создания Священного союза в 1815 г. В 1814 г. Александр I посетил Лондон и, казалось, отношения между двумя сильнейшими мировыми империями Россией и Британией были налажены. Но в последующие годы отношения между империями охладились главным образом из-за столкновения их внешнеполитических интересов на Балканах и в Турции[4]. Это иллюстрирует памфлет генерала Роберта Томаса Уилсона (1777–1849) «Очерк о военном и политическом могуществе России в 1817 году», появившийся в том же 1817 г. и выдержавший несколько изданий[5]. К этому времени за плечами автора памфлета было участие в многочисленных военных кампаниях на Европейском континенте и секретных миссиях в Османской империи (Египте и Турции)[6]. Он обрел известность военного писателя, выпустив книги о египет-

[1] *Тютчев Ф.И.* Россия и Запад: книга пророчеств. М., 1999. С. 192.

[2] Там же. С. 100–101.

[3] *Gleason J.H.* The Genesis of Rusophobia in Great Britain: A Study of the Interaction of Policy and Opinion. Cambridge, 1960; Krautheim H.-J. Öffentliche Meinung und imperiale Politik: Das britische Russlandbild, 1815 –1854. Berlin, 1977.

[4] См.: *Виноградов В.Н.* Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны. М., 1985; *Орлов А.А.* Россия и Англия в 1815–1817 гг.: от союза к охлаждению // В.А. Дунаевский. Педагог, ученый, солдат. К 80-летию со дня рождения. М., 2000. С. 224–243.

[5] *[Wilson Rober Thomas].* A Sketch of the Military and Political Power of Russia in the Year 1817. 3rd edition. London: James Ridgway, 1817.

[6] Подробнее об Уилсоне см.: *Glover M*. A Very Slippery Fellow: The Life of Sir Robert Wilson, 1777–1849. Oxford, 1978; *Samuel I.* An Astonishing Fellow: the Life of General Sir Robert Wilson. London, 1985; *Орлов А.А.* «Английский обер-шпион» или «солдат удачи»: оценка деятельности и личности генерала Р.Т. Вильсона в русской и англоязычной историографии // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Историография: Сборник материалов. М., 2005. Т. 4 / Ред.-сост. В.М. Безотосный. С. 272–286; *Он же.* «Наш английский генерал» (об отношении генерала Р.Т. Вильсона к России и к русским) // Эпоха 1812 года: Исследования. Источники. Историография: Сборник материалов. М., 2006. Т. 5: Сборник материалов: к 200-летию Отечественной войны 1812 г. / Ред.-сост. В.М. Безотосный и А.А. Смирнов. С. 154–177.

ской и польской кампаниях. Вместе с русской армией автор прошел дорогами Отечественной войны 1812 г., находился при Главной квартире М.И. Кутузова, а затем при Александре I в качестве представителя английского командования. В последние годы жизни занимал пост губернатора Гибралтара (1842–1849).

Памфлет начинается с утверждения, что борьба с Наполеоном ослабила Англию и в то же время дала возможность укрепиться США и России. Таким образом, на месте одного противника появилось три. Главную свою задачу Р. Уилсон видел в том, чтобы «выявить правду», каким образом это произошло. На первый взгляд, автор беспристрастно рассказывает о событиях предшествующих Отечественной войне 1812 г. и самих военных операциях (именно эта часть публикуется в данном сборнике), но затем анализирует новые возможности России после территориальных приобретений 1810-х гг., что придает первой части памфлета совершенно иное звучание. Рассказывая об Отечественной войне 1812 г., автор знакомит британского читателя с военными ресурсами России на тот случай, если понадобится воевать с ней, и для этого подробно разбирает все ошибки наполеоновской армии. Памфлет «Очерк о военном и политическом могуществе России в 1817 году» вызвал широкую дискуссию в Британии. Все читатели согласились с главным выводом Уилсона о том, что Россия превратилась в одну из самых мощных мировых держав, но не все согласились с тем, что это превращение представляет опасность для Британии. Памфлет Уилсона не смог подорвать приверженности Британии Венской системе международных отношений, хотя убедительно доказал, что антинаполеоновские войны и Священный союз изменили баланс сил в Европе в пользу России.

Вновь обратиться к «анализу» внешней политики России британским публицистам дала возможность Русско-турецкая война 1828–1829 гг. В первый год войны памфлет «Замыслы России»[1] опубликовал генерал британской армии Джордж де Лейси Эванс (1787–1870). Он начал военную службу волонтером еще в 1806 г., а завершил командующим вторым дивизионом Британской армии, участвуя в осаде Севастополя, битвах при Альме и Инкермане в Крымскую войну (1853–1856). Одновременно с военной службой Эванс был членом Парламента (1830–1841, 1846–1865). Он был убежден, что Россия ведет откровенно захватническую политику, и потому предлагал кардинально пересмотреть позицию Британии, которая в то время была союзницей России, совместно с ней выступала на стороне Греции и участвовала в Наваринском сражении 1827 г. против Турции. Наглядным примером русского экспансионизма для Эванса служила Русско-турецкая война 1828–1829 гг., которая, по его мнению, явно обозначила основной вектор русской внешней политики – Константинополь, чей захват для России представлял политическую и экономическую потребность. Памфлет Эванса привел к всплеску русофобских настроений в Британии и способствовал усилению противоречий между союзниками, однако британское правительство и парламент в тот момент не были готовы идти на разрыв отношений с бывшим союзником. Благоприятный момент для этого настал в 1830 г., когда партия вигов сформировала кабинет министров и на пост секретаря (министра) по иностранным делам был приглашен лорд Пальмерстон[2]. Радикализация внешней политики Британии пошла рука об руку с радикализацией антироссийской британской публицистики, самым ярким пред-

[1] *Evans de Lacy.* The Designs of Russia. London: John Murrey, 1828.

[2] О роли Пальмерстона в радикализации внешней политики см.: *Webster C.K.* The Foreign Policy of Palmerston, 1830–1841: Britain, the Liberal Movement, and the Easter Question: In 2 vol. N.Y., 1969; *Taylor A.* Palmerston and Radicalism, 1847–1865 // Journal of British Studies. 1994. Vol. 33. No. 2. P. 157–179; *Виноградов В.Н.* Лорд Пальмерстон в европейской дипломатии // Новая и новейшая история. 2006. № 5.

ставителем которой стал Дэвид Уркхарт (1805–1877)[1]. В 1833 г. он опубликовал памфлет «Турция и ее ресурсы»[2], в котором обосновал перспективы развития торговых отношений между Британской и Османской империями. Благодаря этому памфлету, Уркхарт был представлен королю Вильгельму IV и Пальмерстону, а затем направлен в Турцию для детального изучения ресурсов Турции. На следующий год Вильгельм IV предложил Уркхарту занять пост британского консула в Стамбуле, однако тот отказался, чтобы провести новую кампанию в поддержку Турции. При участии британского посла в Османской империи Понсонби Уркхарт подготовил и выпустил в свет памфлет «Англия, Франция, Россия и Турция» (1834)[3], выдержавший пять изданий, – своеобразный ответ на подписание Россией и Турцией Ункяр-Искелесийского мирного договора 1833 г., который, по мнению Пальмерстона, превратил Турцию в «вассала России».

Уркхарт и его издания стали в то время олицетворением британской русофобии. Развернутая им против России пропагандистская кампания имела ряд особенностей. Во-первых, критикуя внешнюю политику России, Уркхарт как сторонник интервенционизма предлагал практические решения по ее нейтрализации. Во-вторых, русофобия Уркхарта в действительности проистекала из его туркомании, поэтому его памфлеты были востребованы в моменты обострения российско-турецких отношений. В-третьих, Уркхарт значительно расширил круг источников, которые должны были подтвердить агрессивную политику России, в частности сделал известными широкой публике значительное число дипломатических документов, которые ему предоставили польские эмигранты и посол Понсонби.

Антироссийская кампания Уркхарта была настолько успешной, что он был назначен секретарем британского посольства в Османской империи. Именно в этот период проявился большой интерес Уркхарта к возможностям использования черкесов для противодействия продвижению России на Кавказе. В 1836 г. он в нарушение российского эмбарго на международную торговлю вдоль восточного побережья Черного моря попытался доставить оружие черкесам и тем самым вызвать российско-британский конфликт, за что был уволен с дипломатической работы. В дальнейшем Уркхарт занимался организацией комитетов по иностранным делам для пропаганды радикального патриотизма среди рабочих, особенно в период Крымской войны. К 1850-м гг. относится знакомство Уркхарта с К. Марксом, который под его влиянием начал готовить памфлеты, направленные против Российской империи и внешней политики Пальмерстона.

В связи с формированием крымской системы международных отношений Россия стала более активно использовать центрально-азиатский регион для восстановления баланса сил в Европе. Соперничество Российской и Британской империй в этом регионе получило наименование «Большой игры»[4]. Важную роль в обострении англо-российских противоречий сыграл Генри Кресвик Роулинсон (1810–1895). Начиная с 1827 г. он выполнял военные и дипломатические поручения в Персии, Британской Индии и Османской Аравии и одновременно

[1] *Lamb M.* The Making of a Rusophobe: David Urquhart – The Formative Years, 1825–1835 // The International History Review. 1981. Vol. III. No. 3. P. 330–357.

[2] *[Urquhart David].* Turkey and its Resources: its Municipal Organization and Free Trade; The State and Prospects of English Commerce in the East. London: Saunders and Outley, 1833.

[3] *[Urquhart David].* England, France, Russia & Turkey. London: James Ridgway & Sons, 1834.

[4] *Ingram E.* The Beginning of the Great Game in Asia, 1828–1834. Oxford, 1980; *Хопкирк П.* Большая Игра против России. Азиатский синдром. М., 2004; *Сергеев Е.Ю.* Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии. М., 2012; и др.

занимался изучением археологических памятников и произведений клинописи. Роулинсон равно преуспел в обеих областях, став директором Ост-Индской компании (1856–1858), членом Парламента (1858, 1865–1868), президентом Королевского географического общества (1874–1875) и Азиатского общества (1878–1881) и т.д. В 1868 г. он подготовил для Парламента «Меморандум», в котором после рассмотрения этапов продвижения России в Центральную Азию, пришел к выводу о серьезности российской угрозы для Британской Индии и британских интересов на Востоке[1]. Доводы Роулинсона нашли понимание как в Британии, так и в Британской Индии, и способствовали переходу Британии от политики «искусного бездействия» к политике «дружеского вмешательства», иначе говоря, к политике интервенционизма в Центральной Азии.

В 1885 г. произошел так называемый афганский кризис, который стал кульминацией «Большой игры» и чуть было не привел к войне между Британской и Российской империями. После захвата афганского города Пендже русские войска вступили в бой с афганскими подразделениями, которыми командовали англичане. Последние отступили. И хотя стороны воздержались от эскалации конфликта, британская публицистика продолжала требовать от Министерства иностранных дел и по делам Содружества более активных действий в этом регионе. Данное событие способствовало тому, что книга Армин Вамбери (1832–1913) «Предстоящая борьба в Индии» (1885), написанная под влиянием версии о русской угрозе Британской Индии, стала бестселлером[2]. Ее отличало не только хорошее знание региона, но и использование разнообразных российских источников. Венгерский востоковед, путешественник Вамбери (он называл себя Германом Вамбергером или Бамбергером) был свидетелем подавления российской армией венгерской революции в 1849 г. Очевидно, это и определило его антироссийские и пробританские настроения, характерные для большинства венгерских эмигрантов[3]. Общеевропейскую известность Вамбери принесло описание путешествия по Закавказью и Центральной Азии, совершенного в 1861–1864 гг. Примерно в 1868 г. он стал секретным британским агентом и тайным корреспондентом Министерства иностранных дел и по делам Содружества Британской империи. Книга Вамбери «Предстоящая борьба в Индии», как и вся его политическая публицистика 1870–1890-х гг., полная враждебности к России и отстаивавшая колониальные интересы британской короны, претендовала на роль своего рода учебного пособия для западноевропейских правительств. Однако многие из них отнеслись к ней скептически. Вамбери забросил политику и целиком отдался преподавательской и научной работе.

Особенностью британской русофобии XIX века является акцент на международных отношениях, что связано с экономическими интересами Великобритании на Ближнем Востоке и Южной Азии. Зная, что во внешней политике Британское внешнеполитическое ведомство руководствуется британским общественным мнением, собственными интересами в регионах и учитывает внешнюю политику великих держав, авторы антироссийских памфлетов одновременно решали несколько задач: формировали общественное мнение, необходимое для принятия тех или иных внешнеполитических решений; изо-

[1] Первое издание «Меморандума» вошло в книгу: *Rawlinson Henry.* England and Russia in the East: A Series of Papers on the Political and Geographical Conditionof Central Asia. 2nd edition, with additional notes. London: John Murrey, 1875.

[2] *Vambery Arminius.* The Coming Struggle for India, Being an Account of the Encroachments of Russia in Central Asia and of the Difficulties Sure to Arise Therefrom to England. London etc.: Cassell & Company, 1885.

[3] О Вамбери см.: *Bartholomä R.* Von Zentralasien nach Windsor Castle. Leben und Werk des ungarischen Orientalisten Arminius Vámbéry (1832–1913). Würzburg, 2006.

бражали внешнюю политику России в невыгодном для нее свете и, наконец, пытались убедить правительство и народ в том, что внешняя политика России наносит урон интересам Британии. Характер русофобских выступлений определялся и другими факторами. *Во-первых*, наиболее сильные антироссийские настроения были характерны для партии вигов (примечательно, что памфлеты, критиковавшие русофобские выступления, иногда подчеркнуто называли «непартийными»[1]). *Во-вторых*, антироссийская публицистика сознательно эксплуатировала народный радикализм и радикальный патриотизм[2]. *В-третьих*, заметное влияние на британскую русофобию оказывала политическая эмиграция, в частности, польская «великая эмиграция» 1830–1870 гг., венгерская эмиграция после подавления венгерской революции в 1849 г.[3], русская революционная эмиграция 1860–1880-х гг. и т.д. Справедливости ради нужно заметить, что русофобия не смогла полностью предопределить отношение к России и русскому народу в британском обществе. Не случайно и в период Крымской войны, когда в Британии велась масштабная антироссийская пропаганда, и в период Русско-турецкой войны 1877–1879 гг. правительству и парламенту страны не удавалось достичь единства по различным международным вопросам, касающимся Российской империи. Не случайно сами британцы нередко выступали с критикой русофобских памфлетов и негативных стереотипов, которые в них воспроизводились. Все это свидетельствует о живом интересе британского общества к России, о его желании получить объективное представление о русской внутренней и внешней политике, культуре и повседневной жизни[4].

* * *

Отношения России и Франции на протяжении всего XIX века складывались очень непросто и отличались нестабильностью. Вслед за колебаниями политического курса, изменялось и восприятие России французским обществом. Периоды международной политической напряженности непременно вызывали шквал негативных оценок и образов «русского медведя». Французскую русофобию этого периода можно весьма условно разделить на три периода.

Начало первому периоду напряженности было положено противостоянием европейских стран в эпоху наполеоновских войн. Агрессивная завоевательная политика Наполеона в отношении России обосновывалась мифом о якобы существующем и передающемся из поколения в поколение правителей России «завещании» Петра I. Предположительно в 1812 г. в Париже вышла книга анонимного автора «О росте Русского государства с момента его возникновения

[1] *[Bryant W.C.].* Advertisement // *Cobden R.* The Political Writing. Vol. 1. L.; N.Y., 1867. P. 158.

[2] *Taylor M.* The Old Radicalism and the New: David Urquhart and the Politics of Opposition // Currents of Radicalism: Popular Radicalism, Organized Labour and Party Politics in Britain, 1850–1914 / Ed. E.F. Biagini, A.J. Reid. N.Y., 1991. P. 23–43; *Jonathan P.* The Politics of Patriotism: English Liberalism, National Identity and Europe, 1830–1886. Cambridge, 2006.

[3] *Brock P.* Polish Democrats and English Radicals, 1832–1862: A Chapter in the History of Anglo-Polish Relations // The Journal of Modern History. 1953. Vol. 25. No 2. P. 139–156; *Hulse J.W.* Revolutionists in London. Oxford, 1970; From the Other Shore: Russian Political Emigrants in Britain 1880–1917 / Ed. J. Slatt er. London, 1984; *Miller M.* The Russian Revolutionary Emigrés 1825–1870. Baltimore; London, 1986; *Романюк С.К.* «Русский» Лондон. М., 2009.

[4] См.: *Зашихин А.Н.* «Глядя из Лондона»: Россия в общественной мысли Британии. Вторая половина XIX – начало XX в.: Очерки. Архангельск, 1994; *Орлов А.А.* «Теперь вижу англичан вблизи...»: Британия и Россия в представлениях россиян о мире и о себе (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.): Очерки. М., 2008; и др.

до начала XIX века»[1], содержащая массу тенденциозно подобранных фактов захватнической политики России. Ее автор уверяет, что в личных архивах русских императоров хранятся секретные мемуары, написанные собственноручно Петром I, где якобы изложен план (проект) политической деятельности, рекомендованный Петром вниманию своих преемников, который большинство из них выполняли твердо и неуклонно. В доказательство в книге приводилось «резюме» этого плана из 14 пунктов. В 1836 г. Фредерик Гайярде в работе «Мемуары кавалера д'Эона»[2] опубликовал копию «плана европейского господства», оставленного Петром I своим преемникам, причем указал, что она снята непосредственно на месте, в архиве Петергофского дворца. Гайярде поясняет: этот документ нашел в секретных архивах царского двора находившийся на дипломатической службе в России некий кавалер д'Эон и в 1757 г. передал его в руки короля Людовика XV.

«Завещание» имеет своей исторической основой реальную внешнюю политику России в XVIII веке, но превратно истолкованную. Более всего в «документе» просматриваются внешнеполитические интересы Франции и Польши. Автор «Завещания» не был знатоком внешней политики Петра I, из-за чего в тексте имеется целый ряд ошибок и нелепостей[3]. Но он верно уловил многие тенденции русской политики и связал их с Петром I, руководствуясь выработанным в XVIII веке стереотипом: Россия – творение Петра I. Мешая правду с вымыслом, автор завершал создание нового стереотипа «русской опасности», который стыковался в сознании европейцев со старым – «русского варварства»[4]. Из этого «документа» читателю становилось ясно, что у Петра I были грандиозные замыслы и что проекты эти не были похоронены вместе с ним. Их осуществление таило угрозу для других европейских государств, от которой они спаслись только благодаря смерти русского императора. «Завещание» использовалось в западноевропейской антироссийской пропаганде и политической публицистике XIX–XX веков вплоть до эпохи холодной войны, неизменно «всплывая» практически при каждом обострении отношений с Россией как подтверждение мифа о «русской опасности».

Второй этап русофобских настроений во Франции XIX века наступил после непродолжительного сближения российской и французской позиций после крушения наполеоновской империи в годы Реставрации. Очередное охлаждение двусторонних отношений произошло после Июльской революции 1830 г. Воцарившегося на французском престоле Луи Филиппа Орлеанского император Николай I до конца жизни считал «узурпатором» престола, «похитившим» корону у малолетнего герцога Бордоского, внука свергнутого короля Карла X. Все это время французы так или иначе следили за происходящим в далекой России, однако их представления о ней были весьма поверхностными и расплывчатыми. Неточные, а порой и просто вымышленные сведения о близкой отставке высокопоставленных государственных деятелей России (например, наместника Царства Польского фельдмаршала И.Ф. Паскевича), о заговорах и бунтах в армии и т.п. регулярно появлялись на страницах французской печати.

Наиболее одиозной фигурой французской русофобии 1840-х гг. являлся французский литератор маркиз Астольф де Кюстин. Продолжая дело, начатое первооткрывателем жанра путевых заметок французским астроно-

[1] Des progress de la puissance Russe depuis son origine jusqu`au commencement du XIX siècle. Par M. L***. Paris, 1812.

[2] *Gaillardet Fr.* Memoires du chevalier d'Eon. T. I–II. Paris, 1836.

[3] См.: *Анисимов Е.В.* Время петровских реформ. Л.,1989. С. 416–417.

[4] См.: *Мезин С.А.* Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I. Глава V. Саратов, 2003.

мом Жаном Шапп д'Отрошем (1722–1769), совершившим в екатерининские времена путешествие в Сибирь и оставившим современникам и потомкам антирусские по своему характеру записки[1], А. де Кюстин (1790–1857) уже в новом, XIX веке добился разрешения посетить Россию и летом 1839 г. совершил поездку по стране, во время которой вел путевой дневник в эпистолярном жанре. Первое издание 36 писем, написанных Кюстином в России, вышло в Париже в мае 1843 г. под названием «La Russie en 1839» (1–4 vol.), затем, в ноябре того же года, вышло второе, исправленное и дополненное издание. Третье и четвертое издания «России в 1839 году» вышли в 1846 г.; пятое – в 1854 г.; шестое – в 1855 г. Книга имела шумный успех у европейцев, ее перевели на немецкий и английский языки, неоднократно переиздавали. В России книгу Кюстина запретили, и первые отрывки из нее были переведены на русский язык и опубликованы лишь в 1891 г. Полностью путевые записки де Кюстина были переведены на русский язык, прокомментированы и изданы В.А. Мильчиной и ее коллегами[2] в 1996 г. Европейский успех книги и неприязненное отношение к ней и к ее автору в России во многом обусловили зоологический характер русофобских эскапад Кюстина. При всем уважении к некоторым нашим современникам, сумевшим разглядеть в писаниях Кюстина «любовь» и даже «восхищение» Россией[3], вынуждены признать, что Кюстин в своих письмах недвусмысленно демонстрирует презрение к варварской стране, кишащей насекомыми и …холопами, смысл жизни которых – страх и подчинение деспотизму высшей власти в лице немецкого императора. Последнему Кюстин выказывает известное сочувствие[4]. И если одна часть «холопов» – представители российской знати, продемонстрировав «чудовищную смесь византийской мелочности с татарской свирепостью, греческого этикета с азиатской дикой отвагой»[5], буквально очаровали Кюстина, то «простой народ» – русские крестьяне, мещане, купцы, солдаты и прочие жители России и ее столицы – в большинстве своем предстают в описании Кюстина хитрыми, вороватыми, лукавыми, жестокими, уродливыми физически представителями немецко-шведско-ливонско-финско-калмыцко-татарско-славянской смеси[6], жизнь которых проходит в антисанитарных условиях своеобразного симбиоза людей с клопами и тараканами. Неслучайно русское общество снизу доверху пронизано страхом, насилием, духом беззакония, шпионством. В нем господствует бескорыстное и безотчетное раболепство. Резюме Кюстина, «изучившего» за пару месяцев русский народ, крайне негативно: «русского народа еще и нет – есть только императоры, имеющие

[1] «Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 г.; содержащее отчет об обычаях и традициях русских, состоянии государственных дел этой державы; географическое описание и нивелирование дороги от Парижа до Тобольска, астрономические наблюдения и опыты с природным электричеством…» (Париж, 1768).

[2] *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году: В 2 т. / Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной; коммент. В. Мильчиной и А. Осповата. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. Серия «Записи Прошлого».

[3] См.: *Кожинов В.* Маркиз де Кюстин как восхищенный созерцатель России. К 160-летию знаменитого путешествия (URL: http://www.patriotica.ru/enemy/kozh_kustin.html).

[4] «Сомнений больше нет; все решено: я вынес наконец суждение о Николае I… Это человек с твердым характером и непреклонной волей – без этих качеств невозможно стать тюремщиком третьей части земного шара; но ему не хватает великодушия: его злоупотребления властью слишком убедительно мне это доказывают» (*Кюстин А. де*. Россия в 1839 году / Пер. с фр. О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. СПб.: Крига, 2008. С. 357).

[5] *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году / Пер. с фр. О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. СПб.: Крига, 2008. С. 93.

[6] Там же. С. 186.

рабов, и вельможи, также имеющие рабов; народа все они не образуют»[1]. При этом народ, которого, по Кюстину, «еще нет», обладает «необузданной страстью к завоеваниям»[2] и угрожает Европе: «Россия видит в Европе свою добычу, которая рано или поздно ей достанется…»[3].

Третий период всплеска русофобских настроений во Франции связан с Крымской войной 1853–1856 гг. Этот период отмечен наиболее острыми выпадами в адрес Российской империи со стороны всего европейского сообщества. В Европе появилось множество газетных и журнальных статей, карикатур, памфлетов и целых работ, посвященных описанию варварской и дикой природе русских и русского государства.

Французский историк Жюль Мишле (1798–1874) в начале 1850-х гг. написал цикл статей о России. Поводом к написанию этих статей послужило его знакомство с изданным на французском языке в 1851 г. сочинением А.И. Герцена «О развитии революционных идей в России»[4]. Для Мишле, сочувствующего декабристам и полякам, Россия была самой настоящей «империей зла»[5]. Опираясь на сведения, почерпнутые из работ Герцена и прусского экономиста А. фон Гакстгаузена[6] о русской сельской общине, Мишле делает нелестные выводы о русском народе и государстве в целом. Положение дел в России Мишле описывает так: «Чудовищная жизненная мощь, чудовищная плодовитость, которая грозила бы страшными опасностями всему миру, не будь она уравновешена другой, не менее чудовищной силой – смертью, которой прислуживают два расторопных помощника: ужасный климат и еще более ужасное правительство»[7]. Восхищаясь проницательностью А. де Кюстина и его работой «Россия в 1839 году», Мишле заимствует у него ряд характеристик русского народа, приводит примеры ужасающей безнравственности русского человека в семье, анализирует его рабское положение в «общинном коммунизме» и заключает, что «глядя на русских, ясно понимаешь, что это племя пока не развилось до конца. Русские – еще не вполне люди»[8], а само русское государство – это «царство лжи» и «крещендо обманов, мнимостей, иллюзий»[9]. По мнению Мишле, единственное, что может спасти Россию, – это свержение деспотической власти императора. Резкость суждений Мишле о русском народе вызвала протест даже Герцена, который осенью 1851 г. опубликовал в Ницце на французском языке брошюру «Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле»[10], где оспорил утверждение,

[1] *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. С. 637.

[2] «В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям – одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тирани ческой власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности» (*Кюстин А. де.* Россия в 1839 . С. 641).

[3] *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. С. 642.

[4] *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. 7. О развитии революционных идей в России. Произведения 1851–1852 годов. М.: Издательство Академии наук СССР, 1956.

[5] См.: *Мишле Ж.* Демократические легенды Севера / Пер. с фр. В. Мильчиной // Отечественные записки. 2007. № 38 (5).

[6] *Гакстгаузен А.* Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России. Ганновер, 1847.

[7] *Мишле Ж.* Демократические легенды Севера. С 52.

[8] Там же. С. 155.

[9] Там же. С. 158.

[10] *Герцен А.И.* Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле / Русская социально-политическая мысль. 1850–1860-е годы: Хрестоматия / Сост.: И.Ю. Демин,

«что Россия не существует, что русские – не люди, что они лишены нравственного смысла»[1], и призвал отличать русский народ от «византийско-немецкого правительства», народную Россию – от России официальной.

В середине XIX века во Франции появлялись и весьма экзотичные представления о России. Эрнест Кёрдеруа (1825–1862) – революционер, публицист, анархист предложил свое ви́дение России и ее будущей роли в европейской судьбе. Под впечатлением идей Ш. Фурье, П. Леру и П.-Ж. Прудона Кёрдеруа сосредоточил свои интеллектуальные усилия на пропаганде анархистских идей братства и сопротивления угнетению и в 1854 г. опубликовал работу «Ура!!! Или революция от казаков». Накануне и во время Крымской войны «казачья» тема активно эксплуатировалась во французском театре и во французской прессе, причем казаки рисовались самыми черными красками. Кёрдеруа трактует популярную фигуру по-своему. Казак, по его определению, это всякий угнетенный. Книга Кёрдеруа – плод разочарования автора во французском революционном движении. Ход его мысли прост: коль скоро Франция не способна измениться самостоятельно, пусть ей помогут в этом русские завоеватели варвары; коль скоро западная цивилизация обветшала и прогнила, пусть ее уничтожит войско Николая I. Осенью 1854 г., когда Франция уже полгода находилась в состоянии войны с Россией, позиция эта стала настоящим вызовом западному обществу[2].

Сведения о России Кёрдеруа, как и Ж. Мишле, почерпнул по преимуществу из изданной в 1851 г. на французском языке книги Герцена «О развитии революционных идей в России». Доказывая неизбежность падения европейской цивилизации, Кёрдеруа первую же главу посвящает «общему изложению причин, обусловливающих неизбежность завоевания Западной Европы Россией»[3]. Кёрдеруа считает Россию варварской страной, а единственной миссией русского народа – «завоевывать и разрушать»[4]. «Такой силы, единой, сплоченной и более могущественной, нежели та, благодаря которой существует сегодня Франция, силы послушной, дисциплинированной, вышколенной деспотическим правлением; рабски покорной, в отличие от той, на которую опирается сегодня Франция, силы воинственной и завоевательной, слепой, глухой и немой, разрушительной, презирающей условности и требования чести, кровожадной и более беспощадной, нежели все *сентябрьские* и *декабрьские* убийцы во Франции[5], силы, не считающейся ни с какими потерями, ни с какими бедствиями и беспрестанно возрождающейся в лоне нации, которая может и хочет до бесконечности поставлять новых солдат и новые боеприпасы, в отличие от Франции, которая этого не может и не хочет, – такой силы я не нахожу нигде, кроме как в России»[6]. Французским авторам нельзя отказать в исключительной образности и яркости речи. Рисуя устрашающий всякого европейца образ России, Кёрдеруа пишет: «Я никогда не отводил России иной роли; я сказал, что она станет

А.А. Ширинянц; подг. текстов: А.В. Мырикова, А.М. Репьева; под ред. А.А. Ширинянца. М.: Издательство Московского университета, 2012.

[1] Там же. С. 453.

[2] См.: *Кёрдеруа Э.* Ура!!! Или революция от казаков / Пер. с фр. В. Мильчиной // Отечественные записки. 2007. № 38 (5). С. 159.

[3] Там же. С. 160.

[4] Там же. С. 164.

[5] Сентябрьские убийцы – участники массовых убийств аристократов в парижских тюрьмах 2–5 сентября 1792 г.; декабрьские убийцы – сторонники Луи-Наполеона Бонапарта, будущего Наполеона III, который в ночь с 1 на 2 декабря 1851 г. совершил государственный переворот; попытки защитить распущенное Луи-Наполеоном законодательное собрание были жестоко подавлены (в Париже было убито около 400 человек). *Примеч. В. Мильчиной.*

[6] *Кёрдеруа Э.* Ура!!! Или революция от казаков. С. 162.

дубиной, которая расплющит западные страны с их интересами, станет мечом, который разрубит гордиев узел монополии. Только моим противникам из *злободневных политических листков* могло прийти на ум, будто я приписываю русской силе интеллектуальное могущество»[1].

В это же время во Франции увидела свет еще одна необычная и по форме, и по жанру работа, посвященная России, – «История Святой Руси...»[2] (1854). Название книги обманчиво. Ее автор Гюстав Доре (1832–1883) – не историк, а французский живописец и график. Не имея специального художественного образования, но с детства проявляя свой талант, Доре получил широкую известность как иллюстратор.

Первая его самостоятельная работа «История Святой Руси...» стала реакцией на политические события Крымской войны (1853–1856). Происхождение России, ее история, политическое устройство получили у Доре фантастическую и язвительную интерпретацию. Сам жанр работы был новаторским для XIX века, она представляет собой графический роман – вид визуальной повести, состоящей из гравюр и текста, прообраз будущих комиксов. Сочетая карикатурные изображения с колкими комментариями к ним, Доре создает сатирический образ России.

Это подчеркивается уже в самом названии – «Чрезвычайно образная, увлекательная и причудливая история Святой Руси по старинным источникам и историкам: Нестору, Никону, Сильвестру, Карамзину, Сегюру и др. в 500 рисунках с комментариями». Свой труд Доре начинает с рисунка «черного квадрата», поясняя, что «в непроглядной тьме затеряно начало Истории России»[3], а первый русский появился в результате «порочной связи» белого медведя и моржихи[4].

Прослеживая историю России, Доре намеренно искажает последовательность правителей, родственные связи и даже имена. Например, период феодальной раздробленности XII–XIII веков он описывает так: «...как только трон перешел к Андрею, вся страна легла перед ним на брюхо, дабы вновь восторжествовал мир и всеобщее благоденствие. За Андреем следовал Бруталеслав, великий охотник. За Бруталеславом следовал Бафресслав, большой обжора. За Бафресславом следовал Куатшеслав, непревзойденный оратор. За Куатшеславом следовал Флитцеслав, самый меткий лучник. За Флитцеславом следовал Плумпсислав, ловкий прыгун. За Плумпсиславом следовал Калослав, красавец из красавцев. За Калославом следовал Вутислав, облаченный в доспехи. <...>»[5]. Ряд иллюстраций Доре сопровождает насмешливыми стихотворными подписями[6]. Новаторская по жанру и форме работа Доре полна сатирической фантазии и намеков на варварскую, звериную природу русского человека и государства[7] и вполне укладывается в русло русофобии того времени.

[1] *Кёрдеруа Э.* Ура!!! Или революция от казаков. С. 163.

[2] *Доре Г.* История Святой Руси / Гюстав Доре; пер. с фр. Л. Рофварг, поэт. пер. с фр. И. Евса, отв. ред. Т. Волкова. М.: Астрель, 2012.

[3] Там же. С. 6.

[4] Там же. С. 7.

[5] *Доре Г.* История Святой Руси. С. 43–44.

[6] Например, иллюстрируя период Крымской войны, он пишет: «Когда бескрайнюю страну / вовлек в кровавую войну / царь Николай Добрейший, – / льстец, пристегнув поклон к словам, / спросил: “Не кажется ли вам, / о государь мудрейший, / что в город враг войдет вот-вот?” / Но царь заткнул бедняге рот: / “Зови гостей к обеду / и мне с утра мозги не парь, / поскольку царь на то и царь, / чтоб не проспать победу”» (*Доре Г.* История Святой Руси. С. 149).

[7] К примеру, любимой забавой детства Ивана IV Доре называет «разрывание кузнечика» (*Доре Г.* История Святой Руси. С. 87).

После окончания Крымской войны и подписания в 1856 г. невыгодного для России Парижского мирного договора, русофобские настроения как в Европе, так и во Франции обострились. Ярким примером такого обострения является творчество историка, публициста и политика Анри Мартена (1810–1883). Юрист по образованию, А. Мартен известен во Франции как авторитетный историк, член Национального собрания и Французской Академии. Именно под его руководством была опубликована «История Франции» в девятнадцати томах. Мартен отличался крайне неприязненным отношением к России. В одном из его основных трудов («Россия и Европа»,1866), возникшем под влиянием расистских идей поляка-эмигранта Ф. Духиньского, русские («московиты») описываются как склонный к деспотизму варварский народ неевропейского (туранского) происхождения, несправедливо присвоивший историю Руси.

Многочисленными историческими «фактами» обосновывая тезис о том, что русские и европейцы принадлежат к разным историческим расам – арийской и туранской, Мартен пишет о неизбежности решающей схватки между Россией и Европой. Предрекая неминуемую гибель от нашествия московитов, Мартен призывает европейские государства к объединению как единственному средству противостоять общему внешнему врагу. «Европейские народы еще слабо отдают себе отчет в том, что главной целью создания подобной федерации независимых европейских народов станет их совместная борьба против России»[1]. Отказывая русскому народу в праве считаться славянским народом, Мартен указывает на пропасть, разделяющую Россию и остальной цивилизованный мир: «Московит совершенно отличается по духу от славянина и европейца. Основные его качества – все отрицательные: отсутствие индивидуальности, всесторонней развитости, изобретательности и непременно порождаемой ей способности к самосовершенствованию, что сочетается с необычайной покорностью и умением с большой легкостью подражать другим. У московитов совершенно нет никакой расположенности к созданию свободных сообществ, если только речь не идет о религиозном сектантстве. У них нет традиции совещательных органов и институтов защиты от произвола, особенно со стороны верховной власти, оппозиция которой считается в некотором роде кощунством. Московиты не знают прав человека, у них наличествует влечение к самовластью и фанатичное преклонение перед грубой силой»[2]. Политический вывод Мартена закономерен: «Русский народ можно привести к цивилизованности только через его поражение в войне. Если Европа не победит Россию, она погибнет. Любая война между самими европейцами есть гражданская война. Война же с московитами – это битва с внешним врагом, битва за существование»[3].

Парадоксы истории привели к тому, что война случилась не между Европой и Россией, как предсказывал Мартен, а между Францией и Пруссией. Несмотря на невмешательство России в этот военный конфликт между империей Наполеона III и германскими государствами во главе с О. Бисмарком и поражение в нем Франции, отношение к России во французском обществе изменилось. После Франко-прусской войны 1870–1871 гг. Россия стала восприниматься как один из возможных союзников Франции, что в конечном счете привело к созданию в конце XIX века Франко-русского союза (1891–1917).

* * *

Сложную генеалогию имела немецкая русофобия. Ни один из членов Германского союза (1815–1866) не страдал впрямую от царского гнета. Тем не

[1] *Мартен А.* Россия и Европа. Париж, 1866. С. II.

[2] Там же. С. 100.

[3] Там же. С. 106.

менее изначально либеральное национальное движение в Германии проявляло солидарность с поляками. И не случайно здесь русофобия достигла своего первого пика после подавления польского восстания 1830–1831 гг. Но после того как в 1848 г. стало очевидно, что требование о восстановлении суверенитета Польши несовместимо с территориальными интересами Германии, восторженное отношение немецких либералов к Польше заметно остыло. Национальное собрание, заседания которого проходили в церкви Святого Павла во Франкфурте, приняло в июле 1848 г. решение в пользу «здорового национального эгоизма» против «сентиментального космополитического идеализма» – то есть против Польши. За независимость Польши и тем самым за революционный крестовый поход против России в конце концов выступили только радикальные левые. Но это свое требование они оказались не в состоянии выполнить.

И все же, несмотря на отказ от поддержки Польши, после революции 1848 г., немецкая русофобия достигла новой кульминации. Объединение Германии, предполагавшее территориальное преобразование Европы, было недостижимо без существенного ослабления позиций России. Николай I и его министр иностранных дел граф К.В. Нессельроде считали планы объединения Германии «нелепыми выдумками немецких профессоров». Поэтому многие немецкие националисты выступали за войну против России. Правда, осуществить свои планы они не смогли. Немецкие государства во главе с Пруссией сохранили нейтралитет в ходе Крымской войны, воспользовавшись в полной мере результатами поражения России.

Радикалы же в лице немецкого политического изгнанника Карла Маркса (1818–1883) нейтралитета не сохраняли. Задумав в начале 1856 г. работу по истории русско-английских отношений в XVIII веке, Маркс, по сути, написал памфлет военного времени, который затем опубликовал в газетах сторонников вождя английских русофобов Д. Уркхарта «Шеффилдская свободная пресса» и «Свободная пресса». Что же сделало задуманное историческое исследование политическим памфлетом? Для ответа воспользуемся оценками людей, которых трудно заподозрить в предвзятом отношении к идеологу марксизма. По мнению советских ученых, готовивших в перестроечное время марксовские «Разоблачения дипломатической истории XVIII века» к публикации, односторонность подхода, тенденциозность в выборе источников, ненаучный характер этих источников привели Маркса «к определенной пристрастности оценок, недостаточной объективности некоторых суждений, искажению многомерной картины исторического развития страны и ее внешней политики»[1]. Пытаясь объяснить «незавершенностью работы» недооценку Марксом «иных (кроме норманнского и ордынского) внешнеполитических влияний, среди которых первое место принадлежит византийскому с его православной церковью и высокой культурой»[2], советские ученые вынуждены были признать ряд положений работы Маркса (суждения об «антиморском» характере славянской расы, о «татаризации» страны московскими князьями, о наличии в политике Петра I «монгольских черт» и др.) не соответствующими современному уровню исторической науки и нуждающимися в критическом осмыслении. Однако незавершенностью работы и некорректным выбором источников вряд ли можно объяснить снисходительно пренебрежительное отношение Маркса к русскому народу. Так, например, насчитав большое количество чиновников-немцев в царской администрации[3],

[1] *Маркс К.* Разоблачения дипломатической истории XVIII века. Предисловие от Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС // Вопросы истории. 1989. № 1. С. 7.

[2] Там же. С. 8.

[3] См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Новый «Священный союз» // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 6. С. 156.

Маркс вполне серьезно назвал их «цивилизаторами» варварской России. По его мнению, именно прибалтийские немцы не только дали реформатору Петру дипломатов и генералов, но «в изобилии снабдили его чиновниками, учителями и фельдфебелями, которые должны были вымуштровать русских, придав им тот внешний налет цивилизации, который подготовил бы их к восприятию техники западных народов, не заражая их идеями последних»[1].

Вообще, «классики марксизма» испытывали непреодолимое отвращение к славянам в целом и к русским, в частности[2]. Так, Фридрих Энгельс (1820–1895) писал о панславизме – идее славянской взаимности, возникшей в XIX веке: «Это нелепое антиисторическое движение, поставившее себе целью ни много, ни мало, как подчинить цивилизованный Запад варварскому Востоку, город – деревне, торговлю, промышленность, духовную культуру – примитивному земледелию славян-крепостных. Но за этой нелепой теорией стояла грозная действительность в лице Российской империи – той империи, в каждом шаге которой обнаруживается претензия рассматривать всю Европу как достояние славянского племени и, в особенности, единственно энергичной части его – русских; ... той империи, которая за последние 150 лет ни разу не теряла своей территории, но всегда расширяла ее с каждой... войной. И Центральная Европа хорошо знает интриги, при помощи которых русская политика поддерживала новоиспеченную теорию панславизма...»[3].

Подводя итоги ученых штудий в области «внешней политики царизма», Энгельс в одноименной работе 1889–1890 гг. отказался от тезисов Маркса о «монгольских чертах» внешней политики России и русофильстве политики Лондона как якобы главной проблеме для понимания дипломатической истории XVIII века. В его интерпретации европейская дипломатия в целом и особенно «шовинистическая» царская политика приобретают сугубо антигерманский характер, а «основным вопросом» политической повестки дня в индустриально развивающейся России становятся не «ребяческие затеи завоевания Константинополя, Индии и мирового господства», а ожидание народной социальной революции[4].

Справедливости ради нужно сказать, что, в отличие, например, от Польши, немецкая русофобия отражала лишь одну из сторон отношения немцев к России. Среди представителей консервативного лагеря немецкого общества существовали и ярко выраженные русофильские тенденции. Достаточно назвать Франца фон Баадера, считавшего русскую церковь неиспорченной цивилизацией, и Августа фон Гаксгаузена, превозносившего преимущества русской общины. Сильные пророссийские тенденции были и в высших слоях прусского общества. Но и здесь возмущение в правящих кругах Берлина вызывал тот факт, что царь рассматривал прусского короля как своего рода младшего партнера и непрестанно вмешивался во внутренние дела Германии. Они стремились освободиться от подобной опеки. И это произошло вскоре после объединения Германии в 1871 г. Пути Германии и России начинали постепенно расходиться. Еще

[1] *Маркс К.* Разоблачения дипломатической истории XVIII века // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 13.

[2] Факт русофобского отношения основоположников марксизма к России и русскому народу обусловливался не только классовой ненавистью вождей пролетариата к самодержавию, но и шовинистическим отношением к славянам и личной неприязнью к деятелям русской политической эмиграции – А.И. Герцену, М.А. Бакунину, П.Н. Ткачеву и др., к тем, с кем они сталкивались в своей повседневной борьбе за лидерство в европейском рабочем и социалистическом движении.

[3] *Энгельс Ф.* Революция и контрреволюция в Германии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 56.

[4] *Энгельс Ф.* Внешняя политика русского царизма // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 47.

в 1871 г. Вильгельм I рассыпался в благодарностях русскому царю за нейтралитет России в франко-германской войне. Но уже некоторое время спустя идея неизбежности борьбы между славянами и германцами, о которой так много рассуждали как в России, так и в Германии, стала реальностью.

* * *

Наряду с «внешней», западной русофобией, русофобские настроения, русофобские образ мыслей и действий имели место и в Российской империи. Обратил внимание на это Тютчев, трактовавший русофобию как многогранное явление. Наряду с «внешней» русофобией западноевропейского общества, с соединенными «в одном общем чувстве ненависти к России» «пропагандами» – католической, революционной и пр., которым вторит «насмешка эха» – западная колония образованных русских[1], он указывает на подобные проявления в самой Российской империи, причем не только в кругу либералов, нигилистов-революционеров, «польской оппозиции», остзейского юнкерства, но и в правительстве страны, где разрушающе действовала, как он ее называл, «антирусская клика»[2] – «все элементы, или нерусские по происхождению, или *анти*русские по направлению». Эта «коалиция всех антирусских в России направлений есть

[1] См.: *Тютчев Ф.И.* Россия и Запад: книга пророчеств. С. 100, 148. Российские либералы-западники, живущие и в Европе, и в России, это люди, у которых напрочь отсутствует «национальное чувство» и чья русофобия, как считает Тютчев – инстинктивна, беспринципна, не имеет никакой логики и вообще иррациональна: «Раньше они говорили нам, и они, действительно, так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т. д. и т. п., что потому именно они так нежно любят Европу, что она бесспорно обладает всем тем, чего нет в России… А что мы видим ныне? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к ней у этих господ только усиливается. В самом деле, прежние установления никогда не вызывали у них столь страстную ненависть, какой они ненавидят современные направления общественной жизни в России. И напротив, мы видим, что никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации, которые допускаются в Европе, нисколько не уменьшили их пристрастия к ней» (*Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. 27. А.Ф. Аксаковой. Петербург. Среда, 20 сент[ября] [1867] // Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. первая. М., 1988. С. 306).

[2] Говоря об «антирусской клике», Тютчев прежде всего имел в виду конкретных лиц в правительстве и управлении империей, которых противопоставлял царствующим самодержцам, находящимся вне всякой критики при жизни. «Клика, находящаяся сейчас у власти, – писал Тютчев, – проявляет деятельность положительно *антидинастическую*. Если она продержится, то приведет господствующую власть к тому, что она не только *потеряет популярность*, но приобретет *антирусский* характер». И в другом месте: «Эти отбросы русского общества, это антирусское отродье, не может не видеть в нем своего злейшего врага…» (*Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. 58. А.Ф. Аксаковой. [Петербург]. 2 января [1869] // Литературное наследство. Т. 97. С. 352). Это – «клика, которая захватила власть и влияние и путает Россию, а не правит ею» (*Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. 58. И.С. Аксакову. С.-Петерб[ург]. Среда, 19 февраля [1869] // Литературное наследство. Т. 97. С. 355). Министров Тютчев называл «подлецами», а действия правительства характеризовал как «явное бесстыдство», «явную глупость» и т. п. (см.: *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. А.Ф. Аксаковой. Петербург. 7 декаб[ря] 1870 // Литературное наследство. Т. 97. С. 365; и др.). При этом Тютчев был искренним монархистом, сторонником и идеологом, теоретиком имперской идеи, о «классовой» основе власти не рассуждал, считая таковой основой и критерием ее божественное происхождение и нравственность ее представителей (см.: *Тютчев Ф.И.* Письмо к А.Д. Блудовой от 28 сент[ября] 1857 г. // *Тютчев Ф.И.* Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 184 и др.). Рассуждая о русофобской «клике» в правительстве, он исходил из того, что действия этих людей прежде всего разрушали русскую печать, препятствовали формированию самосознания русского общества, что и делало эту клику собственно «русофобской».

факт очевидный, осязательный… в состав этой коалиции вошли, вопреки своей разнородности, и польская шляхта, и остзейские бароны, и петербургские нигилисты, штатные и заштатные. Их связывает одно – отрицательное начало, т. е. врожденная или привитая враждебность ко всему русскому…»[1]. Из этих проявлений, которые описал и подверг резкой критике Тютчев, складывается образ русофобии «внутренней».

Одной из составляющих «внутренней русофобии» в России XIX века стали, по мнению Тютчева, «нигилисты» и «польский элемент», которых он вслед за М.Н. Катковым объединяет, усматривая в нигилистических, революционных поползновениях подпитывающую их поддержку поляков и подозревая даже в выстреле Каракозова «польскую интригу». «Нигилисты», как считал Тютчев в начале 1860-х годов, – «заблудшие овцы», скот, взбрыкивающий время от времени: «Я сейчас прочитал в словаре Даля слово брык, и вот как он его определяет: беготня скота, когда в знойное оводное время, задравши хвост, мятется туда и сюда и ревет… Итак, скажем с буквальною точностию: брык нашего молодого поколения – нашей Jeune Russie»[2]. Роль овода для нигилистов выполняет полиция и в целом власть, «которая за недостатком принципов и нравственных убеждений переходит к мерам материального угнетения, тем самым превращается в самого ужасного пособника Отрицания и Революционного ниспровержения»[3]. Нигилистов, которыми «все более и более наполняется земля Русская, как каким-то газом, выведенным на божий свет животворной теплотой полицейского начала»[4], Тютчев считает «выродками человеческой мысли», порожденными не только западными влияниями, но и произволом и подавлением мысли в самой России. В том, что революционные социалистические теории, которые исповедовали нигилисты, связаны с анархией, безверием и безнравственностью, и провоцируются запретами, подавлением, неумением власти противопоставить им адекватные идеологические меры, еще раз убедительно показал первый политический процесс в России – суд над «нечаевцами» 1871 г., заседания которого посещал Тютчев. Тютчев был глубоко убежден, что репрессивные меры материального воздействия в отношении любого проявления зла не всегда единственно годное и возможное оружие: «порой это оружие становится негодным, – негодным в силу того, что оно дает ощущение мнимой безопасности, позволяющее забывать о необходимости иметь гораздо более эффективное оружие»[5]. «Вредным» теориям, социалистическим иллюзиям и «движениям сердца» революционеров нужно противопоставить подлинные принципы консерватизма Самодержавия и духовности православной Церкви, нравственно переубедить заблудшее молодое поколение, о чьих бреднях возможно даже будут когда-то в будущем вспоминать с

[1] *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. А.И. Георгиевскому 1864–1866. 5. Ницца. 2/14 января 1865 // Литературное наследство. Т. 97. С. 387.

[2] *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. 27. И.С. Аксакову. [Петербург.] 23 октября 1861 // Литературное наследство. Т. 97. С. 263.

[3] *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. 72. А.Ф. Аксаковой. Петербург. 4 января 1872 // Литературное наследство. Т. 97. С. 374.

[4] *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. 27. И.С. Аксакову. [Петербург.] 23 октября 1861 // Литературное наследство. Т. 97. С. 263.

[5] *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. 72. А.Ф. Аксаковой. Петербург, 4 января 1872 // Литературное наследство. Т. 97. С. 374.

грустью[1]. В этом его поддерживал М.П. Погодин. В одной из последних своих книг «Простая речь о мудреных вещах», выдержавшей за три года три издания, Погодин, рассуждая о нигилизме и нигилистах, пришел к выводу, что «недоучившихся студентов, озлобленных семинаристов и самоучек-дилетантов», то есть невежд, забывших Бога и «собирающихся строить новое общество… на крови и в грязи», нужно не наказывать, а убеждать и учить[2]. В этом отношении Погодин был абсолютно прав. Погодинский критический вывод о невежестве радикальной интеллигенции получил историческое и социологическое подтверждение и был не раз поддержан русскими мыслителями.

* * *

Катков, Тютчев, Погодин, Аксаков и многие другие их современники не случайно объединяли русских радикалов-нигилистов с польскими инсургентами. Практически для всех русских консерваторов «**крамольно-католическая Польша**» – фанатическая последовательница Запада и постоянная изменница «относительно своих братий» – славян[3]. Подчеркивая степень влияния поляков на оппозицию русскому самодержавию, Тютчев отмечал: «Перестав ощущать себя русскими, становятся не космополитами, а непременно, неизбежно – поляками»[4]. Если нигилисты, как полагал Тютчев, враги не очень серьезные, то «польские ксендзы», «польская шляхта», «польская эмиграция», не «польская народность», а именно они – враги особенные, опасные, сознательные и целеустремленные[5]. Русский историк и этнограф А.Ф. Гильфердинг, немец по происхождению, родившийся в Варшаве, прямо указывал на то, что польская шляхта – это «организм разложившийся и уже неспособный к новому развитию»[6]. В свою очередь, Погодин считал, что «шляхта нынешняя, как древние евреи, изведенные из Египта, должна погибнуть в сорокалетнем странствии по пустыне европейской, а новая Польша с освобожденными крестьянами и городами должна начать новую жизнь, новую историю, в соединении с Россиею»[7]. Таким образом, в русской политической мысли четко различали интересы польского народа и польской шляхты. События эпохи освобождения крестьян и реформ шестидесятых годов в России и Польше[8], когда либеральные действия правительства России упорно «не замечались» польской шляхтой и польской эмиграцией, продолжавшими «протестовать, казнокрадствовать, распускать фальши-

[1] *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. 74. А.Ф. Аксаковой. Петербург. Пятница, 28 сентября 1872 // Литературное наследство. Т. 97. С. 378.

[2] *Погодин М.П.* Простая речь о мудреных вещах. М., 1873. С. 19, 135 и др.

[3] См.: *Тютчев Ф.И.* Россия и Запад: книга пророчеств. С. 143.

[4] *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. 11. А.Ф. Аксаковой. Петербург. 20 декабря 1866 // Литературное наследство. Т. 97. С. 279.

[5] См.: *Тютчев Ф.И.* Россия и Запад: книга пророчеств. С. 143; *Он же*. Письма к московским публицистам. И.С. и А.Ф. Аксаковым. 1861–1872. 11. А.Ф. Аксаковой. Петербург. 20 декабря 1866 // Литературное наследство. Т. 97. С. 279.

[6] См.: *Гильфердинг А.Ф.* Положение и задача России в Царстве Польском // Русский инвалид. 1863. № 254, 16 ноября, № 255, 17 ноября.

[7] *Погодин М.П.* Польский вопрос // *Погодин М.П.* Статьи политические и польский вопрос (1856–1867). М., 1876. С. 330.

[8] Как отмечает Погодин, «крестьяне польские сделались такими же собственниками, как и русские; города освобождены от феодального ига, убежища праздности (и политических козней), лишние монастыри, ограничены. Наконец, в последнее время объявлена широкая амнистия: тысячи сосланных за участие в мятеже семейств возвращены на родину, следствия прекращены, конфискации остановлены» (*Погодин М.П.* Польский вопрос. С. 329).

вые ассигнации, поджигать и требовать не только границ 1772 года, но даже Киева!», убедили их в том, что польская шляхта совершенно чужда не только славянам, но и польскому народу. Шляхта эта, во-первых, имеет западное, кельтическое или романское происхождение; во-вторых, «пришельцы в Польше никогда не соединялись с туземцами, как соединились они у нас и в других странах». Поэтому, приходит к выводу Погодин, «шляхта и народ составляют там (в Польше. – *Авт.*) до сих пор два совершенно различные общества»[1]. Как не без оснований представлялось Погодину и другим русским консерваторам, космополитической, клерикальной, неразрывно связанной с изжившими себя традициями феодальной анархии и сословного эгоизма, обращенной целиком в прошлое шляхте противостояло самобытное, неосознанно хранящее исконно славянские начала крестьянство.

В свете исторических реалий такая позиция русских мыслителей не вызывает никакого удивления. К этому времени противоречия между Польшей и Россией имели уже вековую традицию. Польский вопрос, наверное, был самым острым вопросом внутренней политики России на протяжении большей части XIX века. Этот вопрос, оказавшийся в центре внимания различных политических сил как в России, так и в Европе, в конечном счете, обусловил разделы Польши 1772, 1793 и 1795 гг., так или иначе повлекшие за собой длинную цепь трагических событий, среди которых польские восстания 1830–1831 и 1863–1864 гг. и последующие неудачные попытки царской администрации инкорпорировать Польшу в состав Российской империи. Многие исследователи совершенно справедливо склонны связывать «падение Польши» с глубочайшим и затянувшимся внутренним кризисом, разложением польского государственного строя, всевластием и своекорыстием шляхты, использованными соседями Речи Посполитой, в первую очередь Пруссией и Австрией, а также Россией, для территориальных приращений за ее счет. Большинство историков считает основным архитектором разделов прусского короля Фридриха II, рассматривая роль России как вынужденную обстоятельствами Русско-турецкой войны 1768–1774 гг., для успешного окончания которой было необходимо нейтрализовать открытое противодействие Австрии и скрытое – Пруссии[2].

С особой силой русско-польские противоречия обострились после ноябрьского восстания 1830 г., которое стало своего рода рубежом во взаимоотношениях Петербурга и Варшавы. До тех пор предпринималось немало попыток склонить к лояльности шляхту включенной в состав России части Польши. Почти парадоксом кажется то, что из всех держав, принимавших участие в разделе Польши, именно в самодержавной России эти усилия предпринимались к началу XIX века особенно широко. Не в последнюю очередь это было связано с полонофильскими и либеральными симпатиями Александра I, которые он проявлял до 1812 г. «Польши больше нет, но мы продолжаем жить как поляки в Польше» – таково было ощущение жителей Восточной Польши. И даже «флирт» Польши с Наполеоном практически не повлиял на характер русской политики в Великом герцогстве Варшавском, политическое и военное руководство которого было сохранено в королевстве Польском, созданном на Венском конгрес-

[1] *Погодин М.П.* Польский вопрос. С. 330.

[2] Именно такой точки зрения придерживался, например, Погодин – автор «национальной» концепции, согласно которой Россия, участвуя в разделах Польши, только возвращала в свой состав украинские и белорусские земли, не присоединив ни пяди территории коренной Польши. Он, как и многие русофилы-патриоты (по крайней мере в России XIX в.), высказывал в адрес Екатерины II едва ли не единственный упрек – в усилении Пруссии и передаче украинской Галиции Австрии (см.: *Погодин М.П.* Письмо к Гизо о польском вопросе // *Погодин М.П.* Статьи политические и польский вопрос (1856–1867). М., 1876. С. 399).

се. Это новое государство на Висле, несмотря на личную унию с русским царем, получило одну из самых либеральных конституций на европейском континенте. В последние годы царствования Александра I эта конституция все больше выхолащивалась. После восшествия на престол Николая I политический курс Петербурга в отношении Польши особенно обострился. И все-таки новый император в мае 1829 г. короновался в Варшаве, став королем Польши. Тем самым он подтвердил польскую конституцию, наличие которой вызывало резкий протест русских консерваторов, справедливо полагавших, что, будучи конституционной монархией, королевство Польское находилось в непримиримом противоречии со всей остальной Российской империей (если не принимать во внимание Великое княжество Финляндское или же Остзейский край, о котором речь пойдет ниже). Поэтому гнев императора и русских консерваторов по поводу «неблагодарности» «изменников–поляков» после восстания 1830 г. был совершенно правомерен.

Для «русской» Польши всегда было характерно противостояние государства и общества, расхождение иерархии общественных и государственных ценностей. С подавлением польского мятежа 1830–1831 гг., к которому присоединилась почти в полном составе правящая верхушка Польского королевства, были уничтожены остатки польской самостоятельности. «Польша должна была погибнуть; – писал Тютчев, и далее подчеркивал,– не самобытность ее польской народности, чего Боже сохрани! Но ее ложное образование, та ложная национальность, которая была ей привита»[1]. Взамен отмененной Конституции 1815 г. был введен Органический статут (1832), радикальным образом ограничивающий автономию Королевства, но и он фактически не вступил в силу. Сейм, Государственный совет и высшие судебные учреждения были ликвидированы, перестала существовать польская армия. Место собственного учебного занял Варшавский учебный округ, такой же, как в Киеве или Казани, на территории Королевства стала общеобязательной общероссийская монетная система, система мер и весов. Власти стали активно вмешиваться в дела католической церкви, развернулась кампания по обращению униатов в православие[2]. Противостояние государства, которое олицетворяла Россия, и польского общества особенно обострилось. Сложился даже некий общественный кодекс чести, запреты и заветы которого определяли жизнь в стране гораздо сильнее, чем государственные законы. Социальный престиж в глазах поляков был теперь никак не связан с государственными прерогативами, поскольку считалось, например, что поляки-аристократы, занимавшие высокие посты в аппарате управления, служили не собственной стране, а иностранному господству.

Уже накануне 1830 г. отношение большинства польской знати к России было крайне враждебным. После поражения царская империя на Висле воспринималась не просто как политический противник, но как воплощение зла, а борьба польского народа с Россией – как противостояние света и тьмы. Таким образом, конфликт перерастал политические рамки и приобретал псевдометафизический характер, когда России приписывались стремления не только к деспотическому подчинению своих собственных подданных, но и к порабощению всего «свободного мира», то есть Запада. Революционеры всех стран, указывал Тютчев, возлагают свои надежды на «возможность крестового похода против России», где «полем сражения послужила бы Польша»[3]. Около десяти тысяч польских эмигрантов, находившихся на Западе после 1831 г., продолжа-

[1] *Тютчев Ф.И.* Россия и Запад: книга пророчеств. С. 183.

[2] См.: *Дьяков В.А.* Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993.

[3] *Тютчев Ф.И.* Россия и Запад: книга пророчеств. С. 141.

ли свои споры с Россией и появлялись почти везде и всюду, где велась борьба против царской империи, став для официальных властей синонимами бунтарства и непокорности. Но своей главной победы они добились на арене европейского общественного мнения, инициировав и подпитывая то, что Тютчев назвал «русофобией». Известное резкое ухудшение образа России на Западе после 1830 г., то, что симпатии к Польше испытывали многие европейцы, а к России только немногие легитимисты, объясняется не в последнюю очередь влиянием польской эмиграции.

Примерно три десятилетия спустя после ноябрьского восстания в польско-русских отношениях наметилась разрядка. После поражения в Крымской войне и восшествия на престол Александра II в 1855 г. в России наступила, по выражению Тютчева, «оттепель», были замыслены и стали проводиться в жизнь грандиозные реформы. Не остался в стороне от политики реформ и польский вопрос. И хотя Александр II категорически отказывался восстановить конституцию 1815 г., перемена климата на Висле в конце 1850-х гг. ощущалась всеми. Была провозглашена амнистия политическим заключенным, и в результате вернулись домой из Сибири многие изгнанники. Однако и в это время польские генералы и политики уклонялись от любых шагов, которые можно было бы истолковать как коллаборационизм с русскими. Русофобское общественное мнение в Польском королевстве парализующе влияло на любые попытки нормализовать отношения между Петербургом и Варшавой. Радикалы, вопреки большинству здравомыслящих поляков, выступавших против вооруженного восстания, подталкивали страну к военной конфронтации. Их сила заключалась в том, что они в крайней форме выражали ценности, признанные всеми поляками: готовность бороться за независимость страны представляла собой моральное обязательство, от которого никто не мог отступиться. Главное значение придавалось при этом не победе, а воле к сопротивлению. Такой идеализм, в область которого переместился национальный инстинкт самосохранения поляков, вызывал недоумение и восхищение на Западе и откровенное неприятие в России, тем более что позиция многих из них теперь определялась тезисом: «Тот, кто говорит, что мы славяне, является изменником, ибо мы просто поляки»[1].

В русской политической публицистике 1860-х гг., посвященной польскому вопросу, красной нитью проходит мысль о том, что Польша, в отношении которой русское правительство осуществляло «примирительную политику» и поддерживало различные автохтонные преимущества, коих было лишено население центральной России, не сумела воспользоваться монаршим доверием и милостью и ответила на либеральные действия правительства «моральной революцией» и вооруженным мятежом[2]. Одним из примеров неумения и нежелания поляков пользоваться монаршей милостью многим представлялась «система Велепольского» – «образ управления» в Польше с июня 1861 г. до октября 1863 г. – приведший к восстанию 1863–1864 гг.[3] Тщательно анализируя проис-

[1] Цит. по: *Дьяков В.А.* Славянофильские тенденции в польской общественной мысли накануне и во время славянского съезда 1848 г. // Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994. С. 57.

[2] «Моральная революция» – по сути, кампания гражданского неповиновения, частью которой стали собрания в костелах, где под видом богослужений пелись патриотические гимны и отмечались памятные даты из истории Речи Посполитой; панихиды и крестные ходы, а также постоянное ношение траурной одежды женщинами в память о жертвах в борьбе за польскую независимость (Западные окраины Российской империи. М., 2006. С. 148).

[3] О событиях этого восстания существует обширная литература, огромный корпус источников опубликован в серии: Восстание 1863 г.: Документы и материалы. Т. 1–25. 1960–1986.

ходящее, многие русские публицисты попытались внести свой вклад в формирование как в России, так и за рубежом, релевантного истине общественного мнения, а также воздействовать на разум и совесть восставших поляков. Во время мятежа тон высказываний русской прессы по польскому вопросу был очень жестким. При этом никто не собирался огульно обвинять в преступлениях[1] весь польский народ. Эти преступления против русских, указывал, например, Погодин, «дело партии иностранных революционеров, которые имеют много других целей, кроме национальных»[2]. Такая позиция газет вполне отражала настроения, господствовавшие в русском обществе. Характерный пример – эпизод, произошедший на Славянском съезде 1867 г., когда на банкете в Сокольниках выступил чешский делегат Ф. Ригер. Перед появлением на съезде он совершил поездку в Париж, где вел переговоры с польскими эмигрантскими кругами, а теперь на съезде попытался убедить его российских участников в необходимости компромиссной политики по польскому вопросу. Ригер, в частности, согласился с тем, что поляки неправы, «отчуждая от русского народа его малороссийскую ветвь» (речь шла о Галиции), но пригласил русских согласиться, что и они неправы, когда не признают права поляков на «народное существование», хотя эта ветвь западного славянства отличается от русских и по языку, и по истории. «Докажите, что вы не желали лишить их народности», – обратился Ригер к собравшимся и выразил надежду, что «наши русские братья первые произнесут прекрасное слово христианской любви и примирения»[3]. В ответ на это заявление выступил князь В.А. Черкасский, который, в частности заявил, что Польша сама виновата в том, что растеряла свободы, дарованные ей Александром I. Он привел ряд статистических данных, свидетельствовавших, что Россия заботилась о развитии образования в Польше больше, чем в российских губерниях, что податей в привислинских губерниях взималось только по 4 руб. с жителя, а в России по 6 руб., что крестьяне при проведении реформы в Польше получили землю на более льготных условиях, чем в России. Поэтому, подчеркнул Черкасский, если поляки осознают все это и придут к нам со смиренным раскаянием, им будут «широко раскрыты наши братские объятия». В отчете о съезде после этих слов сказано: «Невозможно описать то впечатление, которое произвела речь высокоуважаемого оратора. Толпы кинулись обнимать его; со всех сторон кричали: спасибо, благодарим, благодарим»[4].

В свое время, в середине шестидесятых годов, Погодин, отмечая, что вся европейская печать «кишит» статьями о польском вопросе, что «европейские весы» в этом случае «кривы и не верны», как, впрочем, и во всех других случаях, «когда дело касается предметов, приносящих пользу или причиняющих вред России, которая до сих пор представляется в их воображении каким-то грозным призраком»[5], настаивал на необходимости жесткого ответа европей-

[1] В ночь с 10 на 11 января 1863 г. было осуществлено «ночное убийство русских солдат» группами вооруженных повстанцев, совершивших нападение на 17 русских гарнизонов; а 31 марта, в первый день православной Пасхи, был оглашен манифест об амнистии всем участникам восстания в Царстве Польском и Западном крае, не замешанным в каких-либо иных преступлениях, при условии, что они сложат оружие до 1 мая. Этот очередной жест царской милости не был принят повстанцами. Итогом восстания 1863 г. явилось поражение поляков с 30 тыс. человек убитыми, потери русских определялись в 3343 человек (из них 2169 – раненых).

[2] *Погодин М.П.* Польский вопрос. С. 366.

[3] Банкет в Сокольниках // Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в Москве в мае 1867 года. М., 1867. С. 347–348.

[4] Первый всеславянский съезд в России. Его причины и значение. М., 1867. С. 121.

[5] *Погодин М.П.* Польский вопрос. С. 327.

ским русофобам, формулирования и пропаганды русской позиции, «русского мнения», русских доказательств в пользу русского решения польского вопроса. Сделать это тем более необходимо, подчеркивал он, что в основе русофобских выступлений западной прессы лежат нелепости, подобные утверждениям некоторых «крайних поляков» о том, например, «что Россия не существует, что России нет, nema Rusi, и что Русский язык не есть Славянский язык!»[1]. Видно нет нелепости, восклицает Погодин, «которая не нашла бы себе последователей, особенно, если она служит к обвинению России, которая все еще составляет какое-то бельмо на глазу у Европы, – жаль, что не типун на языке»[2].

Одним из таких обвинителей России, был польский инсургент, «парижский профессор истории» Францишек Хенрик Духиньский (1816–1893). В ряде своих трудов, главным из которых стало сочинение «Основы истории Польши и других славянских стран, а также истории Москвы», вышедшее в трех частях в Париже в 1858–1861 гг., он «самым серьезным образом с лингвистической, исторической, этнографической и т.д. точек зрения» отстаивал догму, будто великороссы не славяне. К. Маркс, чьи слова из письма Ф. Энгельсу мы привели выше, с большим интересом отнесся к концепции Духиньского и высказался в ее поддержку: «Он утверждает, что настоящие московиты, то есть жители бывшего Великого княжества Московского, большей частью монголы или финны и т.д., как и расположенные дальше к востоку части России и ее юго-восточные части <…>. Я бы хотел, чтобы Духиньский оказался прав и чтобы по крайней мере этот взгляд стал господствовать среди славян»[3]. По сути, не имеющие научной основы писания Духиньского были направлены на обоснование необходимости создания некоего буфера между «арийской» Европой и «туранской» Москвой[4]; вполне понятно, что на эту роль предназначалась независимая Польша, включающая Украину-Русь, Беларусь, Литву, Прибалтику, Смоленск и Великий Новгород.

Идеи Духиньского были с энтузиазмом восприняты польской эмиграцией, мечтающей о восстановлении «Великой Польши от моря до моря», его с восторгом приняли французские русофобствующие интеллектуалы и политики – Э. Реньо, А. Мартен, К. Делямар и др. Сам Духиньский самонадеянно заявлял, что его взгляды «никогда не будут опровергнуты, как никогда земля Польши не перестанет относиться к европейской системе, а земля Москвы к азиатской системе, разве что мы назовем Азию Европой, но и тогда будет две Европы, как, по сути, есть и сейчас, а именно: Европа до восточных границ Польши и Евро-

[1] *Погодин М.П.* Польский вопрос. С. 368. Один из конкретных случаев такого русофобского «непонимания» Погодин подверг критическому разбору в «Отповеди французскому журналисту» (6 июня 1863) (см.: *Погодин М.П.* Отповедь французскому журналисту // *Погодин М.П.* Статьи политические и польский вопрос (1856–1867). М., 1876. С. 413).

[2] *Погодин М.П.* Польский вопрос. С. 368.

[3] Маркс – Энгельсу, 24 июня 1865 // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 31. С. 106–107.

[4] «Мы видим, – писал Духиньский, – что физико-географические черты нашей Родины способствуют, с одной стороны, общности ее жителей с народами Западной Европы, так же, как происхождение жителей нашей Родины, создает, с другой стороны, ее внутреннее единство: мы видим, что физико-географические черты Московского государства как таковые отделяют его жителей от Европы, объединяя их с жителями Центральной Азии вплоть до китайской стены, так же, как объединяют их идейные и духовные потребности, следующие из их происхождения» (Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy. Wyjaśnienie rzeczy co do pomnika mającego być postawionym na pamiątkę założenia Państwa Moskiewskiego jakoby w 862 roku. F.H. Duchińskiego. Paryż: W drukarni i lit. Renou i Maulde, 1859. S. 13).

па московская, ведь Москва и сегодня составляет половину Европы»[1]. Однако идиллию разрушил О. фон Бисмарк, уничтоживший наполеоновскую Вторую империю, а вместе с ней и французскую русофобию, после чего писания Духиньского потеряли былую привлекательность, и всем «вдруг» открылись дилетантизм и политическая тенденциозность их автора.

Русское правительство после подавления восстания 1863 г. уже не интересовали польские национальные проблемы, любые компромиссы и договоры с польским обществом были теперь для него исключены. В самой Польше борьба со шляхтой и католическим духовенством велась не только силовыми военными методами, но и путем реформ, проведенных там сразу же после восстания 1863 г. Однако попытки русификации Польши ничуть не способствовали ее инкорпорации в состав империи, для все новых и новых поколений патриотично настроенных поляков главным врагом оставалась Россия, а в общественном сознании россиян сложилось негативное восприятие «поляков», которые в глазах «нереволюционной» общественности стали выглядеть мучителями русских крестьян, иудами славянского дела, религиозными фанатиками и экзальтированными носителями химерических имперских претензий давно и безвозвратно погибшей «великой Польши» и, наконец, отъявленными русофобами, инициаторами и вдохновителями любых нарушающих национально-политическое единство России движений и выступлений.

Именно в это время под Вильно – на «кресах» (восточных землях бывшей Речи Посполитой) – в родовом имении своих родителей появился на свет человек, которому суждено было сыграть особую роль в польской истории. Юзеф Клеменс Гинятович Косьчеша Пилсудский (1867–1935) не интересовался этнографическими теориями, его больше привлекали социальные и революционные идеи, поэтому он в 1884 г. «назвал» себя социалистом и поставил главной целью жизни физическое уничтожение русского государства с последующим восстановлением на его обломках новой Польши, доминирующей в Центральной и Восточной Европе.

Основатель польской армии и будущий диктатор возрожденного польского государства, Пилсудский был «всего лишь» членом ЦРК подпольной Польской социалистической партии (ППС) и редактором ее печатного органа «Рабочий», в котором поместил свою статью «Россия» (1895). В этой статье он изложил свои негативные взгляды на Россию, которых затем не менял. Суть их сводилась к следующему. Национальный характер и русскую историю, по Пилсудскому, определило долгое и тяжелое монголо-татарское иго, привившее за несколько веков русскому народу дух рабства, покорность власти и безропотность перед ударами судьбы[2]. Рассмотрев положение всех классов российского общества, Пилсудский пришел к выводу о том, что «границы между классами расплывчаты, и, имея рабское прошлое, они (классы. – *Авт.*) не обладают традицией политической борьбы и способностью к сплочению, к созданию политических партий. Единственная сплоченная сила в России – масса чиновников, эта армия самодержавия. Это также единственная сознательная сила»[3]. Надежды на русский пролетариат у Пилсудского абсолютно нет, а силой, способной разрушить самодержавие, становится… население покоренных царизмом стран: поляки, литовцы, латыши, русины (то есть народы, занимающие территории,

[1] Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy. Wyjaśnienie rzeczy co do pomnika mającego być postawionym na pamiątkę założenia Państwa Moskiewskiego jakoby w 862 roku. F.H. Duchińskiego. Paryż: W drukarni i lit. Renou i Maulde, 1859. S. 30.

[2] *Piłsudski Józef.* Wybór Pism / Wstęp Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński. Wybór i opracowanie Włodzimierz Sulej. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład narodowy imienia Ossolińskich – wydawnictwo, 1999. S. 8.

[3] *Piłsudski Józef.* Op. cit. S. 16.

принадлежащие в прошлом Речи Посполитой)[1]. Итак, все вернулось на круги своя – и у не любящего этнографию революционера Пилсудского цивилизационное превосходство поляков (а также соприкасавшихся когда-то с поляками народов) предопределяет их главенствующую роль в будущем разрушении «варварской» России...

* * *

В правительственной политике и в политической публицистике второй половины XIX века тесно связанным с польским вопросом в «балтийско-польский узел» оказался остзейский вопрос[2]. Связь польской «интриги» с сепаратистскими устремлениями остзейского дворянства для русских консерваторов-патриотов была очевидна. Очевидным для них было и то, что в основе этих устремлений в конечном счете оказывалась русофобия.

Всегда тяготевшие к Пруссии остзейские бароны составляли верхушку общества в «Остзейском крае» – Прибалтийском крае, который с 1801 по 1876 г. включал в себя три провинции – Лифляндию, Эстляндию и Курляндию, соединенные в отдельное генерал-губернаторство Российской империи. В этом крае существовал «особый режим», отличный от системы общероссийской государственности и характеризовавшийся господством немецкого языка, лютеранства, особым сводом законов, судопроизводством, управлением и т. д. Особый режим в крае сложился исторически и первоначально оформился в 1640-х гг., когда шведами был утвержден особый порядок управления и установились сословные привилегии для остзейских дворян, а после завоевания края русскими войсками был подтвержден властями России. Все это делало край, по выражению И.С. Аксакова, «музеем исторических редкостей социального и общественного устройства»[3]. В общественно-политической лексике того времени даже слово «остзеец», означавшее «прибалтийца», «немца», имело также коннотацию «сторонник “остзейского режима”». Иронизируя по этому поводу, кор-

[1] *Piłsudski Józef.* Op. cit. S. 18.

[2] Очень хорошо об этом писал И.С. Аксаков, указывая на то, что трудно не заметить аналогию «польского и немецкого дела» – схожесть поведения поляков в Западном крае и немцев в Остзейском крае Российской империи бросается в глаза. Во-первых, «как в северо-западных губерниях поляки, так и в Балтийском поморье немцы – пришельцы и не принадлежат к туземной национальности края»; во-вторых, «как там, так и здесь немцы и поляки – господа в крае, в котором представляют значительное меньшинство»; в-третьих, именно в их руках «сосредоточена поземельная собственность, социальные привилегии и все средства давления на непольские и ненемецкие массы народа»; в-четвертых, в их среде господствует «стремление в Северо-западном крае – ополячить русских и литовцев, а в балтийских губерниях – онемечить латышей и эстов»; в-пятых, «способы претворить туземную народность в польскую и немецкую – употребляются почти одинаковые: религия, школы, соблазны житейских выгод, угрозы, насилия, гонения, унижения...»; в-шестых, «высшие классы, составленные из людей чуждой краю национальности, т.е. из поляков и из немцев, – заслоняли, а в Балтийском поморье продолжают заслонять и теперь, массы сельского населения от верховной русской власти»; и, наконец, в-седьмых, «в этих массах угнетенного сельского населения – глубоко вкоренена национальная вражда к своим насильникам – к польским панам и к немецким рыцарям, – живет искреннее влечение к России, искренняя вера в Русского царя...» (см.: *Аксаков И.С.* Еще о драгоценных откровениях г. фон-Бокка // *Аксаков И.С.* Полн. собр. соч. Т. 6. Прибалтийский вопрос. Внутренние дела России. Введение к украинским ярмаркам. М.: Типография М.Г. Волчанинова, 1887. С. 81. Подобные аналогии, как считает Аксаков, полезны, так как предостерегают русское общество о новой, подобной польской (восстание и т.п.), опасности (с. 82)).

[3] *Аксаков И.С.* По поводу введения русского языка в присутственные места Остзейских провинций // *Аксаков И.С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 15.

респондент одной из русских газет предлагал: “Не следовало ли бы употреблять название “остзеец” лишь для людей, всеми силами стремящихся к сохранению средневековых предрассудков?»[1].

Социально-политическая суть «остзейского» или, как его обозначали в правительственных документах, «балтийского» вопроса, сводилась к коллизии, связанной с двухмиллионным коренным населением края – латами и эстами, которых, с одной стороны, насильственно «онемечивало» остзейское меньшинство и лютеранская церковь при полной идеологической и пропагандистской поддержке со стороны Пруссии («Почти ежедневно, – указывал И.С. Аксаков, – в большей части прусских газет, помещаются статьи, проповедующие крестовый поход на Россию из-за братьев немцев, то есть из-за немецкой колонии в 180 тыс., угнетающей 1 600 000 ненемецкого населения». У Погодина цифры немного другие, но пропорция 1:10 сохранена: «Немцев... в крае меньше 200 тысяч, а Латышей и Эстов более 2-х миллионов»[2]), с другой – стремились обрусить и прорусски настроить центральная власть и православная церковь.

Пик обсуждения этого вопроса пришелся на вторую половину 1860-х гг. по ряду причин. Во-первых, именно в это время ясно обозначились политико-культурные противоречия романского, германского и славянского миров, наметилось противостояние немецких (или скорее прусских) и русских политических интересов. Польское восстание дало импульс объединению Германии под началом Пруссии («Пруссия не страна, имеющая армию, а армия, владеющая страною»[3] и боязнь политической переориентации остзейцев на «фатерланд» стимулировали обострение проблемы русификации прибалтийских окраин империи. Любые шаги российского правительства по русификации вызывали бурную реакцию за рубежом. При этом, по верному замечанию современного исследователя, чаще всего получалось так, что становясь объектом идеологических манипуляций, «термин “русификация” не описывает явление, но оценивает его»[4].

Во-вторых, внутри России с новой силой проявилось влияние «немецкой партии» при дворе, которая, всячески поддерживая остзейских немцев, да и во-

[1] Кронштадтский вестник. № 115. 9.X.1863. Газета патриотического направления (главный редактор Петр Дмитриевич Рыкачев) выпускалась в Кронштадте морскими офицерами, начиная со 2 июля 1861 г. вначале два, а с 1862 г. – три раза в неделю.

[2] *Аксаков И.С.* По поводу «Окраин» Ю.Ф. Самарина // *Аксаков И.С.* Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 688; Из книги М.П. Погодина «Остзейский вопрос. Письмо к профессору Ширрену» // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2001. № 4. С. 65. А, например, Ц.Х. Виттекер приводит следующие данные: «Их (прибалтийских немцев. – *Ред.*) было немного по сравнению с общим населением – в 1850 г. 790 242 из 60 миллионов... Их дворянство, числом всего 5389 человек, происходило из тевтонских рыцарей, и российским властям они противопоставили тактику пассивного сопротивления» (*Виттекер Ц.Х.* Граф С.С. Уваров и его время / Пер. с англ. Н.Л. Лужецкой. СПб., 1999. С. 226.).

[3] *Погодин М.П.* Речь, произнесенная председателем Славянского комитета, у себя дома, за обычным обедом, в воспоминание о первом Славянском съезде, 16 мая, 1871 года // *Погодин М.П.* Речи, произнесенные М.П. Погодиным в торжественных и прочих собраниях, 1830–1872. М., 1872. С. 612.

[4] *Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006. С. 55. Не только противники «обрусения» и «русификации» окраин Российской империи не всегда четко понимали то, что они разумеют под этими терминами, но и у самих сторонников «обрусения» не было согласия по поводу того, что есть «русскость»: «одни отводили ключевую роль православию, другие языку и культуре, третьи – расе или крови. Как следствие, различались и представления о мерах, инструментах и задачах русификации» (*Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм. С. 69).

обще иностранцев, в карьерных и имущественных делах, тем самым, по мнению многих, пренебрегала государственными интересами России. Об этой «немецкой партии» еще в 1848 г. многозначительно писали К. Маркс и Ф. Энгельс: «… Вся русская политика и дипломатия осуществляется, за немногими исключениями, руками немцев или русских немцев… Тут на первом месте граф Нессельроде – немецкий еврей; затем барон фон Мейендорф, посланник в Берлине, из Эстляндии… В Австрии работает граф Медем, курляндец, с несколькими помощниками, в их числе некий г-н фон Фотон, – все немцы. Барон фон Бруннов, русский посланник в Лондоне, тоже курляндец… Наконец, во Франкфурте в качестве русского поверенного в делах действует барон фон Будберг, лифляндец. Это лишь немногие примеры. Мы могли бы привести еще несколько дюжин таких примеров…»[1]. Немногим изменилось положение и в царствование Александра II, когда при дворе существовала целая «проостзейская» группа (министр внутренних дел в 1861–1868 гг. П.А. Валуев, министр финансов в 1862–1878 гг. М.Х. Рейтерн и др.). Такое же положение дел сохранялось и в начале царствования Александра III. Таким образом, «воздержание» русского правительства от пересмотра остзейского законодательства объяснялось, с одной стороны, «слабым, даже до позднейших времен, сознанием национальных государственных интересов в русских правящих сферах, вследствие вольного или невольного, слепого подобострастия к «иностранной культуре»; с другой – «влиянием множества представителей прибалтийского дворянства, занимавших видные места на русской государственной службе»[2].

В-третьих, в эпоху Великих реформ, либерализации общественной жизни и наметившегося подъема международного престижа России, укрепления ее целостности и роста правового порядка во внутреннем управлении, диссонансом звучали требования остзейских немцев о расширении автономии края, который, по сути, выпадал из правового поля общероссийского законодательства, так как система «остзейского права» утверждала приоритет местных законов над общими, а препятствия, чинимые деятельности в крае православной церкви, издевательства местных баронов над «туземцами», подчеркнуто пропрусская ориентация интеллигенции, предпочитавшей давать своим детям образование в германских университетах и не «замечавшей» русской культуры – все это будоражило общественное мнение, вызывало законное возмущение русских, опасавшихся, как писал Ю.Ф. Самарин, «признания балтийского германизма за политическую национальность»; успехов германизации «туземцев», сближения их с немцами против «русских начал» за создание особого остзейского «государства в государстве»[3] – то есть всего того, что и составляло цель программы действий остзейцев. Особенное возмущение вызывало отношение к «остзейским протестантам» (выражение Тютчева[4]) – крестьянам, которые в 1840-х гг. в массовом порядке стали переходить из лютеранства в православие. Однако преследования со стороны остзейских баронов, у которых эти крестьяне находились в полной экономической зависимости (прежде всего изъятие земельных наделов), повлекли за собой обратный процесс. С начала 1860-х гг. в высшие административные сферы поступило множество заявлений о желании латышей и эстов вернуться к лютеранскому вероисповеданию.

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* Новый «Священный союз» // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 6. С. 156.

[2] *Аксаков И.С.* По случаю сенаторской ревизии в Курляндской и Лифляндской губерниях в 1882 г. // *Аксаков И.С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 133.

[3] См.: *Самарин Ю.Ф.* Окраины России. Выпуск первый. Русское Балтийское поморье в настоящую минуту // *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 8. М., 1890. С. 140–174.

[4] См.: *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам. А.И. Георгиевскому 1864–1866. 5. Ницца. 2/14 января 1865 // Литературное наследство. Т. 97. С. 388.

При этом в самой Прибалтике и в Европе считали, что особого «остзейского» вопроса не существует. Немецкая печать старалась перевести обсуждение проблемы в плоскость национальной ненависти русских к немцам, сравнительного анализа достоинств русских и немцев как наций. Именно в таком ключе писали свои «пасквили-элегии» (М.П. Погодин) Е.П. Сиверс, Э. Каттнер, В. фон Бокк и др.[1] Среди этих «пасквилянтов» особое место занимали Карл Христиан Гергард Ширрен (1826–1910) – сын лифляндского пастора, профессор, преподававший историю в Дерптском и Кильском университетах[2], и Юлиус Вильгельм Альберт фон Экгардт (1836–1908) – балтийско-немецкий писатель, автор работы «Балтийская провинция России» (1869, на немецком языке), уроженец Лифляндии, редактировавший сначала газеты в Риге, а затем перебравшийся на службу в Гамбург и даже ставший германским консулом в Цюрихе. К ним примыкал дерптский уроженец Виктор Амадеус Ген (1813–1890), которого в бытность его библиотекарем в Санкт-Петербурге называли просто Виктором Евстафьевичем.

Антирусские писания этих авторов во многом были ответом на специальные работы Ю.Ф. Самарина. Попав в 1847 г. по делам службы в Ригу в составе комиссии МВД по ревизии городского управления, Самарин два года провел в Прибалтике. Изучив городские архивы, он написал историю Риги (издана в 1852 г. в Петербурге под названием «Общественное устройство г. Риги»). В своих «Письмах из Риги» (1848) Самарин первым в русской печати дал развернутую историко-политическую характеристику Остзейского края, поднял вопрос об отношении прибалтийских немцев к России, нарушениях прав местного населения и русских людей в крае (за что был на 12 дней заключен в Петропавловскую крепость), а затем всесторонне исследовал этот вопрос в выпусках «Окраин России», изданных за границей в 1868–1876 гг., сформулировав задачу российской политики в Прибалтике: опека и поддержка дружественных у России элементов – латышей и эстонцев, освобождение их от немецкого влияния.

«Ответом» на первые выпуски «Окраин России»[3] и была брошюра Ширрена «Лифляндский ответ господину Юрию Самарину»[4]. В ней самаринскому

[1] Сиверс – правнук адмирала петровских времен, окончивший Дерптский университет, в 1860-х гг. выступил с рядом критических статей в «Baltishe Monatschrift»; Каттнер – выпустил труд «Призвание Пруссии на востоке», в котором доказывались права Пруссии на Прибалтику и живописалась «будущность немецких остзейских провинций под прусским господством»; бывший вице-президент лифляндского гофгерихта (высшего суда) фон Бок издавал в Берлине на немецком языке «Лифляндские сообщения», где «сравнивал старорусскую партию, к которой он причислял и Самарина, со стрельцами и весьма недвусмысленно рекомендовал против нее крупные меры Петра Великого» (*Суворин А.С.* Юрий Федорович Самарин. Литературный портрет // *Суворин А.С.* Труды и дни. М., 2004. С. 121).

[2] Профессор русской истории, автор многотомного издания «Исторические истоки крушения Лифляндской независимости» (Ревель, 1861–1881) и других книг – Ширрен – на русском языке не опубликовал ни одной работы. Лекции его в университете отличались тенденциозностью. Они читались на немецком языке, для немцев и превозносили все немецкое в истории России. После его отставки в 1869 г. лекции по русской истории в Дерптском университете стали читать на русском языке, а сам Ширрен покинул Россию, жил в Дрездене и в 1874 г. занял кафедру всеобщей истории в Кильском университете.

[3] Окраины России. Серия первая: Русское Балтийское поморие. Выпуск I. [Русское Балтийское поморие в настоящую минуту (как введение в первую часть)]. Издание Ю. Самарина. Прага: Типография д-ра Ф. Скрейшовского, 1868; Окраины России. Серия первая: Русское Балтийское поморие. Выпуск II. [Записки православного латыша Индрика Страумита. (1840–1845)]. Издание Ю. Самарина. Прага: Типография др. Э. Грегра, 1868.

[4] Livländische Antwort an Herrn Juri Samarin von C. Schirren. Dritt e Aufl age. Leipzig: Verlagvon Duncker & Humblot, 1869.

воспеванию «инстинктов русского народа» Ширрен противопоставил «право своей страны». Именно ее принято считать апофеозом проостзейской публицистики. Ширрена поддерживал Экгардт, выпустивший в 1869 г. за границей немецкий перевод книги Самарина с тенденциозными комментариями[1]. Он же в Лейпциге в 1871 г. издал сборник «Младорусский и старолифляндский. Политические и культурно-исторические сочинения фон Юлиуса Экгардта», выдержавший в течение года два издания. В вошедшей в этот сборник работе «Новая русская эра», Экгардт «кратко» знакомит европейского читателя с историей национальной идеи в России со времени Петра Великого. Основной рефрен этого псевдонаучного труда (он переполнен историческими ляпами и пугающими фразами – «злобно ненавидели», «зловещее молчание», «яростная враждебность» и т.п.) прост – если французы «подарили» России «полукультуру», царившую в «высшем обществе» смесь французских обычаев с «нижегородскими», против которой резко выступали русские патриоты (Карамзин, Пушкин, Грибоедов и др.), то немцы, немецкое просвещение, немецкое образование, философия и т.п., наконец, немецкие администраторы – именно они пытались цивилизовать варварскую Россию – империю «военного абсолютизма», служили главным элементом Просвещения в этой стране «безмолвного раболепства».

Что касается Виктора Гена, то в своих зарисовках нравов русских и характеристиках русской души[2] он добавил собственную немалую ложку дегтя в карикатурное описание немцами «рабской» России и «умственно отсталого» русского народа[3]. Русские, как считает Ген, промежуточный результат перехода от татарских племен к европейцам, о чем свидетельствует их рабско-татарская натура. Нравы русских отвратительны, как и их вульгарный облик. Русские – дикари, ленивые, легкомысленные, без совести и чести, всегда пьяные, сексуально невоздержанные, носящие вонючую, грязную одежду, посещающие такие отхожие места, при одном виде которых пробирает дрожь. Вся национальная жизнь в России – помойная яма, а все, что есть хорошего и полезного – выучено или позаимствовано у других народов, прежде всего у немцев, которые и призваны руководить этими дикарями: «Несчастный, жертвенный народ, без саморефлексии, который забывается в водке, народ, привыкший за многие столетия к побоям, издевательствам, к порке розгами и кнутом, к зуботычинам и пощечинам, народ с азиатской доблестью смирения, без опоры, без своей собственной созидательной силы, народ, который с рождения чувствует себя уверенно, если ему приказывают и надо быть послушным, народ, с которым все можно сделать приказом и розгами, которого страхом и взмахами кнута, этим идеальным, обезличенным оружием повелителей, варягов, немецких знатоков строя, можно принудить к геройским подвигам, даже к гениальными деяниям»[4].

Что в писаниях балтийско-немецких публицистов вызывало категорическое неприятие русского общества? Во-первых, защита давно устаревших привилегий, противоречащих смыслу общероссийских реформ 1860-х гг.

[1] *Samarin J.* Anklage gegen die Ostseeprovinzen Russlands / Ubersetzt und commentiert von J. Eckardt. Leipzig, 1869.

[2] *Hehn V.* De moribus Ruthenorum. Zur Characteristik der russischen Volksseele. Stuttgart, 1892.

[3] Примечательно, что Ген почти двадцать лет исправно служил русскому государству, получал награды и вышел в отставку в почти генеральском чине действительного статского советника.

[4] *Hehn V.* De moribus Ruthenorum. Zur Characteristik der russischen Volksseele. Stuttgart, 1892. S. 40.

Во-вторых, «германизация» остзейского края[1], онемечение «туземного населения» – русских подданных и противодействие русификации, под которой подразумевалось введение русского языка в систему управления, судопроизводства и образования (чтобы «русская власть говорила по-русски») и поддержка православия в крае, являющемся частью России[2]. И, в-третьих, привлечение остзейцами заграничной (по преимуществу немецкой) прессы с целью сформировать общественное мнение в Европе, неблагоприятное для России, и оказать давление на правительство.

Универсальную формулу преодоления «племенного антагонизма» немцев, латышей, эстонцев и русских в Прибалтийском крае в свое время вывел Аксаков: «Примирение этих враждующих народностей может состояться лишь на нейтральной почве – их общего подчинения единому русскому государственному началу»[3]. Разъясняя существо формулы, он в 1885 г. пишет о том, что «единственный справедливый способ уравновесить взаимные отношения трех или четырех в крае народностей, это – подчинить их общему имперскому праву, признать для них обязательным общий государственный язык и общие государственные законы, не касаясь ни их веры, ни народной индивидуальности»[4]. В целом же, источником силы Российской империи, считал Аксаков[5], являются

[1] Так, Аксаков заявлял: «…не существует ни вражды, ни ненависти в русском обществе к людям немецкого происхождения, ни стремления к нивелировке или сглаживанию всех живых оттенков и особенностей незначительной немецкой части прибалтийского населения». Суть проблемы сводится к тому, «следует ли допустить полную германизацию» 1 700 000 жителей края или следует «заботиться об известной степени их обрусения», в виду того, что германизация края с неизбежностью, как подчеркивает Аксаков, повлечет то, что Прибалтика станет частью Германии. Ответ для российского гражданина очевиден (см.: *Аксаков И.С.* По поводу статьи «Северной Почты» об отношении русской печати к прибалтийскому вопросу // *Аксаков И.С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 55–56).

[2] Например, Погодина возмущало то, что русские дворяне, купцы и ремесленники в крае не могут пользоваться правами, какие имеют остзейские немцы, что латышские и эстонские крестьяне не имеют прав на землю и на свободу вероисповедания, что, главное, русский человек там «должен скрывать свое происхождение» и говорить на немецком языке не только в обиходе, но даже в суде и других присутственных местах. Последнее обстоятельство выглядело парадоксальным в свете того, что распоряжением правительства 1850 г. о переводе ведения официальной документации в крае на русский язык именно русский становился языком «присутственных мест» Остзейского края и должен был быть средством коммуникации в общественной сфере. Однако до конца 1860-х в крае это и многие другие решения правительства, при попустительстве (тогда говорили «либерализме») центральных властей попросту игнорировались (Из книги М.П. Погодина «Остзейский вопрос». Письмо М.П. Погодина к профессору Ширрену // Вестник Моск. ун.-та. Сер. 12. Политические науки. 2001. № 4. С. 71; и др.).

[3] *Аксаков И.С.* О том, что желательно бы иметь в Прибалтийской окраине русский, а не немецкий университет // *Аксаков И.С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 154.

[4] *Аксаков И.С.* Еще об «Окраинах» Ю.Ф. Самарина // *Аксаков И.С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 167.

[5] *Аксаков И.С.* Где органическая сила России? // *Аксаков И.С.* Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 260. Однако, к сожалению, в России все произошло по пророческому предсказанию Самарина: «Если бы когда-нибудь русское общество повернулось спиною к Прибалтийскому краю, махнуло рукой на Польшу, забыло про Кавказ и Финляндию, отучилось вообще интересоваться своими окраинами, это бы значило, что оно разлюбило Россию как целое. Тот день был бы началом ее разложения. В тот день возрадовались бы представители всех враждебных ей партий и народностей; Мирославский и Шедо-Феротти, Герцен и фон-Бокк забыли бы на время свои разномыслия; они сбежались бы со всех концов Европы на братский пир и отпраздновали бы вместе канун политического крушения Империи» (*Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 8. Окраины России. М., 1890. С. XVII).

не Остзейские провинции, ни Польша и ни Финляндия, как бы ни были они крепко связаны с Русью, а настоящая Русь – «живое, цельное тело, а не мозаичная сборка иноверцев и иноплеменных. К этому телу могут прилепляться прочие народные личности и тела, могут претворяться в его органическую сущность или только пользоваться его защитой, – но весь смысл бытия, вся сила, разум, историческое призвание, весь исторический raison d'être – заключается именно в святой Руси…».

Альманах Фонда ИСЭПИ

Тетради по консерватизму

№ 2 2015

Редактор
Е.М. Кострова

Художественное оформление
В.И. Кучмин

Компьютерная верстка
А.В. Талалаевский

Издатель
Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ)
www.isepr.ru

Подписано в печать 10.03.2015. Формат 60x90 $^{1}/_{8}$. Усл. печ. л. 26,0.
Тираж 1000 экз. Заказ 256

Отпечатано в ООО «Богородский полиграфический комбинат»
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 40б